САЙМОН МОРРИСОН

История любви

Лина и Сергей Прокофьевы

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Саймон Моррисон, музыковед, профессор Принстонского университета, написал книгу о Лине Прокофьевой, урожденной Каролине Кодине, – «загадочной, неотразимой, надменной, несносной, кокетливой, капризной, упрямой и… мужественной». На основе огромного количества документов автор воссоздал жизнь красивой, умной, образованной женщины, певицы, выступавшей под псевдонимом Лина Любера, жены величайшего композитора XX века Сергея Прокофьева, ценой брака с которым стали восемь лет лагерей.

- Саймон Моррисон
  -
  -
  - Введение
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Эпилог
  - Принятые сокращения
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12

- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56

- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100

- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144

- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188

- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232

- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276

- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320

- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364

- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408

- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452

- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496

- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540

- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574

Саймон Моррисон
Лина и Сергей Прокофьевы. История любви

Simon Morrison
Lina and Serge Prokofiev

Lina and Serge Prokofiev
Copyright © Simon Morrison, 2013
© Перевод, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014
© Художественное оформление, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014
© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014

* * *

Сергею Прокофьеву-младшему посвящается

Введение

Среди немногих вещей, сохранившихся со времен восьмилетнего пребывания Лины Прокофьевой в ГУЛАГе, потрепанная сумка из мешковины. В самодельной, достаточно вместительной сумке хранились ноты французских, итальянских и русских арий, которые некогда подававшая надежды оперная певица-сопрано пела в тюрьме и которым обучала женщин-заключенных. Среди избранных произведений была и песня Шопена под названием «Желание».

В песне рассказывается о девушке, настолько преданной своему возлюбленному, что, будь она солнышком на небе, сияла бы только для него, а летай она птичкой в облаках, пела бы только для него. Пение всегда помогало Лине погрузиться в воспоминания о былых днях, отрешившись от реальной жизни. На Крайнем Севере, где она отбывала заключение, единственным, что поддерживало ее среди голых, пустынных равнин, была сила воображения.

Ручки сумки из бечевки обернуты вокруг двух деревянных пластин – одна в два раза больше другой, в помятой металлической рамке. На каждой ее имя – Lina Prokofiev, вдавленные в дерево буквы обведены карандашом. У Лины не было, как это принято в России, отчества – его придумали тюремщики, они же добавили окончание женского рода. Она стала зваться Лина Ивановна Прокофьева, ее прошлое было отнято вместе со свободой, но сохранилось в сумке из мешковины.

На обеих сторонах сумки в центре вышиты ее инициалы, Л. П., в окружении красных, желтых, оранжевых и серых стежков. Научившись рукоделию в лагерях, она старалась украсить принадлежавшую ей вещь. Сумка, не считая маленького темного пятна на дне, сохранилась в отличном состоянии. Спустя несколько десятилетий она была передана старшему сыну Лины, Святославу.

Лина родилась в Мадриде, юность провела в Бруклине, училась пению в Париже и начала певческую карьеру в Милане. Она свободно говорила на нескольких языках, включая русский, родной язык ее матери. В 1923 году Лина вышла замуж за Сергея Прокофьева, одного из величайших музыкантов своего времени, от которого ждала ребенка. А в 1927 году они впервые приехали вместе в сталинский Советский Союз. В ожидании поездки супруги испытывали не только радостное предвкушение, но и

тревогу. Сергей уехал из России в 1918 году, до восхождения Сталина к власти, а Лина не бывала там с детства. Советские чиновники стремились вернуть Сергея для участия в социалистическом эксперименте, завлечь модернистского вундеркинда на модернизированную родину. Сергею обещали лучшие залы, исполнение произведений, равнодушно встреченных на Западе, восторженный прием, даже профессорство в Московской консерватории. Он поклялся – высокомерно, покровительственно – изменить курс советской музыки.

Бывшая столица Российской империи Санкт-Петербург, теперь Ленинград, сохранила свои дворцы и особняки, пастельные фасады и замерзшие каналы; город не изменился со времен юности Сергея, и, увидев его снова, он не мог сдержать восторга. Зато новая столица Москва потрясла его. Горизонт был очищен от церковных куполов, чтобы освободить место для величественных утопических памятников советской власти, основа которой все еще продолжала закладываться. Над городом сгущалась тьма, которой Прокофьев старался не замечать, сосредоточившись на положительных сторонах московской жизни. Лина не обращала внимания на шумы в телефоне в отеле «Метрополь», свидетельствовавшие о том, что линия прослушивается, и старалась не думать о тех, кто затаился в соседнем помещении, отделенном от их номера тонкой дверью. Говорили, что и в номере, возможно, установлены микрофоны, и по ночам в постели Сергей в шутку, прижав сложенные ладони ко рту, шептал слова Лине в ухо.

Но успех кружил голову – в советских концертных залах Сергею бурно аплодировали стоя, музыкальные критики высоко оценивали его исполнительское мастерство. Исполняя в Москве Третий концерт для фортепиано с оркестром без дирижера, он извлекал бурю звуков из инструмента – его мощные и гибкие руки позволяли добиться звучания редкой силы и наполненности[1]. Лина наслаждалась вниманием, которое оказывали элегантной паре на банкетах, устраиваемых в их честь. Сталинским чиновникам не нравилась музыка Сергея, но они признавали ее силу, ее возможности в качестве пропагандистского орудия. Лине делали комплименты по поводу ее пения и обещали, что, если Прокофьевы переедут в Москву, как надеется советское правительство, у Лины сложится певческая карьера, которая не удалась на Западе.

Следующие приезды Сергея в Москву не были столь же триумфальными, и теперь никто не разыгрывал перед ним спектаклей. Сергей понял, какая жизнь ждет его в Советском

Союзе на самом деле, если он решит остаться. Он багровел и злился, когда пролетарские музыканты обрушивались с критикой на его балет «Стальной скок», в котором, по их мнению, он высмеял сталинскую политику индустриализации, представив советского рабочего рабом производства. Лине не надо были присутствовать во время споров, чтобы понять, как ее муж реагировал на критику в свой адрес, – звучным стаккато объявлял, что больше думает о творчестве, чем о политике.

В Париже, где они в то время жили, Лина получала приглашения на приемы в недавно открывшееся советское посольство – первое посольство СССР за рубежом. Советский посол во Франции поставил перед собой задачу убедить Лину переехать в Москву, одновременно рассказывая Сергею, какие «привилегии ждут его в Советском Союзе»[2].

Проще было поверить обещаниям, чем усомниться в них, и в 1936 году они переехали в Москву. Лина, уставшая быть просто женой великого композитора, наивно надеялась, что в Москве наконец сможет добиться успеха. Париж, «город огней», утратил притягательность, Лина устала от бесконечных разговоров об экономическом кризисе и угрозе со стороны Гитлера.

Но вскоре ложь раскрылась. Соседи Лины и Сергея жили в постоянном страхе, боясь лишний раз открыть рот. Вскоре супруги поняли, в чем причина – в постоянных исчезновениях людей, представленных в «Правде» как кампания, направленная против «диверсантов» и «врагов народа». Следовало перевоспитывать тех, чьи души были отравлены империалистической догмой. (Среди них, очевидно, был двоюродный брат Сергея Шурик, сидевший в тюрьме.) Внезапно возросло число самоубийц; дети доносили на собственных родителей, Коммунистическая партия ставилась выше семьи.

Лина, пока могла, играла роль приверженца советского режима, но быстро поняла, что обманута в своих ожиданиях, и ею овладело безразличие. Сергей намного дольше жил в счастливом неведении. Их отношения испортились, напряжение усиливалось, и совместные поездки и воспитание детей уже не помогали забыть о проблемах, возникших в семье. Летом 1938 года в санатории в Кисловодске Сергей увлекся женщиной вдвое моложе его, Мирой Мендельсон.

Их брак рушился на глазах. Почти ежедневно происходили все новые необъяснимые исчезновения – люди пропадали из квартир, институтов и с фабрик. Английская школа, в которую ходили их сыновья, внезапно закрылась. Учителя и родители некоторых учеников были репрессированы. За окнами московской

квартиры грохотали стройки, внутри царила мрачная тишина.

Сергей ушел к Мире за три месяца до начала советской фазы во Второй мировой войне. Лина перестала выходить из квартиры и общаться со знакомыми. Даже в горе она не теряла гордости и самообладания, не могла допустить, чтобы ее жалели. Она не позволяла себе распускаться, в этом ей помогали оптимизм и сильный деятельный характер.

Пережив удар, она опять появилась в обществе и задействовала всех знакомых иностранцев, пытаясь сделать то, что не удалось Сергею: выехать из страны. Французское, британское и американское посольства долгое время были ее связью с внешним миром, ее убежищем от безумия сталинского режима. Преданная мужем, вынужденная в одиночку заботиться о детях, она пыталась получить загранпаспорт, разрешение на выезд, тут печать, там печать. Но безуспешно. Хуже того – ее действия вызвали подозрения властей.

Поначалу она легко уходила от слежки. Садилась в трамвай, а когда двери начинали закрываться, в последний момент выскакивала на улицу, оставляя преследователей внутри. Позже ей пришлось освоить новые уловки. Например, юркнуть в темный подземный переход, соединявший станции метро, и там переодеться. Однажды, покупая билет в метро, Лина заметила за собой слежку. Спустившись по эскалатору, пошла по переходу и, свернув за угол, быстро сняла платье – под ним было надето другое. Она старалась не думать о том, какому риску подвергается.

* * *

Вечером, накануне трагических событий, к Лине в гости пришла Анна Холдкрофт из британского посольства – хотела узнать, как «миссис Прокофьева» справляется одна. Они познакомились в 1945 году на приеме, устроенном британцами в гостинице «Метрополь», где остановилась Анна. Лина была приятной собеседницей – хорошо образованная, артистичная, живая. Она отличалась острым язычком, но никогда не говорила о людях плохо, за исключением тех, кто обманул ее доверие. Когда иностранцы жили и работали под неусыпным контролем и когда любое общение русских с иностранцами рассматривалось как антисоветский заговор, ее встречи с иностранцами, работавшими в Советском Союзе и посещавшими Москву, играли против нее. Анна пришла в гости к Лине 19 февраля 1948 года и своим неожиданным появлением навлекла на хозяйку беду.

Еще по пути к Прокофьевой Анна заметила мужчину, которого видела раньше, – агент невысокого ранга, как она коротко прокомментировала Лине. Они договорились, что Анна позвонит, если решит, что за ней следят, когда она выйдет из квартиры. Прежде чем попрощаться, Лина спросила, не могли бы они встретиться завтра на нейтральной территории, подальше от соседских ушей. Однако утром 20 февраля Холдкрофт позвонили и предупредили, чтобы не ходила на встречу. Ожидая худшего, Анна осталась в гостинице.

Лина была дома одна, когда вечером раздался телефонный звонок. Не могла бы она выйти на улицу, чтобы забрать посылку? Она устала, неважно себя чувствовала и не хотела выходить из дома, но мужчина, позвонивший по телефону, настаивал. Она торопливо оделась, причесалась и подкрасила губы. Надела пальто, взяла ключи, закрыла дверь, спустилась в лифте на первый этаж, вышла из подъезда, миновала безлюдный двор и вышла на улицу, где ожидала увидеть курьера. Лина не подозревала, что ее ждет приговор к двадцати годам тюремного заключения за государственную измену.

Лина не узнала человека, который подошел к ней на улице, однако никакой посылки у него в руках не оказалось. Он не был одним из тех, кто следил за ней в автобусах, метро и на улицах, в том числе и на Чкаловской, на которой был ее дом. Как жена, живущая отдельно от мужа – знаменитого композитора, государственная служащая и переехавшая в Москву европейка, поддерживавшая знакомства с иностранными дипломатами и чиновниками, Лина представляла интерес для ОГПУ, НКВД, МГБ и МВД, приставлявших к ней своих малограмотных агентов. Аббревиатуры менялись, но обязанности оставались все те же: арестовывать людей, чьи имена появлялись в списках, и выводить их из квартир, зная, что за закрытыми дверьми в страхе затаились соседи.

Мужчина, одетый в штатское, пришел не один. Его спутникам явно не пришлось месить уличную грязь – черные сапоги сверкали чистотой. Если бы Лина потребовала, чтобы этот человек предъявил документы, он бы их предъявил. Но это не имело никакого значения. Что бы она ни делала, ареста было не избежать.

Лину затолкали в машину и по широкой, безлюдной улице повезли в центр Москвы. Она не вернулась в четырехкомнатную квартиру, в которой прожила двенадцать лет, сначала с мужем, потом без него.

Машина ехала по мрачным городским улицам, и Лина

поняла, что случилось худшее. Ее имя появилось в списках на арест, и ее приказали арестовать. Кричать Лина боялась, но у нее хватило смелости спросить: «В чем дело? Почему я в этой машине? Почему вы забрали у меня сумку и ключи? Разрешите хотя бы предупредить детей. Вы не можете просто взять и увезти меня»[3].

Машина проехала мимо Курского вокзала, по Покровке на Лубянскую площадь, сердце советского полицейского государства. В коричневом здании с колоннами, в котором некогда располагалось Страховое общество, теперь был штаб МГБ, Министерства государственной безопасности, заведовавшего огромной системой сибирских тюремных лагерей. ГУЛАГ находился в ведении МГБ. На той же площади, напротив магазина «Детский мир», располагалось грязно-желтое здание в неоклассическом стиле – внутренняя тюрьма. Ворота открылись, пропуская машину во двор, и захлопнулись за ней.

Позже соседи, ставшие свидетелями ареста Лины, рассказали двадцатитрехлетнему Святославу подробности ареста, а девятнадцатилетний Олег своими глазами видел проводимый в квартире обыск и мог только беспомощно наблюдать, как все переворачивают вверх дном. Сохранилась фотография, сделанная после обыска, – на полу валяются бумаги, а Олег, сидя на скамеечке для ног в кухне, смотрит на список изъятых вещей растерянным, непонимающим взглядом. Из квартиры вынесли картины, драгоценности, фотографии, памятные вещи. Забрали рояль Forster, которым дорожил Сергей. Пропали Линино золотое кольцо с изумрудом и картина Натальи Гончаровой. Разбилась пластинка с записью оперы «Богема», когда мешок с пластинками тащили по ступеням. Записи Дюка Эллингтона было решено забрать в следующий раз. Опечатали двери двух комнат, вдвое сократив площадь квартиры.

Святослав с Олегом тщетно просили о помощи друзей семьи. Затем по глубокому снегу добирались до отцовской дачи, чтобы сообщить ему страшную новость. Мальчики много месяцев не виделись с отцом. Он молча выслушал сыновей и, испуганно запинаясь, ответил непонятной фразой: «Что я сделал?»[4]

В тот вечер они с Мирой сжигали в печке иностранные журналы, книги и письма, связанные с его прошлым, – все потенциально опасные свидетельства о «зарубежном» прошлом. Позже Лина решила, что его тоже арестовали.

На протяжении девяти месяцев, сначала на Лубянке, потом в Лефортове, Лину подвергали допросам. Следователи плевали в

нее, били, угрожали, что расправятся с ее детьми. В руки и в ноги втыкали иглы. В течение первых трех месяцев ей не давали спать, доводя до грани сумасшествия. Два дня из пяти заставляли стоять согнувшись в узкой камере с низким потолком, пока ноги не начинали дрожать и подгибаться от невыносимой боли. Ее водили на допросы по морозу без верхней одежды. Она слышала, как кричат обитатели тюрьмы, и следователь уверял ее, что она будет кричать еще громче.

Информация об аресте Лины, суде и отправке в лагеря почерпнута из личных писем и других неопубликованных документов, владельцем которых является внук Лины, Сергей Прокофьев-младший, живущий в Париже. Эти документы вместе с содержимым самодельной сумки, в которой хранились ноты, и документами из советских личных дел помогли восстановить детали жизни Лины, о которых она отказывалась вспоминать не только во время интервью, но даже наедине с собой. Также для написания этой книги использовались документы из Российского архива литературы и искусства (РГАЛИ) и архива Сергея Прокофьева в Голдсмитском колледже Лондонского университета, где можно найти тексты интервью и письма тридцатых годов. Большинство архивных источников из РГАЛИ, которые использовались для написания первой половины книги, до сих пор засекречены и недоступны (1929 год, секция номер четыре). Только благодаря специальному разрешению Фонда Сергея Прокофьева удалось получить доступ к этим материалам.

Эта книга описывает ужасы тоталитаризма, но начиналось все с мечтаний молодой женщины. В Советском Союзе Лине обещали обеспечить материальный комфорт, высокое положение, личную свободу и особые привилегии. Точно такие же обещания Советский Союз давал гражданам и сочувствующим. Но на самом деле во главе государства стояла настоящая преступная сеть. Аморальные лидеры заботились вовсе не о благе народа, они всеми силами стремились удержать власть при помощи принуждения и насилия. Лина не смогла примириться ни с этой трагедией, ни с местом, где она разыгралась.

Глава 1

Лина редко рассказывала о своем аресте и восьми годах, проведенных в тюрьме. Молчание было условием ее освобождения, но таков был и ее собственный выбор. В погоне за подробностями самыми бестактными были американские журналисты, а самыми настойчивыми – британские, но, хотя Лина давала интервью, никому не удавалось добиться от нее больше, чем она считала нужным сказать. Лина научилась давать уклончивые ответы и с успехом применяла это искусство против тех, кому хватало наглости писать о вещах, в которых они ничего не смыслят. Лина решила, что сама поведает о своей жизни в автобиографии, но так и не продвинулась дальше разрозненных записей и общего плана книги.

С годами увеличивался перечень запрещенных тем. К их числу относились события после ее ареста, а также мытарства с детьми во время Второй мировой войны. Вскоре запретным для упоминаний стал весь период с 1936 года, когда она приехала в Москву, до 1974 года – года бегства на Запад. Она всячески старалась создать впечатление, что никогда не жила в Советском Союзе и что муж ее не бросал. Однако в интервью газете New York Times допустила промах, упомянув о «восьми годах в тюрьме и на Севере», но при этом все равно настаивала, что ее жизнь не была «трагической»[5]. Однако травма не могла пройти бесследно. Ночью Лину преследовали кошмарные сны, днем – беспричинные страхи.

В 1920-1930-х годах Лина жила в Париже, воспитывалась же в Нью-Йорке, где от русских эмигрантов узнала о мировой политике. Но чаще переносилась мыслями в более отдаленное прошлое, вспоминая конец XIX века и родственников во Франции, Польше, России и Испании. Но это было так давно, что она не могла вспомнить, кто есть кто и где именно происходило то или иное событие. Ее воспоминания, вернее, воспоминания о воспоминаниях, были путаными и отрывочными. Дядя-инженер занимался прокладкой подводных кабелей, пока не заразился малярией на болотах. Заботливый дед был высокопоставленным советником в русском правительстве (в то время Польша входила в состав России). Дед Владислав, отец матери Лины, безумно любил внучку; он брал Лину в рестораны, где официанты скользили по полу легко и бесшумно, словно призраки; дарил ей букеты цветов и смотрел, как она танцует, когда ей было четыре года. Всесторонне образованная, одухотворенная бабушка Каролина, в честь которой назвали Лину, помогла маленькой

внучке преодолеть страх перед темнотой. «Мне страшно, давай включим свет», – просила Лина во время грозы. «Но ты в своей комнате, где тебе все хорошо знакомо, – успокаивала бабушка. – Ничего не изменилось. Успокойся… Слушай тишину в темноте и грозу, это чудесно»[6].

Лина наслаждалась проблесками воспоминаний, воскрешая в памяти одного за другим членов семьи своей матери и не обращая внимания на откровенно скучающих журналистов. Она описывала годы детства, проведенные на Кавказе, на юге России, где непрочные деревянные дома теснились на горных плато, с которых низвергались водопады. Там жила ее тетя Александра со своим мужем-валлийцем, который, вероятно, и был тем самым прокладчиком кабелей. Место было дикое, и по ночам Лина сжималась от страха, слыша завывания шакалов и лай свирепых волкодавов, охранявших дома. Позже, слушая точно такой же лай за стенами бараков, она переносилась мыслями в детство, вновь уговаривая себя не бояться темноты.

Из всех мест, в которых она жила или бывала, Россия привлекала Лину больше всего. Именно с Россией были связаны самые яркие воспоминания, а ведь Лина объездила весь мир – Испания, Швейцария, Куба, Соединенные Штаты. Детские годы, проведенные в странствиях, запомнились как увлекательное приключение.

Лина родилась 21 октября 1897 года в Мадриде на улице Барбары Брагансы. От отца она унаследовала каштановые волосы и темные глаза с тяжелыми веками, но в остальном была копией матери: храброй, импульсивной, упорно добивающейся своих целей – хотя найти достойную цель зачастую было трудно. Ее отец, Хуан Кодина, который начал свою музыкальную карьеру с пения в Барселонском кафедральном соборе, стал профессиональным вокалистом, тенором и композитором-любителем, сочинявшим песни с каталонским колоритом. Он брал уроки у Кандидо Канди, известного композитора, органиста и аранжировщика народных песен. Из Барселоны Хуан перебрался в Мадрид, где учился в Королевской консерватории. В этот период его голос понизился с альта до тенора, но сохранил неповторимую утонченность тембра. Позже в Соединенных Штатах он обучал американских учеников сольфеджио.

В Мадриде Хуан влюбился в Ольгу Немысскую, светловолосую, сероглазую певицу-сопрано из Одессы. Сначала она обучалась пению в Санкт-Петербурге, в России, а затем в Италии и Испании, где брала уроки у знаменитого баритона

Джорджио Ронкони, который, хотя ему было уже за семьдесят, все еще брал учеников. Хуан и Ольга поженились в 1895 или в 1896 году, несмотря на протесты со стороны ее родителей из-за того, что жених был католиком, и со стороны его родителей из-за кальвинистско-протестантского происхождения невесты. У Хуана было шестеро братьев, все моряки, и сестра, Изабелла, последнее прибавление в семье Кодина, горячо любимое родителями. Ольге, получившей клеймо еретички, так никогда и не довелось познакомиться с ними, и Хуан никогда не говорил о своей семье, если не считать редких случайных упоминаний – его мать, судя по всему, изучала восточные языки, а кто-то из братьев перебрался в Южную Америку. Отец Ольги, недовольный финансовым положением Хуана, ворчал, что даже муж-сторож был бы лучше. Хуан действительно был талантливым дилетантом, мастером на все руки, так и не нашедшим основного призвания. Он обладал слишком творческой натурой, чтобы преуспеть в деловой сфере. Артистическая же карьера не сложилась из-за страха перед публикой.

В раннем детстве Лина приезжала с родителями в Россию. Это было задолго до русской революции, даже до Первой мировой войны и подъема коммунистического движения. До расстрела в подвале русского царя Николая II, его жены и пятерых детей оставалось более десятилетия.

Возможно, в столице Российской империи Санкт-Петербурге, в Москве или где-то еще Хуан дал несколько концертов, выступая под русским аналогом своего испанского имени – Иван. Ольга не выступала вместе с ним, хотя была не менее – и даже более – талантлива, чем муж. В начале 1890-х годов она нашла свое место в провинциальных театрах Италии. В рецензии от 1894 года говорится о ее исполнении роли кокетливой крестьянской девушки Микаэлы в опере «Кармен», поставленной в Teatro Sociale в городе Монтаньяне на севере Италии. Затем последовали контракты с оперными труппами в Москве и Милане. Она выступала под сценическим именем Нерадофф, которое, как объяснил ее учитель, намного легче писать и произносить, чем «Немысская».

Родители, занятые выступлениями, оставляли Лину на попечении бабушки и дедушки по материнской линии, на Кавказе, и самые яркие ее детские воспоминания связаны с этими местами. Вот пасечник предупреждает Лину, что с пчелами надо быть очень осторожной, и разрешает подходить к ульям только в защитной маске. А вот Лина собирает яйца в курятнике деда и бегает по двору за гусями, подражая их шипению и гоготу. Она

помнила, как примерно в 1906 году в Москве родители или дедушка с бабушкой купили ей пальто с плиссированной вставкой и бархатный берет, сделанные в Париже. Она долго хранила одну из пуговиц от этого пальто.

Лина была на Кавказе, когда умерла бабушка. Родители две недели добирались из Швейцарии, надеясь застать ее в живых. Дедушка взял восьмилетнюю Лину за руку и подвел к кровати, на которой лежала бабушка. Девочка смотрела, как он нагнулся и поцеловал бабушку. Затем он попросил Лину попрощаться с бабушкой Каролиной, объяснив, что ей надо уходить. «Поцелуй бабушку в лоб или в щеку», – сказал он девочке. Лина поцеловала бабушку и сказала: «Она такая холодная. Почему она не поправляется?» – «Она уходит, – ответил дедушка. – Уходит в другой мир»[7].

Лина очень любила бабушку, которая научила ее не бояться темноты и познакомила с баснями Жана де Лафонтена. Декламируя их на языке оригинала, французском, бабушка всячески поощряла внучку заучивать наизусть изящные стихотворные строки, однако Лина полюбила стихи гораздо позже. Кроме того, бабушка была специалистом по французской литературе и писателем: она читала Лине свои рассказы. В большинстве из них рассматривались сложные религиозные вопросы, недоступные для понимания ребенка шести-семи лет. Одна из наиболее мрачных историй была связана с резней в канун дня святого Варфоломея и, возможно, имела отношение к преследованию гугенотов – родственников Каролины. Уже будучи взрослой, Лина вспомнила мораль басни Лафонтена о бабочке, покидающей свое укрытие и горько за это поплатившейся. «Чтобы жить счастливо, надо прятаться» – ключ к пониманию ее жизни в Советском Союзе[8].

Следующим потрясением для Лины стала смерть дедушки, к которому она любила забираться на колени и накручивать на пальцы его бороду. Дедушка понял, что не может жить дальше один. Он страдал от многих болезней, а когда у него началась пневмония, нарочно распахнул все окна в доме и долго вдыхал морозный воздух. Умер он в ноябре 1907 года. После его смерти Хуан и Ольга больше не приезжали в Россию.

Теперь домом для Лины стала Швейцария, женевская коммуна Grand-Saconnex (Гранд-Саконне). Она запомнила парк и озеро, по которому зимой катались на коньках, пару булочных, в одной был особенно богатый ассортимент, и праздники, которые устраивал местный мэр. Соседи называли ее то La Petite Espagnole, маленькая испанка, то La Petite Russe, маленькая

русская, поскольку никак не могли понять, из какого уголка Европы приехал этот необычный темноволосый ребенок с длинными косами. Она ходила в детский сад, но не любила строгие правила и с трудом справлялась с французской грамматикой. С Линой занималась мать, и позже выяснилось, что девочка обладает феноменальным талантом к языкам. На протяжении первых лет жизни Лина слушала и впитывала пять языков: русский от матери и дедушки по материнской линии, английский от нянек, французский от бабушки по материнской линии, испанский и каталанский от отца. Немецкий язык изучала понемногу, урывками. В конце жизни она приехала в Женеву, чтобы пройтись по местам, памятным с детства, но детский сад снесли вместе со всей деревней. Теперь на этом месте располагается Женевский международный аэропорт.

Хуан и Ольга выступали и в Швейцарии, и в других странах. Сохранились короткие отчеты о концертах в Женевской консерватории[9] (Conservatoire de Musique de Genève) в январе 1904 года, на которых Хуан исполнял арии итальянских композиторов.

Как следовало из статьи в Le Journal de Genève, Хуан умело интерпретировал песни Паоло Тости[10], итало-английского композитора, который в то время был весьма популярен и пользовался большим успехом на официальных приемах и в салонах.

Выступления Ольги тоже удостаивались похвал, и у нее были свои поклонники. Один из них произвел глубокое впечатление на Лину и спустя годы стал для нее, благодаря обширным связям, незаменимым человеком. Это был Сергей Маркович Перский, известный переводчик с русского на французский, долгое время работавший секретарем премьер-министра Франции Жоржа Клемансо. Он был давним поклонником Ольги и ее матери Каролины, бабушки Лины. Перский устроил несколько концертов Ольги в Европе и был огорчен, что она не достигла той известности, которой, по его мнению, заслуживала. Он не понимал Ольгу, когда она отказывалась от выступлений, чтобы проводить больше времени с дочерью…

Перский был по-рыцарски щедр, и Лина с нетерпением ждала его визитов и красивых коробок с бисквитами, покрытыми шоколадной глазурью, которые он приносил ей, чтобы «подсластить» отношения с Ольгой. В 1920 году Перский узнал, что Лина живет во Франции, разыскал ее, пришел, как в былые времена, с коробкой дорогих шоколадных конфет и спросил: «Avez-vous une aussi belle voix que votre mère?» («У тебя такой же красивый голос, как у твоей матери?»)[11]. Глухой к протестам

Лины, он предлагал ей выйти замуж за одного из своих друзей-миллионеров.

Хуан и Ольга не бедствовали, но их финансовое положение вряд ли можно назвать стабильным, и они вынуждены были обращаться за помощью к родным Ольги. Они не хотели обсуждать финансовые и другие щекотливые вопросы в присутствии Лины, а потому обменивались записками, причем на тех языках, на которых она еще не умела читать. В какой-то момент они решили принять помощь от швейцарского дяди Ольги и на эти деньги отплыть в Нью-Йорк, где, как они надеялись, им удастся продолжать выступления. Это было более чем наивно, если учесть, что у сорокалетнего Хуана как певца миновала пора расцвета, а тридцатипятилетняя Ольга совершенно забросила пение и утратила физическую форму. Они дали обещание друг другу и дочери, что больше не будут переезжать с места на место.

21 декабря 1907 года океанский лайнер Statendam вышел из порта Булонь-сюр-Мер и взял курс на Нью-Йорк; в Америку вместе с Линой и ее родителями отправился брат Хуана, Пабло. Они высадились на острове Эллис[12] 1 января 1908 года, став частью многочисленной волны иммиграции, которая к 1910 году увеличила население пяти районов Нью-Йорка почти до пяти миллионов человек.

Почти два миллиона жителей были уроженцами иностранных государств, включая тонкогубого аристократа, мэра Джорджа Б. Макклеллана-младшего, уроженца Дрездена. Макклеллан завоевал популярность не только благодаря чудесам архитектуры, появившимся в Нью-Йорке в период с 1904 по 1909 год, когда он был мэром города. Не меньше его прославила пуританская кампания по борьбе против стремительно набирающего популярность кинематографа. Один и тот же человек надзирал за строительством Центрального вокзала Нью-Йорка и пирсов Челси и отозвал лицензии у сотен владельцев кинозалов, устроенных в концерт-холлах, ресторанах и барах. Однако другие виды мероприятий для народа и элиты гонениям не подвергались. Лина и ее родители приехали в Нью-Йорк, когда в театре «Никербокер» состоялась премьера водевиля Джорджа Коэна «Весь город говорит» и за десять дней до того, как Густав Малер дебютировал с оперой «Тристан и Изольда» в Метрополитен-опера. (Однако после первого сезона и постановки «Тристана и Изольды» его заменил Артуро Тосканини, а Малер стал главным дирижером Нью-Йоркского филармонического оркестра и выступал в Карнеги-Холл.)

Сначала родители Лины рассчитывали на помощь дяди

Ольги, который вместе с ними приплыл в Америку. Фредерик Шарль Верле с женой Мари давно эмигрировали из Европы; Мари скончалась в 1898 году в первый день Рождества – ей было 54 года. Вдовец, переделавший фамилию на американский манер – Уэрли, какое-то время снимал квартиру в Бруклине на Division Avenue (Дивижн-авеню), а затем переехал в Уильямсбург. Вечерами он преподавал немецкий язык в средней школе, а в качестве приработка давал уроки французского, немецкого и испанского языков; он находил учеников, помещая объявления в газете Brooklyn Daily Eagle о том, что профессор Фредерик Ш. (или Ф.Ш.) Уэрли[13] дает уроки за умеренную плату.

Лина с родителями поселились в его тесной квартирке на Родни-стрит, 206. Уэрли был упрямым и раздражительным человеком. Его единственной настоящей страстью, по мнению Лины, был «искусственный язык» эсперанто, о преимуществах которого он рассказывал с фанатичным пылом. За приложенные усилия в создании Бруклинского общества эсперанто его избрали вице-президентом. Жить с ним в одной квартире было невыносимо, и его упорные попытки приобщить Лину к эсперанто привели к ссоре, в результате которой семья иммигрантов чуть не оказалась на улице. Ольга заявила, что ее дочь знает более чем достаточно языков, и, кроме того, эсперанто звучит отвратительно.

Семья была вынуждена отправиться на Кубу, в Гавану, где у Хуана были друзья. К этому времени относились последние воспоминания Лины, связанные с раздражительным дядей, но на самом деле по возвращении с Кубы ей снова пришлось поселиться в его квартире. Она жила у него и будучи подростком, когда родители уезжали в заграничные гастроли. Расставания были мучительны, поэтому болезненные воспоминания стерлись. Поскольку Ольга категорически отвергла эсперанто, Уэрли решил обучить племянницу немецкому языку – для него немецкий язык шел на втором месте после эсперанто. Лина с трудом уживалась с дядей, однако новый язык усваивала с легкостью. Последний раз Лина встречалась с дядей, когда ей было лет пятнадцать. Верле загадочным образом исчез из квартиры; мать Лины безуспешно пыталась разыскать его через общих друзей и, наконец, пришла к выводу, что он совершил самоубийство.

В Гавану семья отправилась на пароходе, поскольку это было дешевле, чем по морской железной дороге из Ки-Уэста, Флорида[14]. Они сняли квартиру на Тулипан-стрит, рядом с рынком, неподалеку от порта и вокзала, который вскоре снесли. Куба, несмотря на оккупацию США, оставалась магнитом для испанских иммигрантов, которые управляли своими банками,

системой социального обеспечения и выпускали ежедневную газету – влиятельную консервативную газету Diario de la Marina («Дневник побережья»). Гавана старалась обеспечить комфортную жизнь разношерстному обществу, состоявшему из служащих, сахарных баронов и эстрадных артистов. Хуан собирался зарабатывать на жизнь как исполнитель каталонских народных песен или оперный певец.

Однако вскоре Лина с матерью покинули Гавану; 27 мая 1908 года они вернулись в Нью-Йорк без Хуана. Тем временем он познакомился с Адольфо Бракале, директором Национального театра; позже, благодаря этому знакомству, Хуан гастролировал по Латинской и Южной Америке. Когда Хуан вернулся в Нью-Йорк, они сняли свою первую пятикомнатную квартиру в доме без лифта в Бруклине на Голд-стрит, 404, в одном квартале от оживленной улицы Флэтбуш-авеню (Flatbush Avenue) и неподалеку от квартиры Уэрли. Месячная плата за тесные квартиры в здании из красного кирпича колебалась от 18 до 25 долларов; дом был густонаселенный; со всеми вопросами и жалобами обращались к швейцару, который жил в цокольном этаже. Единственным преимуществом жилища было расположение – дом находился в нескольких минутах ходьбы от Бруклинского моста и остановки трамваев, идущих на Манхэттен.

Среди их соседей было несколько русских иммигрантов, но большинство были местными – в Бруклине всегда процент коренных жителей был выше, чем на Манхэттене. Некоторое время в одной квартире с семьей Кодина жил портовый рабочий средних лет с дочерью, которую тоже звали Лина; девочки были примерно одного возраста. Кроме того, в доме жили несколько мальчиков, их ровесников.

Дети ходили в парк Форт-Грин, до которого от дома было всего пять минут ходьбы на восток. Из парка, занимавшего 30 акров, открывался впечатляющий вид на военные верфи и Манхэттен. В нескольких минутах ходьбы на запад от их дома находился Бруклинский муниципалитет (Боро-Холл) и оживленный торговый район Фултон-стрит и Корт-стрит.

На Четвертой авеню строилась новая линия метро, поэтому ходить там надо было осторожно и внимательно смотреть под ноги. Траншеи шириной 100 футов и глубиной 30 футов тянулись до Манхэттенского моста. Однажды рабочие чуть не оказались погребенными под слоем песка и гравия вблизи Мертл-авеню; к счастью, они выбрались, отделавшись небольшими ушибами. Спустя примерно три десятилетия Лина и ее дети столкнулись точно с такими же неудобствами в России – рядом с их московским домом шло строительство метрополитена.

В Бруклине Лина училась в бесплатной средней школе номер 2, находившейся на углу улиц Тиллари и Бридж, всего в двух кварталах от дома. В четырнадцать лет Лина все еще училась в шестом классе. Годы странствий сказались на ее знаниях: у нее были пробелы по основным предметам, и, кроме того, она не была сильна в английском. Но Лина была прилежной ученицей, к тому же мать много занималась с ней, и вскоре девочка стала получать хорошие отметки. В День поминовения в 1911 году – спустя два месяца после крупнейшей производственной катастрофы в Нью-Йорке, пожара на фабрике «Трайангл»[15], – Лина приняла участие в школьном патриотическом спектакле на тему Гражданской войны в Америке. Она выучила наизусть и читала со сцены рассказ неизвестного автора XIX века Foes United in Death о смертельно раненных солдатах, южанине и северянине, решивших простить друг друга в последние минуты жизни. «Южанин попытался заговорить, но ни звука не слетело с его побелевших губ. Тогда он взял за руку своего умирающего противника, крепко сжал ее и улыбнулся, и в его последнем взгляде было прощение и покой»[16].

Хуан много работал, выступая на разных площадках Нью-Йорка. На его удачу, вкусы местных жителей оставались консервативными, хотя время от времени извне и проникали веяния модернизма. Любимым развлечением были водевили и синкопированная музыка танцевальных оркестров, но уже наступала «эпоха джаза». Из газет Хуан узнал об открытии театра «Зимний сад»[17] и запрете танго в танцзалах, но эти события, как и интриги, которые представители высшего общества плели в опере и филармонии, не затрагивали его – Хуан был занят тем, что изо всех сил пытался свести концы с концами.

Он выступал на самых разных площадках. 21 января 1909 года он исполнял популярные арии из оперы Леонкавалло «Паяцы», Масканьи «Сельская честь» и Valse Brilliante Луиджи Венцано на концерте, устроенном женским клубом Chiropean. Клуб был создан в 1896 году, и с тех пор в первый и третий четверг каждого месяца, с октября по май, в нем собирались хорошо образованные женщины из восточного района Бруклина. Необычное название клуба происходило от греческих слов chiros, что означает «рука», и peon – «песня». Но кроме того, это был замысловатый акроним, в котором зашифрованы слова «христианство», «небеса», «независимость», «промышленность», «республика» и еще несколько лозунгов, державшихся в секрете. Организаторы клуба давали возможность женщинам развивать и реализовывать свои интеллектуальные и профессиональные способности, чтобы их равенство с мужчинами, а иногда и

превосходство над ними стало общепризнанным. Ольга была связана с клубом и, несомненно, способствовала тому, чтобы ее мужа пригласили для участия в концерте 21 января. В тот день основным докладчиком была мадам Мари Кросс Ньюхос, покровительница искусств и видный защитник прав женщин. Она выступила с докладом об итало-американской культуре под названием «Италия и некоторые итальянцы» – отсюда произведения итальянских композиторов в программе Хуана – и об оказании помощи жертвам разрушительного землетрясения и цунами в Италии[18].

Ольга тоже искала работу в Нью-Йорке. В 1908 году она подписала контракт с Карло Е. Карлтоном и его Metropolitan Musical Association, актерским агентством в Мидтауне[19]. В начале весны 1909 года из-за финансовых проблем фирма прекратила свое существование, но Карлтон продолжал работать на Ольгу. В газете New York Clipper[20] он рекламировал ее как одну из известных талантливых певиц и устроил ей несколько выступлений; он даже предоставил ей возможность появиться на экране. Лина помнила, что ее мать пригласили сниматься в немом фильме о молодом одаренном певце-иммигранте. Ольга, по сути, должна была сыграть себя, певицу, однако героиня была простой, необразованной женщиной. Согласно весьма отрывочным воспоминаниям Лины, Ольга в процессе дубляжа должна была исполнить блестящую арию из «Травиаты». Однако после подписания контракта Ольга объявила, что заболела, и отказалась от участия в картине, приведя в бешенство всех задействованных в съемках. Ее агент заподозрил, что болезнь была мнимой, и с тех пор занес клиентку в черный список. Лина считала, что в ее матери взыграла гордыня; она сочла, что играть роль невежественной иммигрантки ниже ее достоинства – совсем не для этого Ольге давали такое изысканное воспитание.

После этого случая в Соединенных Штатах Ольга занималась только преподаванием музыки. Она больше не возвращалась на сцену и не смогла полностью реализовать свой талант. Друзья семьи, включая ее преданного поклонника Сержа Перского, были удивлены и расстроены, узнав о ее уходе со сцены. Начиная с 1912 года Ольга и Хуан зарабатывали деньги в основном как преподаватели вокала. Они помещали объявления в Brooklyn Daily Eagle и New York Evening Telegram, представляя себя опытными преподавателями международного уровня.

Супруги давали уроки за доллар в час в доме номер 88 по Херкимер-стрит, в своей второй по счету квартире в Бруклине, которую Лина называла домом, пока не закончила школу. Квартиры в этом четырехэтажном кирпичном здании,

расположенном по соседству с экзотическим зданием древнего Арабского ордена дворян тайного святилища, рекламировались как «самые дешевые первоклассные квартиры в районе»[21]. Дом мог похвастаться такой роскошью, как горячая вода и паровое отопление. Квартира оказалась на одну комнату больше, чем прежнее жилье на Голд-стрит. Родители Лины воспользовались этим обстоятельством и обустроили класс для приходящих учеников. Иногда Лина пряталась под роялем, воображая, что остается незамеченной, и, сидя на полу, слушала, как родители учат своих учеников. Она узнала часть итальянского оперного репертуара от Ольги, основы музыкальной теории от Хуана и начала учиться пению под руководством родителей.

В 1913 году Лина, которой шел шестнадцатый год, закончила восьмой класс; в Нью-Йорке для девушек в этом возрасте заканчивалось обязательное обучение, и Лина продолжила учебу в вечерней школе. Выпускной вечер Лины проходил теплым, ясным вечером 24 июня 1913 года в помещении Commercial High School и совпал с 250-й годовщиной школы (на сегодняшний день это старейшая школа в Нью-Йорке). В честь этого знаменательного события в программе вечера были исторические сценки, бальные танцы и выступление хора. В статье под заголовком «Перекличка столетий», напечатанной в Brooklyn Daily Eagle, подробно описывалось это театрализованное представление.

Лина, благодаря сильному голосу, была выбрана для участия в третьей сцене, в которой воссоздавалась колониальная певческая школа XVIII века. Четвертая сцена представляла из себя марш выпускников, после которого состоялось вручение дипломов. Далее член местного отдела школьного образования объявила, что мисс Глэдис Кук и Каролина Кодина показали лучшие успехи в изучении немецкого языка; им были вручены серебряные медали Национального германо-американского альянса[22]. Уроки Уэрли не прошли даром.

Память Лины сохранила отрывочные воспоминания об этом событии. Девочка заранее раздобыла отрез шифона и тщательно продумала изысканный фасон выпускного платья. Но мать отказалась помогать дочери, опасаясь за свои изящные, нежные руки, и Лина была вынуждена шить сама, поэтому платье получилось простенькое. Она помнила, как выпускники танцевали менуэт Моцарта под неслаженный аккомпанемент школьного оркестра.

Затем Лина получала профессиональное образование в Бруклине и на Манхэттене, а также, по собственным утверждениям, некоторое время жила в северных пригородах

Нью-Джерси. В 1916 году Лина с родителями переехали на Манхэттен: сначала в Морнингсайд-Хайтс, где они сняли квартиру на Манхэттен-авеню, 161, рядом с Центральным парком, а затем в Северный Манхэттен, в Вашингтон-Хайтс, на 145-ю улицу. Большинство их соседей были коренными американцами – продавцами, клерками, учителями, малоизвестными актерами и актрисами. Хуан и Ольга продолжали путешествовать, оставляя дочь на попечении мягкосердечных друзей, имевших большие, чем у них, средства к существованию.

В 1912 году, перед тем как Лина закончила восьмой класс, ее родители отправились на Бермуды – они выступали на одном из трех океанских лайнеров для обеспеченных отдыхающих, желающих провести скучное время Великого поста на элитном курорте. В тот год зима была суровой, и все билеты на лайнеры были раскуплены, а в отелях на Бермудах не было свободных мест. Благодаря этому у Хуана и Ольги было много работы. В 1916 году Хуан отправился с оперной труппой на гастроли в город Гватемала, а Ольга и Лина остались дома. Никаких подробностей об этой и поездках в Латинскую и Южную Америку и последующих Лина не знала. Подробности гастролей 1920 года в Лиму и Панаму с оперной труппой Адольфо Бракали давно забылись, если они вообще были ей известны.

Спокойный, добродушный Хуан принимал в воспитании дочери гораздо меньше участия, чем жена. Он безраздельно царил на устраиваемых дома музыкальных вечерах, однако для Лины близким человеком так и не стал. Ольга, напротив, не оставляла дочь в покое. Каждый раз перед выходом из дома Лина получала от матери стакан молока. Ольга боялась малокровия, хотела, чтобы Лина росла здоровой, и потому перекармливала дочь. Она просила Лину не пользоваться метро и надземными поездами, считая их рассадниками инфекции. В любом случае у Лины никогда не было синих губ – первый признак малокровия, и во время массовой эпидемии гриппа в 1918 году у нее не было даже насморка. «В то время у людей были странные понятия», – вспоминала Лина[23].

Почти все, что было известно Лине о музыкальной карьере отца, она узнала благодаря недатированной записи, сделанной на студии звукозаписи Columbia Records, где Хуан пел, аккомпанируя себе на гитаре. Лина хранила эту запись и фотографию, на которой отец был запечатлен в костюме-тройке и в гавайской соломенной шляпе под пальмой на Кубе.

На пластинке на 78 оборотов были записаны две старинные печальные и чувственные песни из испанского народного

репертуара. С ними Хуан выступал в Гаване. Одну из них, Para jardines Granada, Хуан любил петь Ольге, вероятно, чтобы напомнить ей о том времени, когда он красиво ухаживал за ней. «Для садов – Гранада; для женщин – Мадрид; для любви – твои глаза, когда они смотрят на меня». Лина записала эти строчки в блокнот и выучила песню.

Среди людей, на попечении которых родители оставляли Лину во время отлучек, была Вера Данчакова, известный ученый-биолог, которая одна из первых занялась изучением стволовых клеток. Лине она запомнилась всего лишь как исследователь в фармацевтической компании Eli Lilly. На самом деле Данчакова была большим ученым. Она изучала медицину в родном Санкт-Петербурге. В 1915 году иммигрировала в Соединенные Штаты – спустя год после вступления России в Первую мировую войну, обернувшегося для страны катастрофой[24]. Сначала она работала в Рокфеллеровском институте в Нью-Йорке[25], а позже на факультете хирургии и общей терапии Колумбийского университета. Кроме того, она была журналисткой, нью-йоркским корреспондентом московской газеты «Утро России»[26]. В начале 1920-х годов она, принимая участие в деятельности Американской администрации помощи, рассказывала о тяжелом положении ученых в России во время и после Первой мировой войны[27]. Возможно, пример этой женщины – в справочнике Who’s Who она была названа феминисткой – вдохновил Лину на реализацию собственных амбиций.

Однако с Хуаном и Ольгой Данчакова сошлась на почве музыки. Непрофессиональная, но одаренная пианистка, она принимала участие в музыкальных вечерах, которые супруги Кодина устраивали в своей квартире. Она, в свою очередь, приглашала их на летнюю дачу, которую снимала в Вудс-Холле, Массачусетс. Данчакова с мужем устраивали хлебосольные обеды для всех родственников и друзей. Эта патриархальная сценка запечатлелась в памяти Лины и свидетельствовала о том, что у ее родителей были важные связи в кругах русских эмигрантов. Когда Лине было 9 лет, количество эмигрантов из России достигало 500 тысяч человек; к тому времени, когда ей исполнился 21 год, их численность увеличилась до 750 тысяч человек. Сбежавшие из России по разным причинам – политическим, экономическим, культурным, они рассказывали о хаосе, последовавшем за революцией: отречении от престола русского царя в феврале 1917 года и захвате власти большевиками (коммунистами) в ноябре того же года. Родители надеялись, что Лина станет своей среди русских эмигрантов, и она оправдала их надежды.

Например, Лина дважды встречалась с русским композитором Сергеем Рахманиновым. Этот высокий, худой, угрюмый человек был весьма учтив с женщинами. Он не возражал, чтобы его музыку называли сентиментальной и меланхоличной, словно отражавшей горести, выпавшие на долю его родины, – эта рекламная уловка помогала продать больше билетов. Но стоило его большим рукам с длинными пальцами коснуться клавиатуры, и становилось понятно, что вся эта слезливая сентиментальность – просто клише. Рахманинов-пианист подчинял себе аудиторию и даже оркестры, с которыми он исполнял фортепианные концерты.

Впервые Лина встретилась с Рахманиновым в 1909 году, во время его первых гастролей в США. Гастроли были очень успешными, тем не менее он остался недоволен. Несмотря на успех и выгодные контракты, которые ему предлагали американцы, Рахманинов отказался от них. После концерта в Академии музыки на Восточной Четырнадцатой улице, где в XIX веке размещалась Метрополитен-опера, Лина и ее мать через общих знакомых получили приглашение пройти за кулисы, чтобы увидеть Рахманинова. Ольга хотела, чтобы одиннадцатилетняя дочь выглядела как можно наряднее, и нарядила девочку в матроску, а длинные волосы заплела в косы. Рахманинов не скрывал своей неприязни к американским детям, но сразу выделил Лину, подошел к ней, погладил по голове и с ностальгическим вздохом пробормотал: «Какая воспитанная маленькая русская девочка»[28].

Повзрослев, Лина легко нашла свое место в эмигрантских кругах, пользуясь связями матери и обзаводясь новыми. Как только Лина окончила школу, Ольга убедила дочь, что необходимо получить профессию, mètier, а не полагаться на замужество. Хуан и Ольга по собственному опыту знали, как изменчива жизнь. Никогда не знаешь, что случится завтра, поэтому Лина должна быть в состоянии сама себя содержать, получив профессию или давая частные уроки французского. Важно не столько количество заработанных денег, сколько независимость, которую они дают, утверждала Ольга. У нее была склонность к феминизму, развившаяся под влиянием матери и членства в женском клубе Chiropean. Итак, Лина поступила в бизнес-школу для получения профессии секретаря, но продолжала заниматься пением.

Благодаря Ольге Лина могла не только читать и писать, но и говорить по-русски, и это помогло ей войти в мир эмигрантов, имеющих связи с влиятельными и состоятельными людьми, многие из которых были яркими личностями – и среди них три

Веры. Во-первых, Вера Данчакова. Во-вторых, Вера Джонстон, богатая светская львица, принимавшая участие в оказании помощи России во время Первой мировой войны; она брала уроки пения у родителей Лины и делилась с Ольгой новостями о родине. У Джонстон были впечатляющие связи в демократической политической организации, известной как Таммани-Холл[29], но гораздо большее впечатление на Лину произвело необычное, можно сказать причудливое, сочетание национальностей и взглядов среди родственников Джонстон. Ее мать была писателем-фантастом, известной в России благодаря рассказам о детях со сверхъестественными способностями. Увлечение сверхъестественными явлениями в мрачный период заката русского царизма затронуло ее тетю, Елену Блаватскую, ясновидящую и спиритуалистку, основавшую Теософское общество. По слухам, она демонстрировала удивительные экстрасенсорные способности и приобрела много поклонников в Соединенных Штатах. Теософия не привлекла Лину, но позже она станет горячей поклонницей Мэри Бейкер Эдди[30] и ее Христианской науки.

Вера была замужем за Чарльзом Джонстоном, который тоже произвел на Лину большое впечатление. Он был видным специалистом по санскриту, и его перевод индуистского священного писания Бхагават-гита стал классическим вариантом для новообращенных. До встречи с Верой в Англии, лондонском доме ее тети Елены, и переезда в Соединенные Штаты, в 1888 году Джонстон некоторое время работал в Индии. Там он заразился тропической малярией, после чего уволился по состоянию здоровья и вернулся в Европу, где стал ученым и писателем.

В Соединенных Штатах в 1908 году он работал преподавателем в Висконсинском университете, преподавателем в русской семинарии в Нью-Йорке, а с 1918 по 1919 год даже в Управлении военной разведки. Чарльз утверждал, что знаменитый поэт Уильям Батлер Йитс является его давним другом; они вместе ходили в школу в Ирландии, где их сблизили общие религиозные взгляды. В 1914 году, через Чарльза, Лина познакомилась с Йитсом, который приехал в Нью-Йорк с лекциями. По ее словам, он был «краснолицый» и держался как истинный «хозяин положения»[31].

Чарльз обожал Лину. Он называл ее то «кнопкой», то baala, что в переводе с санскрита означает «малышка». Его жена, которую Лина запомнила как старомодную русскую матрону, относилась к девочке холодно и не скрывала, что устала от мужа – так же, как и он от нее. Они были театралами и приглашали

Лину с родителями на оперетты Гильберта и Салливана[32] и спектакли по пьесам У. Б. Йитса. Лине понравились комические оперы «Микадо» и «Пензансские пираты», но она не поняла загадочную кельтскую драму «Графиня Кэтлин». Чарльз безуспешно пытался объяснить ей смысл произведения Йитса, но единственное, что запомнилось ребенку, – много людей в шлемах и боевые сцены.

В феврале 1915 года благодаря Джонстонам Лина попала на прием и банкет, устроенные на борту российско-американского океанского лайнера «Курск». Собралось пестрое интернациональное общество… С этого приема нью-йоркское Русско-американское общество при активной поддержке жены русского посла, мадам Бахметьевой (Бахметевой), начало кампанию по сбору пожертвований пострадавшим от войны в России. Вера Джонстон была членом исполнительного комитета, а Лина ее особым гостей. В не по сезону теплый зимний вечер на борт «Курска» поднялись дамы в отороченных мехом пальто и длинных бархатных платьях в модном в то время средневековом стиле. Помимо танцев, устроенных после обеда, выступала группа Domba (от древнеиндийского слова dombas – «бродячий музыкант». – *Пер.*) в национальных костюмах с программой восточной народной музыки. То, что музыканты были родом из Индии, а не из России, наводит на мысль, что в организации концерта Вера прибегла к помощи мужа.

Третьей Верой, присматривавшей за Линой в отсутствие родителей, была Вера Янакопулос, бразильская певица греческого происхождения. У этой женщины был роман с русским, Алексеем Сталем, адвокатом, который приехал в Соединенные Штаты из России в 1918 году, где служил прокурором. По словам Лины, он был мэром Москвы, но в действительности являлся членом Временного правительства, сформированного после отречения русского царя в 1917 году. Когда к власти пришли большевики, ему пришлось бежать из России, спасаясь от угрозы расстрела. Истинную революцию совершил Владимир Ленин, а не горстка беспомощных буржуа, сформировавших Временное правительство. Большевики не проявили милосердия к царю Николаю II и членам его семьи. В сильном подпитии Сталь любил рассказывать гостям дома на Стейтен-Айленде истории о собственном чудесном спасении.

Лина восхищалась им на расстоянии, осознавая опасность, таившуюся в его обаянии и лукавом взгляде. Рыжая борода только усиливала сходство с хитрой лисой. Возлюбленная Сталя, Вера, которую он называл «примадонной», была его полной противоположностью: очаровательная, добросердечная, бегло

говорящая по-французски. Для Лины она была идеальным образцом для подражания.

Благодаря этим связям Лина в 21 год получила свою первую работу. Это была в основном канцелярская работа, но у нее появилась уникальная возможность получить представление о международной политике. В 1919 году Лина в течение месяца работала помощницей у Екатерины Брешко-Брешковской, которую называли бабушкой русской революции. Ее дважды ссылали в Сибирь за членство в анархических и социалистических организациях в России, она агитировала за свержение царя Николая II и была членом Временного правительства, сформированного после отречения царя. Ходили слухи, будто Брешко-Брешковскую казнили в 1918 году, но, очевидно, ей удалось бежать из России. Брешко-Брешковской было 75 лет, когда она приехала в Соединенные Штаты; позади были три десятилетия активной политической жизни и еще пятнадцать лет ждали впереди. В январе 1919 года Брешко-Брешковская, совершив плавание через Тихий океан, высадилась в Сиэтле, откуда началось ее путешествие по территории Соединенных Штатов, в ходе которого она рассказывала о том, что творится на ее родине, – о голоде, грабежах и насилии. Она была гостьей в Халл-Хаус в Чикаго, благотворительном центре, оказывавшем всевозможную помощь вновь прибывшим эмигрантам из разных стран. В своих выступлениях она в пугающих подробностях описывала невыносимые страдания русских людей. Ее сторонники, включая таких прогрессивных женщин, как Лиллиан Уолд, Джейн Аддамс, Элис Стоун Блэквелл, возвеличивали Брешковскую за ее самоотверженность, за активную деятельность по сбору средств для оказания помощи русским сиротам.

Спустя десять дней она сошла с поезда на Центральном вокзале Нью-Йорка, где ее встретили с цветами восторженные поклонники. Оттуда она отправилась в «Сеттлемент на Генри-стрит», дочернюю организацию Халл-Хаус, обслуживавшую иммигрантов Нижнего Ист-Сайда. Брешковская сделала дом на Генри-стрит своим штабом в Нью-Йорке.

История Брешковской почти не отличалась от истории хозяина дома на Стейтен-Айленде Алексея Сталя; оба бежали из России, чтобы сохранить жизнь. Однако, в отличие от Сталя, Брешковская не теряла активную жизненную позицию. Даже в изгнании она вела кампанию против Советской России, утверждала, что необходимы перемены. Бабушка не только занималась сбором средств; в своих выступлениях она предупреждала об опасности большевизма и высказывалась в поддержку Лиги Наций. Она осуждала большевиков и их лидера

Ленина, называя их безрассудными фанатиками, управляемыми германскими агентами. Русская революция не что иное, как государственный переворот, заявляла она, и это ставило под сомнение идею социализма.

Лина, работавшая машинисткой и при необходимости переводчиком, не переставала удивляться своему работодателю. Несмотря на богатый жизненный опыт, Брешковская любила изображать наивность, делала вид, будто она простая, безобидная старушка. Она произвела на Лину парадоксальное впечатление: «очень старая дама» притворялась аполитичной, «конечно, не большевичка» и «далека от тоталитаризма»[33].

Брешковская пыталась объяснить американцам разницу между социалистами и большевиками, которые, по ее мнению, были большими диктаторами, чем цари. «Трудно говорить о России, если вы не понимаете Россию», – заявляла она[34].

Лину поразили феминистские высказывания начальницы – впрочем, в то время девушка такого слова не знала. Брешковская считала, что женщины, особенно решительные американские женщины, являются надеждой человечества. Она приветствовала борьбу за избирательное право женщин и подчеркивала важность образования в стремлении к справедливой жизни. Как она выразилась в разговоре с Лиллиан Уолд, образование убережет людей от «обольщения, искушения, обмана и потерянности»[35]. Лина, будучи еще довольно наивной, вспоминала наиболее неопределенное значение выражений «фундаментальные основы добра» и «гуманитарные принципы»[36].

Обязанностей у Лины было не слишком много, поскольку она являлась лишь одной из многочисленных помощниц Брешковской, следивших за плотным графиком начальницы. По приглашению исполнительного комитета Общества друзей русской свободы Бабушка выступила 10 февраля в Карнеги-Холл – и собрала почти 11 тысяч долларов. Она объяснила собравшимся в зале, что Россия более всего нуждается в конституционном, представительном правительстве. Затем Брешковская отправилась в Вашингтон, где выступила перед подкомиссией конгресса по вопросу большевизма. Увы, все это привело к сильному переутомлению, и врачи прописали Брешковской полный покой.

Некоторые скептически относились к ее призывам, и, к своему изумлению, она обнаружила, что ее высмеивают, называя лакеем капитализма. В Бостоне сторонники большевиков с балконов выкрикивали по-русски дерзкие вопросы. А в Провиденсе чуть было не дошло до беспорядков: радикалы забрались на стропила и распевали революционные марши, а

снизу их противники отвечали гимном The Star Spangled Banner («Знамя, усыпанное звездами»). 28 июня Брешковская, чувствуя, что ее терпение вот-вот лопнет, отправилась из Соединенных Штатов во Францию, предупредив на прощание, что в США около трех миллионов сочувствующих большевикам, которых не следует выпускать из поля зрения.

* * *

Лина снова воспользовалась связями с русскими, которых у нее теперь было не меньше, чем у матери, и устроилась на постоянную работу в финансовом районе Нью-Йорка. Помог трудоустроиться и опыт работы у Брешковской. Каждое утро, заплатив 5 центов, она ехала в метро из Вашингтон-Хайтс (район Северного Манхэттена) до Либерти-стрит, 136. Лина получала от 16 до 20 долларов в неделю – обычная зарплата для молодой женщины-стенографистки или помощницы в офисе – в Комитете русских кооперативных союзов.

Американский комитет был частью Всероссийского центрального союза потребительских обществ, организации, известной под непонятным акронимом «Центросоюз». Комитет издавал ежемесячный журнал на английском языке Russian Cooperative News, в котором подробно рассказывалось о деятельности и планах организации. В первом номере журнала говорилось об экономической и дипломатической целях американского комитета, о важности вклада Соединенных Штатов в торговлю и промышленность России[37]. Однако, хотя речь там шла об американских интересах, было очевидно, что на первом месте стоят интересы России. Объявление об окончании Первой мировой войны вызвало какие угодно чувства, но только не эйфорию. Россия была растерзана войной, так что праздновать было нечего. С Германией был подписан мирный договор, и снята блокада. На мировом рынке появился сильный и влиятельный конкурент, с которым следовало считаться. «Теперь страны вынуждены сформировать принципы экономической политики, полностью отличающиеся от тех, что были во время войны»[38]. Экономические реформы, проведенные большевиками для спасения российской экономики, находились под угрозой. Кто бы мог подумать, что таковы окажутся последствия заключенного мира?

В американском Центросоюзе (еще одно отделение находилось в Москве, в здании, построенном Ле Корбюзье) располагалось отделение Московского народного банка[39]. Лина

работала на четвертом этаже под руководством Евгения Сомова, которому ее представили общие знакомые. Кроме того, он работал помощником и секретарем композитора Сергея Рахманинова. Сомов был немного влюблен в Лину, и ему нравилось поддразнивать ее из-за стеклянной перегородки между столами. Иногда он снимал трубку параллельного телефона и подслушивал ее личные разговоры.

Одним из клиентов банка был голубоглазый блондин, композитор и пианист, приехавший в Нью-Йорк из России. Он был на пути к славе, однако музыка его вызывала споры в Европе и Соединенных Штатах. Этот человек не скрывал, что презирает музыку композиторов-романтиков, которая была по душе нью-йоркским любителям музыки. Американские средства массовой информации рассуждали о его жесткой, механистической технике исполнения и какофонических сочинениях, таких как Концерт для фортепиано с оркестром № 2 и Скифская сюита. Однако при личном общении композитор не производил впечатление эксцентричного человека не от мира сего. У него был настолько плотный гастрольный график, что он постоянно испытывал смертельную усталость, но, несмотря на это, упорно двигался к поставленной цели – завоеванию Нового Света. В Нью-Йорке на его пути стоял Рахманинов, он был старше и относился к более консервативному поколению.

Время от времени новый клиент заходил в банк, чтобы отправить телеграфный перевод своей матери, оставшейся в России. Насколько ему было известно, мать поехала на юг с семьей племянника. Путешествие было опасным, поскольку племянник отступал вместе с проигравшей Гражданскую войну белой армией. Композитор надеялся, что родным удастся благополучно добраться до Черного моря и покинуть Россию. У него было крайне мало денег, однако он отчаянно пытался разыскать мать. Рассылал письма во все российские консульства, вкладывая в них скромные денежные суммы, с просьбой сообщить, где его мать и как он может связаться с ней.

Сначала Лина считала его самодовольным и грубым, но потом прониклась обаянием композитора. Он тоже заинтересовался Линой. Летом 1919 года они несколько раз ходили вместе на концерты и званые ужины. Сталь был их общим другом и, поощряя их отношения, часто приглашал на вечеринки на Стейтен-Айленде. Мать Лины высказывала беспокойство по поводу зарождающихся отношений и призывала дочь держаться от музыкантов подальше – то же самое ей самой когда-то говорил отец. Но Ольга признавала, что он обаятельный человек, и с

удовольствием слушала его рассказы о России, бывшей и настоящей.

Его звали Сергей Прокофьев. Лина впервые увидела Прокофьева 10 декабря 1918 года в Карнеги-Холл, где он исполнял свой Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Вера Данчакова позвонила матери Лины с известием, что из России с концертом приехал композитор, опровергающий устоявшиеся представления о музыке. Ни Вере, ни Ольге не нравилась новая музыка, но им было интересно послушать «большевистского» музыканта, имевшего репутацию «безумного гения». Лина, услышавшая разговор матери с Данчаковой, воскликнула: «О, я тоже хочу пойти на концерт!»[40] Так она попала на концерт, вызвавший бурю самых разных эмоций, а после этого встретилась с композитором за кулисами. С этого, казалось бы, незначительного эпизода началась следующая фаза ее жизни, еще более наполненная приключениями, чем детство.

Глава 2

Зарубежные музыканты много лет развлекали нью-йоркскую публику, но в 1918 году гвоздем программы был Сергей Прокофьев – виртуоз, модернист, исполнявший собственную новаторскую музыку.

Вундеркинд, сравнимый по таланту с Моцартом, учился в Петербургской консерватории, первым знаменитым выпускником которой стал Петр Чайковский. Сергей был намного младше сокурсников, однако смотрел на них свысока. В насмешку на уроках гармонии он вел статистику их ошибок, старательно сортируя параллельные квинты и другие несуразности в отдельные графы и высчитывая проценты. Он во всеуслышание заявлял, какая скука эта учеба. Преподаватели ворчали, сердились и вздыхали, возмущаясь «неправильными» нотами и непонятными оркестровками. Прокофьеву объясняли, что он слишком увлечен наделавшими развращенными экспрессионистами, футуристами и примитивистами, но на самом деле их музыка – просто шум; следует оказывать больше уважения традициям. Как правило, Сергей не обращал внимания на критику и даже гордился тем, что оценки у него хуже, чем у послушных, примерных однокурсников. Однако выговоры, которые он регулярно получал от Николая Римского-Корсакова, Анатолия Лядова и Николая Черепнина, подчас бывали строгими, даже несправедливыми, и это его задевало.

Мария Прокофьева, безумно любившая сына, вселяла в него огромную уверенность и обещала поездку в Париж после окончания консерватории. В 1909 году Сергей окончил консерваторию как композитор, а в 1914 году – как пианист, выиграв первый приз в состязании с четырьмя другими музыкантами и поразив комиссию исполнением своего Первого фортепианного концерта. Директор консерватории, коренастый, краснолицый Александр Глазунов, даже почувствовал недомогание – такова была исполнительская мощь и властная энергия Прокофьева. Сергей продолжал учиться, чтобы избежать призыва в царскую армию. Сочинил Концерт для фортепиано с оркестром № 2, пьесу «Внушение дьявола», фортепианные циклы «Сарказмы» и «Мимолетные видения». Решив, по его собственному выражению, «подразнить гусей» – консерваторских ворчунов, он сочинил Симфонию № 1 «Классическую»[41]. К его удивлению, она стала одним из его самых известных сочинений.

Прокофьев нашел Париж «удивительно красивым, жизнерадостным, веселым и обольстительным»[42] и мгновенно

погрузился в водоворот новых впечатлений – Эйфелева башня, с которой он послал открытки завидовавшим ему друзьям; шелковые цилиндры; балеты «Петрушка», «Дафнис и Хлоя», «Шехерезада»; Академия изящных искусств, кафе на бульварах, где он пристрастился к виски с содовой. Как только Сергей Дягилев, опытнейший балетный импресарио, организатор труппы «Русский балет», удостоил его аудиенции, Прокофьев понял, что его будущее связано с Западом. Но к тому времени, когда Прокофьев укрепился в желании покинуть Россию, путь в Париж был отрезан. В России царил хаос. Ужасающие события в феврале 1917 года – перестрелки на улицах Петрограда (в августе 1914 года Санкт-Петербург был переименован в Петроград); мятежные солдаты; огневые точки на крышах домов; усеянные листовками улицы; акты вандализма; костры на улицах. Однако для Сергея все эти события были не более чем ходами на политической шахматной доске. Прокофьев был свидетелем революции, однако происходившие в стране катаклизмы не затрагивали его глубоко. Заботящийся исключительно о собственных интересах и обладающий феноменальной способностью концентрироваться, Прокофьев отгородился от мира и царившего в нем хаоса и сосредоточился на своей музыке.

Весной 1918 года, оставив мать на Кавказе, Сергей отправился в длительное путешествие на Восток, сначала в Японию, а оттуда в Америку. В дороге он учил английский язык, который знал намного хуже французского, и начал работу над оперой «Любовь к трем апельсинам» по заказу Чикагского оперного театра.

Сергей отправился в гастрольную поездку на Запад с разрешения большевистского правительства России. Анатолий Луначарский, нарком просвещения, санкционировал заграничную поездку Прокофьева, считая, что Сергей будет своего рода атташе по культуре. Большевики – разрушители, признавался Луначарский, а Сергей – созидатель. Режим нуждается в нем. Прокофьев соблюдал договор, в беседе с американскими корреспондентами никогда не отзывался негативно о послереволюционной России, не желая рисковать хорошими отношениями с большевистским режимом и его заграничными агентами.

Поездку в Соединенные Штаты финансировал промышленник Сайрус Маккормик, который познакомился с Сергеем в июне 1917 года, во время посещения России в составе американской дипломатической миссии. Бурное пребывание в Америке началось с неприятного общения с таможенниками на острове

Энджел, Калифорния, 24 августа 1918 года[43] и закончилось 27 апреля 1920 года ссорой в Чикагской опере. Между этими событиями Прокофьев ездил по Америке как концертирующий пианист, в основном исполняя собственные сочинения, а не музыку романтической эпохи, столь любимую зрителями.

Сергей тосковал по России, даже когда узнал о расстреле царя и конфискации частной собственности большевиками. Он переживал, что оставил страну в решающий – если не сказать страшный – переходный период, и боялся, что понесет наказание за то, что поехал за границу в поисках успеха. Но больше всего его волновала судьба матери, которая взращивала его талант и следила за учебой, а также перспективы возвращения на родину. Но у Прокофьева не было много времени на раздумья, поскольку он жил на чужие деньги и должен был крутиться как белка в колесе, чтобы обеспечить себе постоянный ангажемент и публикации в американской прессе. Деньги Маккормика заканчивались, и Сергей был вынужден обращаться за финансовой поддержкой к русским, жившим в Америке.

В течение 1918–1919 годов он перенес бесчисленное множество болезней, вызванных стрессом и усталостью, от мучительной простуды до мигрени, больных зубов, скарлатины, ревматизма и многочисленных абсцессов, в том числе в горле[44]. Ему еще не было тридцати, а у него уже поредели волосы, Прокофьев страдал из-за слабого сердца и сильно похудел. Однако, несмотря на состояние здоровья и массу других проблем, в том числе споров по контрактам и выручке со скупым менеджером М. Д. Адамсом, Прокофьев продолжал верить в себя и свою гениальность. Как подтверждение, он скрупулезно подсчитывал, сколько раз его вызывали на поклон после концерта – десять или двенадцать раз (он не смог точно вспомнить) в Чикаго 8 декабря 1918 года, – и вычислял соотношение между громкостью аплодисментов, которые он получил, временем суток, когда состоялся концерт, и учитывал присутствие в зале дам в перчатках, поскольку их аплодисменты звучали глуше, чем следовало бы.

Однако его стремление к славе объяснялось не только самовлюбленностью. Читая сочинения философов – в подростковом возрасте Сергей изучал Канта, Гегеля, Шопенгауэра, – он пришел к выводу, что его музыка вне времени и пространства, что его талант действительно дарован Богом. Как еще он мог объяснить, что мелодии, гармонии приходят к нему, сами собой возникая в голове и требуя, чтобы их записали? У него не было иного выбора, кроме как целиком посвятить себя своей музыке.

Фанатичная преданность делу проявлялась то в неожиданных вспышках гнева и высокомерия, то в редких приступах меланхолии. Если дамы отвергали его или он разочаровывался в них, – Лина не была исключением, – его лицо багровело, и он обвинял их в том, что они банальные, поверхностные особы. Порой Сергей производил впечатление человека бесчувственного, и виной тому была странная привычка переводить эмоции в рациональную плоскость – это упражнение успокаивало Прокофьева и дарило ему своеобразное утешение. После смерти отца в 1910 году Прокофьев размышлял: «Любил ли я его? Не знаю… Он беззаветно служил мне, своему единственному сыну, и именно благодаря его неустанной заботе так долго удовлетворялись все мои материальные потребности»[45]. Сергей не выносил сантиментов ни в музыке, ни в жизни.

Во время поездки по Соединенным Штатам композитор вел дневник; он подробно описывал то, что видел и слышал в первые месяцы жизни в Нью-Йорке летом 1918 года; «мрачного на вид негра»[46], жившего этажом ниже в доме на 109-й улице, в котором он снимал квартиру, «красивую, плоскогрудую, равнодушную»[47] молодую женщину, профессиональными услугами которой он пользовался. Вскоре он переехал из окраинного района Манхэттена ближе к центру и поселился в отеле Wellington, расположенном на углу 7-й авеню и 55-й улицы. Он занимал две меблированные комнаты с роялем. Места хватало, чтобы «спрятать чужих жен, если их разъяренные мужья ворвутся в номер», пошутил он в дневнике, но признался, что личная жизнь «ужасно хромает»[48]. Положение улучшилась, как только Сергей начал выходить в свет и посещать особняки спонсоров. Он флиртовал с нью-йоркскими кокетками и ухаживал за Харриет Ланье, основателем и президентом Общества друзей музыки. Харриет и ее муж, брокер, устраивали приемы в особняке на Восточной 55-й улице. Харриет Ланье посвятила свою жизнь Обществу и даже прикованная к постели из-за сердечной болезни продолжала организовывать концерты из спальни апартаментов в отеле Savoy Plaza. Сергей покорил Ланье своей игрой, и она пообещала организовать его дебют[49]. Но передумала, когда узнала, какие огромные деньги Сергей требует за выступление.

Вечером 19 октября 1918 года Сергей прошел один квартал от отеля Wellington до Карнеги-Холл, чтобы принять участие в смешанном русском концерте, организованном Russian Liberty Loan Committee. Сергей представлял блестящий нью-йоркский дебют совсем по-другому и боялся испортить еще не окрепшую

репутацию. Организаторы концерта, сами о том не подозревая, спасли Прокофьева, поставив его выступление в конце программы. Концерт слишком затянулся, и номер Сергея был отменен. Таким образом, дебют состоялся спустя десять дней, 29 октября, в Бруклинском музее. Концерт был посвящен открытию выставки Бориса Анисфельда[50], оформившего для Чикагской оперы премьерный спектакль «Любовь к трем апельсинам». Перед приемом было устроено выступление русских вокалистов и пианистов, однако никто из двухсот гостей не ожидал увидеть за роялем выдающегося музыканта. Для них концерт был просто развлечением. Внимательно оглядев публику, Прокофьев решил, что его варварский стиль не придется по вкусу зрителям и не заставит их раскошелиться. Его энергичная токката звучала сдержанно. «Может быть, Прокофьев и является львом музыкальных революционеров, но вчера этот лев рычал нежно, как милый голубок, – сокрушался один из критиков в Brooklyn Daily Eagle. – Мы напрасно ждали от него демонстрации музыкальных крайностей». Возможно, высказывал предположение критик, Прокофьева «попросили обращаться с публикой в наиболее доброжелательной манере. Нам придется ждать других, более благоприятных случаев, чтобы услышать музыку будущего»[51].

И такой случай представился 20 ноября. Благодаря 450 долларам, занятым у мецената российского происхождения, Сергею удалось в последнюю минуту договориться о концерте в Aeolian Hall (Эолиан-Холл), на третьем этаже 17-этажного небоскреба, расположенного напротив Райант-парка и Нью-Йоркской публичной библиотеки. Прокофьев ожидал увидеть небольшую толпу завистливых местных пианистов, но, к его удивлению, успех выступлению обеспечил менеджер. Удалось собрать почти полный зал, рассчитанный на 1300 мест. Чем дольше длился концерт, тем ближе к сцене подходили зрители, чтобы наблюдать за блистательным исполнением искрящегося скерцо и финала сонаты для фортепиано № 2. Однако, к смятению Прокофьева, из предоставленного ему инструмента с трудом удавалось извлечь нужные звуки, один раз он даже допустил ошибку, но вышел из положения с честью – Сергей барабанил по клавишам «Стенвея», пока не добился необходимого fortissimos (фортиссимо). Его пальцы почти утратили чувствительность, но он одержал победу.

Сергей включил в программу произведения Скрябина и Рахманинова в надежде на то, что последний придет на концерт. Рахманинов недавно прибыл в Нью-Йорк, и Сергей рассчитывал удостоиться внимания и уважения соотечественника, пианиста и

композитора, достигшего высот славы, к которым Прокофьев пока только стремился. Но Рахманинов обошел вниманием его выступление, и Сергей сделал вывод, что тому просто неинтересны «взгляды молодежи»[52]. Очевидно, он «продал душу дьяволу за американские доллары», презрительно хмыкал Сергей, если вместо серьезной музыки исполняет популярные произведения[53].

В любом случае Сергей добился желаемого эффекта – ультрамодернист, интеллектуал, ниспровергатель традиций. Во время трех перерывов в концерте Сергей десять раз выходил на поклоны и на следующий день насчитал в прессе одиннадцать рецензий. Он был готов к уничижительной критике – его музыка XX века была непривычна для ушей XIX века. В конце концов, одно не слишком удачное выступление перед консервативными слушателями не нанесет ущерба карьере. Кроме того, он был способен лучше, чем критики, оценить успех своего выступления. Статьи, как он и предполагал, были нелестными. New York Times назвала его человеком «отвратительных эмоций. Ненависть, презрение, гнев – прежде всего гнев, – отвращение, отчаяние, осмеяние и вызов служат в качестве образцов настроения»[54]. У критика из Tribune хватило наглости назвать его музыку «адским снадобьем», смешанным в «ведьмином котле», – только для того, чтобы на следующий день отказаться от своих слов[55]. Оказалось, случайно перепутал Прокофьева с другим ультрамодернистом.

В тот вечер на концерте не присутствовал новый друг и наставник Сергея, Алексей Сталь, – он слег от тяжелой болезни. Лина тоже была знакома со Сталем через певицу Веру Янакопулос, драматическое сопрано. Прокофьев и Сталь виделись по нескольку раз в неделю, но теперь, когда Сталь заболел испанским гриппом, испанкой, «кашлял как сумасшедший», а температура поднялась выше 40 градусов, Сергей воздерживался от визитов[56]. Композитор был уверен, что непременно заразится этой смертельной болезнью, как заразились ею тысячи жителей Нью-Йорка в конце 1918 года. Даже легкий насморк повергал его в панику, и Сергей отказывался от посещения Сталя до тех пор, пока не получил письменную гарантию, что в доме проведена дезинфекция.

Они случайно встретились летом 1918 года в Иокогаме, когда оба направлялись в Соединенные Штаты – хотя и по абсолютно разным причинам.

Сталь был очевидцем и в некотором смысле жертвой политического хаоса в России в период между 1905 и 1917 годами. Будучи членом Временного правительства, пришедшего к

власти после отречения царя, после большевистского переворота он оказался в Японии. Тем не менее бывшему московскому и петербургскому судье удалось поддерживать связи с Россией. В Нью-Йорке Сталь установил добрые отношения с русским консулом – потенциальным работодателем для себя и возможным источником финансирования для Сергея. Прокофьев, активно интересовавшийся новостями из России, навещал Сталя во всех его квартирах в Вест-Сайде (со 133-й улицы Сталь переехал на 86-ю, оттуда на 112-ю, а после этого уже арендовал вместе с Верой большой дом на Стейтен-Айленде). Они обсуждали захват большевиками Кремля и жестокую борьбу между красными и белыми – ту самую, из-за которой мать Сергея оказалась в опасности. Сталь потчевал Сергея рассказами о своей захватывающей работе до революции. Он вел агитацию за освобождение политических заключенных и являлся членом Союза освобождения; в 1905 году был арестован за агитационную деятельность. В 1906 году Сталь был изгнан из России, уехал во Францию; в 1913 году был помилован и вернулся. Все это время Сталь был активным членом французской и американской масонских лож и участвовал в создании Российского общества Красного Креста. В 1917 году он отправился по делам в Японию как член Дальневосточного комитета, но после большевистского переворота решил не возвращаться и продолжил путь на восток, пока не добрался до Соединенных Штатов, где и познакомился с Сергеем. В Россию Сталь так и не вернулся.

Несмотря на международные связи, Сталь не смог завоевать прочное положение в Соединенных Штатах, за исключением членства в Великой масонской ложе Нью-Йорка. Поэтому всю свою энергию он направил на развитие певческой карьеры Янакопулос, дважды сопровождал ее в Рио-де-Жанейро, а в 1921 году они переехали в Париж. После переезда в жизни Сталя произошли неожиданные перемены. Сталь создал Les Craquantes, фабрику по производству хрустящего картофеля, в северо-восточном пригороде. Доходы этого предприятия были достаточными, чтобы Вера Янакопулос занималась пением, не заботясь о финансовой стороне дела. Кроме того, в начале 1930-х годов Сталь занялся частной юридической практикой.

Сергея, так же как и Лину, восхищала поразительная жизненная стойкость этого человека. Его советы по самому широкому кругу вопросов, как личных, так и профессиональных, были неоценимы. Сталь был неутомим на выдумки. Сергей вспоминал, как однажды в Париже они отправились «в своего рода ночной клуб, где поют заупокойную мессу, кладут вас в гроб и затем, с помощью зеркал, на вашем теле начинают появляться

пятна, и вот в гробу уже лежит скелет»[57]. Однако в 1924 году между Сергеем и Янакопулос произошла ссора – Вера отказалась от выступления по составленной Сергеем программе концерта. Гордость Прокофьева была задета, и он не мог простить Веру. Впрочем, к тому времени он уже разочаровался в Париже и обдумывал другие варианты. Сергей пришел к выводу, что «город огней» испортился и стал «уже не тот».

Сергей восхищался хитроумием Сталя, однако не мог понять, как ему удалось обольстить Янакопулос, которой в 1918 году, когда она приехала в Нью-Йорк, было всего двадцать пять. Сталь был на 21 год старше и вдобавок женат. Сталь ушел от супруги, чтобы быть с Верой. Янакопулос родилась в Бразилии, но росла и училась в Париже. Начинала карьеру как альтистка, потом стала певицей. Французским Вера владела намного лучше португальского, при первой встрече Сергей даже принял ее за парижанку. В 1919 году он привлек Веру и Сталя к работе над французским вариантом либретто оперы «Любовь к трем апельсинам». Сталь взялся за работу, потому что у него было свободное время и он нуждался в деньгах, а Янакопулос была в долгу у Сергея. На первом концерте в Нью-Йорке, состоявшемся 14 декабря 1918 года, она исполнила три песни, написанные Прокофьевым. И на концерте в Эолиан-Холл сразу после Рождества, 29 декабря, она исполнила романс Римского-Корсакова в оркестровке Прокофьева. Сергей восхищался ее бьющей через край энергией, даже если, как не уставали твердить критики, она просто маскировала слабую исполнительскую технику.

Янакопулос исполнила романс Римского-Корсакова «Роза и соловей» в сопровождении разношерстного оркестра, состоявшего из безработных русских музыкантов, под управлением Модеста Альтшулера[58]. Так, по крайней мере, описала оркестр Лина, впервые услышав его на концерте в Карнеги-Холл 10 декабря – это было первое выступление Сергея в Нью-Йорке с оркестром, в которое был включен Первый концерт для фортепиано[59].

Лина, сидевшая рядом с матерью и Верой Данчаковой, испытывала волнение и благоговение, слушая концерт. В программе также была Вторая симфония Рахманинова и Скерцо для четырех фаготов Прокофьева, но они не произвели на Лину никакого впечатления. Она была под сильным впечатлением от флегматичной манеры поведения композитора, сочетавшейся со стремительной исполнительской техникой и странной манерой принимать овации. «Он был поразительно тонкий и худой, можно было подумать, что он сломается пополам, кланяясь публике; его движения были резкими, почти автоматическими», – вспоминала

Лина. На Данчакову и Ольгу Прокофьев не произвел такого сильного впечатления, как на Лину. Они вежливо похлопали и стали подшучивать над Линой, говоря, что ей не столько понравилась музыка, сколько сам музыкант – правда, он не настолько хорош, чтобы внушить любовь с первого взгляда, особенно с задних рядов. Лина с возмущением отрицала романтический интерес. «Разве вы не понимаете? Это замечательно… какой ритм, какая красивая тема»[60]. Поддразнивания продолжались по пути домой, и в результате Лина поссорилась с матерью.

А Сергей после концерта решил расслабиться и пошел с несколькими друзьями пить пиво и есть сыр в ресторане поблизости.

Сергей и Лина впервые встретились два месяца спустя, 17 февраля 1919 года, после сольного концерта в Эолиан-Холл; на этот раз публика оказалась гораздо более благодарной и готовой к восприятию новой музыки. Лину пригласил Сталь, но она ничего не сказала матери, чтобы избежать поддразниваний. Однако тем самым Лина нарушила неписаное семейное правило – родители должны знать, куда она идет. Лина с таким восторгом отзывалась о музыке Сергея, что Сталь обещал познакомить их – ему это ничего не стоило, поскольку в это время они с Верой Янакопулос занимались переводом либретто оперы Прокофьева. После концерта супруги Сталь позвали Лину в артистическое фойе, чтобы познакомить с композитором. Сначала она для вида отказалась, но затем пошла за ними. Войдя в фойе, она увидела Сталя и Веру, беседующих с Сергеем. Он встретился с ней взглядом и улыбнулся. Сталь торжественно представил их друг другу, и тут Лина с ужасом поняла, что не может сказать ни слова, и дело было вовсе не в посредственном владении русским языком. Высокого, худощавого композитора в тот вечер окружали очаровательные дамы, а одна прямо-таки висла у него на руке. А когда поклонники разошлись, Сергей раскланялся и вместе с приятелем, Борисом Самойленко, отправился в ресторан. Позже он играл в бридж. В дневниковой записи за этот день Прокофьев ничего о Лине не написал.

Она осталась незамеченной среди многочисленных почитательниц таланта. Некоторые старались держаться в рамках приличий, но, как не уставали предупреждать Сергея представительницы старшего поколения, неосторожная связь с любой из них может сломать ему жизнь. Лина была воспитана матерью в строгих правилах и не собиралась их нарушать. Сергей флиртовал с Гертрудой Либман, красивой и порядочной

девушкой, пока с характерной для американок прямотой она не объяснилась ему в любви. Испугавшись, он отступил, хотя встреч с Гертрудой было не избежать – Прокофьев наносил визиты ее родителям, известным нью-йоркским меценатам.

Дерзкая 21-летняя девушка, державшая Сергея под руку после концерта 17 февраля, представляла бóльшую угрозу, чем Либман. Дагмара Годовская, темноволосая, черноглазая дочь польского пианиста и композитора Леопольда Годовского, была совершенно лишена застенчивости, поскольку в квартире отца на Риверсайд-Драйв не переводились гости[61].

Дагмара только начинала сниматься в немом кино. Роковая женщина и на экране, и в жизни, впоследствии она стала известна благодаря громким романам с известными людьми, в том числе с Рудольфом Валентино, Чарли Чаплином и Игорем Стравинским. Сергей, как и другие знаменитости, уступил ее сексуальным домогательствам; в дневнике он назвал ее «чертовкой» и в шутливой форме выразил сочувствие ее отцу, у которого не было никаких шансов удерживать ее под контролем[62]. Отношения прекратились, едва начавшись. «Я жила только для собственного удовольствия, – написала Дагмара в своей автобиографии, оплакивая блестящее прошлое, – и сама испортила свою жизнь»[63].

Гертруда спасла Сергея от беззастенчивой Дагмары и журналистов светской хроники, познакомив с еще одной поклонницей, 18-летней Стеллой Адлер. Сергей позволил Гертруде привести к нему домой Стеллу только после клятвенных заверений, что девушка хороша собой. Прокофьев был сражен красотой Стеллы. Она, как и Дагмара, была актрисой, но играла в основном в театре и не пользовалась такой популярностью, как Годовская. Зато впоследствии она завоевала известность не только в Соединенных Штатах, но и в Европе, затмив Дагмару. Дочь двух актеров еврейского театра, Стелла уже в четырехлетнем возрасте вышла на сцену. Кроме того, играла в Гранд-театре в Нижнем Ист-Сайде, школу же посещала только тогда, когда позволял рабочий график. Позже, в середине 1920-х, изучала теорию Константина Станиславского, одного из основателей Московского Художественного театра, сначала в Нью-Йорке, затем в Париже, где брала уроки у самого Станиславского. Основываясь на его теории, она разработала методику, получившую название «метод действия»[64]. Заявив о себе как об актрисе театра и кино и получив опыт преподавания в Школе социальных исследований в Нью-Йорке, Адлер открыла в 1949 году театральную студию. Среди ее учеников были Марлон Брандо и Роберт Де Ниро. «Ваше воображение – вот ваш главный

талант, остальное – ерунда», – учила их Адлер[65].

Сергей сразу нашел ее очаровательной и описывал словами, которые вызывали в памяти картины импрессионистов. Она тоже влюбилась в него, однако давали о себе знать различия в характерах, а вскоре их разлучили обстоятельства. В конце 1919 года они уже разошлись – отношения, не начавшись, закончились. Оставив Сергея в подавленном, угнетенном состоянии, Стелла вместе с родителями отплыла в Лондон. Переживания сказались на работе Сергея. Вспоминая о Стелле, он встречался с их общими друзьями и на протяжении нескольких лет оплакивал разрыв – даже когда ухаживал за Линой. Ничто не могло заставить его забыть Стеллу, несмотря на то что шансов на воссоединение со временем становилось все меньше. К 1921 году его общение со Стеллой ограничивалось сардоническими записками. «В последнее время я редко думаю о тебе. Ты спрашивал обо мне. Теперь ты отвечаешь за последствия – в ответ эта глупая записка», – пишет ему Стелла. Она плохо владела словом, поскольку ушла из школы в шестнадцать лет[66]. Сергей отвечает: «Я приехал в Нью-Йорк неделю назад и очень расстроился, найдя твое письмо вместо тебя. Как это похоже на тебя: когда я в Нью-Йорке, ты спешишь в Лондон; когда я еду в Европу, ты возвращаешься в Нью-Йорк; когда я в Калифорнии, ты здесь; когда я возвращаюсь, ты едешь в Сан-Франциско; когда я обожаю тебя, ты безразлична». «Как бы то ни было, – признается он, – я скучаю по тебе»[67].

У каждого из них, хотя об этом не говорилось, были отношения на стороне. Лина постепенно занимала центральное место в личной жизни Сергея, да и в его профессиональной карьере. Для Сергея две эти стороны жизни были неразделимы.

* * *

Лину и Сергея свел Сталь. Он приглашал Лину на Стейтен-Айленд каждые выходные в конце 1919 года, сетуя, что Сергею не хватает друзей-ровесников. Их объединила музыка. Лина делала успехи в пении, и Сталь намеревался уговорить ее спеть – впрочем, Янакопулос и Сергей только высмеяли бы девушку. Мать Лины была против того, чтобы дочь встречалась с Прокофьевым, подозревая молодого человека в неблаговидных намерениях. Сталь с Янакопулос жили на Prince’s Bay на южном берегу острова, рядом с Great Kills. В то время южный берег славился чистыми пляжами, превосходной развлекательной программой и знаменитыми пресноводными каналами, давшими название

району – «килл» в переводе с голландского означает «канал».

Сергей, Лина и еще несколько гостей Сталя решили покататься на лодках в парке Wolfes Pond (Волчий пруд). Сергей врезался на своей лодке в лодку Лины, и та едва не перевернулась. Сергею были свойственны мальчишеские, инфантильные способы ухаживания. Похожую выходку он проделал на железнодорожной станции. При виде приближающего поезда подтолкнул Лину к краю платформы, тут же оттащил обратно и сказал: «Видишь, я спас твою жизнь!»[68]

«Новая поклонница»[69], как Сергей самоуверенно назвал Лину, показалась ему слишком заурядной, но Сталь заверил друга, что тот ошибается, и в подтверждение своих слов попросил Лину спеть одну из арий, которые она разучивала со своей матерью. Лина исполнила романс Антона Рубинштейна «Ночь». Как только она закончила первую строфу, не успев произвести впечатление на слушателей своим верхним до, Сергей прервал ее, заявив, что она испортила романс. Он предложил свой вариант исполнения и под собственный аккомпанемент запел тонким голосом, но не смог убедить Лину, что прав он, а не она. Ни один из них не признал правоты другого и не желал признаваться, что оба варианта имеют право на жизнь. Момент был безнадежно испорчен. Лина сочла Сергея грубым и сказала ему об этом. Он согласился, заявив, что не считает дерзость отрицательной чертой характера.

Сталь опять пригласил их к себе, но Лина отказалась. Она восхищалась Сергеем издалека, но он не нравился ей, когда был рядом. Но со временем она все-таки передумала, а Сергей стал вести себя лучше. Во время последующих визитов к Сталю был безупречно вежлив и, гуляя с Линой по лесу, развлекал разговорами на русском. Лина внимательно слушала его рассказы об учебе в Петербурге, о долгой и опасной поездке из России через Японию и Гавайи в Калифорнию. Он с отчаянием в голосе говорил о матери, выражая надежду, что ей удастся выехать из России или хотя бы покинуть зоны боевых действий между красными и белыми. Леденящие кровь подробности испытаний, выпавших на долю Марии Прокофьевой, Лина узнала гораздо позже.

В тот ноябрьский день Сергей и Лина вместе убирали сад, располагавшийся за большим домом Сталя: опавшие листья сгребали в кучу, а потом разожгли костер. У кого-то была камера. На одной из фотографий запечатлен композитор в темной одежде. Разыгрывая сцену из вагнеровской «Валькирии», Сергей застыл на фоне дымящегося костра, опустив левую руку на голову Лины. Грабли в правой руке заменяли копье, а смеющаяся Лина

исполняла роль спасенной воительницы. Но даже без фотографии Лина помнила этот ноябрьский день, и сцена во всех подробностях вставала перед ее мысленным взором. В романтических письмах Лина спрашивала Сергея на ломаном русском: «Видишь ли ты иногда этот cinema (фильм)?»[70]

Вернувшись на Манхэттен, Лина подробно рассказала матери о том, как провела день. Ольга, всегда с подозрением относившаяся к ухажерам дочери, решила, что у нее нет иного выхода, кроме как самой оценить Сергея, и пригласила его на обед. Сергей вел себя безупречно; он делал комплименты Ольге, с удовольствием слушал ее рассказы о России и делился своими историями. Он окончательно покорил ее, когда поделился тревогами о судьбе матери. Приглашения на обед следовали одно за другим, и Лина заставляла Сергея принимать их, чтобы соблюсти приличия. Отец Лины высказал свое мнение намного позже, после того как услышал музыку Прокофьева. «Девочка моя, – сказал Хуан дочери в конце жизни, – понимаешь ли ты, что вышла замуж за гения?» Однако перед свадьбой он попросил ее напомнить человеку, который просит ее руки, что она «воспитана, как и подобает молодой девушке»[71].

Ольга позволила дочери встречаться с Сергеем, но только у них дома и в ее присутствии. Лина нарушала запрет матери; иногда они с Сергеем ходили на прогулки, в ресторан или в театр. Когда у Сергея было свободное время, а Лина не могла с ним встретиться, он играл в бридж или в шахматы в Манхэттенском шахматном клубе на пересечении Бродвея и 71-й улицы. Кроме того, оба любили ходить в кино, предпочитая картины о любви, в которых непременно присутствовал конфликт между высшими и низшими классами. Перед сеансом показывали один или два комедийных скетча и выступал оркестр, в программе которого были классические произведения, такие как «Венгерская фантазия» и увертюра к опере «Вильгельм Телль». Лина не опасалась появляться с Сергеем в публичных местах, но в его гостиничные апартаменты идти боялась. Отель Calumet находился на Западной 57-й улице между 8-й и 9-й авеню – не самый престижный адрес. Район пользовался популярностью у художников, несмотря на то, что это место облюбовали куртизанки – а может, как раз по данной причине. Лина часто посмеивалась над обшарпанной обстановкой номера, но плата за него составляла всего 15 долларов в неделю вместе с сервисом – дешевле в Нью-Йорке было не найти. Комнаты были достаточно светлыми; в одной из них стояло взятое напрокат пианино.

Лина боялась приходить к Сергею одна. Он был не из тех, кто довольствовался романтическими встречами; у него не хватало

терпения на обычные ухаживания. Сначала Лина приходила только тогда, когда у него были гости. Когда он, наконец, уговорил ее прийти одну, Лина купила вуаль, чтобы закрыть лицо. Но единственное, чего она добилась, – позабавила продавца. Как только дверь закрылась, и они с Сергеем остались одни, Лина разволновалась, стала отбиваться и говорить о девичьей чести. «Ты понимаешь, что делаешь?» – «Все так делают… ну, большинство». – «Но молодые девушки не должны этого делать» – «Они только говорят, что не должны»[72]. Переговоры прервались, когда Лина обнаружила, что прижата к столу, – к тому моменту ей уже не хотелось спорить.

Однако мать воспитала Лину в строгих правилах, о чем она не стеснялась лишний раз напомнить. Однажды вечером, выйдя после сеанса из кино, Сергей довел Лину только до входа в метро на Таймс-сквер, поскольку хотел поскорее вернуться в отель Calumet, чтобы закончить какую-то работу. Лина, вместо того чтобы попрощаться и сесть в поезд, взбежала вверх по лестнице, догнала Сергея и устроила ему настоящую взбучку за то, что обращается с ней, будто с уличной девкой: «Ты знаешь, сколько сейчас времени? Маме станет плохо, если она узнает, что ты не проводил меня! У меня не хватает воображения, чтобы представить, с какими женщинами ты общался!»[73] Пристыженный Сергей попросил прощения и, вызвав такси, довез Лину до дома.

В первые недели ухаживания Лина испытывала двойственные чувства. Оставаясь с Сергеем наедине, она ощущала неловкость, но приходила к нему все чаще и чаще. Из-за этого приходилось врать матери. Сергей же пытался сдерживать низменные инстинкты и осваивал искусство романтических ухаживаний. В его дневнике есть запись о первом мимолетном поцелуе (2 ноября) и нескольких часах, проведенных наедине в доме у Сталя (9 ноября). Сергея грела мысль, что эта восхитительная женщина именно та, которую он долго искал. Но когда подавляемые мысли брали верх, Сергей рассматривал Лину всего лишь как очередное завоевание и отслеживал, словно сторонний наблюдатель, как постепенно слабеет ее сопротивление.

Он продолжал поддразнивать ее. Когда Лина отказалась провести с ним вечер, он язвительно заметил, что найдет ту, которая не откажется от приглашения. На следующий день Лина позвонила и спросила, с кем он провел вечер; Сергей отказался отвечать на этот вопрос. Стараясь наладить отношения, она сказала, что зайдет к нему днем, но позже позвонила и отменила визит, а потом перезвонила еще раз, чтобы извиниться. В начале декабря он уже понял, что Лина его обожает. 9 декабря он

написал в дневнике: «Давно уже никто не любил меня так, как, похоже, любит эта милая девочка»[74]. Наивная, влюбленная Лина терпела безобидные поддразнивания, потворствовала его капризам и готова была поддержать всегда и во всем. Ей хотелось быть больше чем восхитительной спутницей, очаровательной болтушкой; но Лина пока сама не знала, какую роль сможет играть в его будущем. А будущего без Сергея Лина не мыслила, поскольку была влюблена и в художника, и в его искусство. Лине нравилось, как самоотверженно Сергей отдавал себя искусству, презирая будничную рутину, ведь такими же качествами обладали ее родители. Конечно, подобная жизнь нелегка, но Лина и не стремилась к покою.

Сергей был слишком поглощен собой, чтобы считаться с чувствами Лины, но признавал, что она красивая и заразительно смеется. Возможно, она думала, что сможет стать той единственной, которая пробьется сквозь броню из циничной рассудочности и очарует его. А может, Лина понимала, что вся его любовь отдана искусству, но в таком случае она готова была стать музой гения.

Их отношения окрепли, когда он закончил работу над оперой «Любовь к трем апельсинам». Они вместе провели Рождество, любовались Нью-Йорком со смотровой площадки Вулворт-Билдинг[75]. Лина была в нарядном сером пальто, подаренном родителями, Сергей оделся просто и буднично. Подарками они, похоже, не обменивались. На следующий день Сергей, которому требовалось уладить кое-какие дела в Чикаго, отправился туда на поезде. Лина придумала какую-то невнятную отговорку и не пошла на работу, чтобы перед отъездом позавтракать с ним в отеле «Пенсильвания». Сергей уехал на Broadway Limited (поезде, курсировавшем между Нью-Йорком и Чикаго), убежденный в привлекательности и преданности Лины, но озабоченный предстоящими переговорами с руководством Чикагской оперы. Переговоры тянулись до весны 1921 года, и, наконец, в конце 1921 года состоялась премьера оперы «Любовь к трем апельсинам».

Сергей жаловался на неприятности Лине и играл для нее отрывки из произведения. Сергей объяснял, что его опера комическая, и задача ее – сатирически высмеивать жанровые клише и ожидания публики. Сюжет оперы связан со страдающим ипохондрией Принцем, болезнь которого вызвана пристрастием к трагедиям Расина. Излечить принца может только смех. Излечиться ему, сама того не желая, помогает незадачливая ведьма Фата Моргана, проклявшая принца «любовью к трем апельсинам». В каждом из апельсинов спрятана прекрасная

принцесса, одной из которых предстоит стать невестой Принца, хотя и не без козней со стороны Фата Морганы.

В своих воспоминаниях Лина не высказывает мнения об опере, только отмечает, что после знакомства с ней Сергей переименовал одного из персонажей. Принцесса Николетта стала Линеттой. По мнению Лины, это был красивый жест, но Ольга не поверила в его искренность. «Он сделал это только для того, чтобы произвести впечатление. Подожди, пусть сначала опубликуют, а тогда посмотрим, что он имел в виду», – заметила она[76].

Принцесса так и осталась Линеттой, а вот его намерения оставались неопределенными. В середине февраля Сергей и Лина договорились вместе провести лето в Париже: Сергей будет писать музыку для Ballets Russes (Русский балет Дягилева), а Лина будет брать уроки пения. Но тут из Лондона в Нью-Йорк вернулась Стелла Адлер, и на Сергея словно нашло затмение. Дремлющая страсть пробудилась вновь. Стелла только усугубляла положение, уговаривая Сергея давать ей уроки игры на фортепиано, что крайне раздражало Лину. Кроме того, появилась Дагмара Годовская, правда, на экране – вышел фильм с ее участием The Peddler of Lies, где Дагмара по сути сыграла себя.

Сергей посмотрел фильм 27 февраля, сразу после концерта в Нью-Йоркской филармонии – исполнялся Фортепианный концерт Листа, солистом был Прокофьев. Лина пошла с ним на концерт. Они сидели в ложе, предоставленной родителями Гертруды, покровителями искусств Генри и Зельдой Либман. Мать Лины опять выразила недовольство, и снова Лина не послушалась ее. Она приняла приглашение, а после концерта пришла вместе с Сергеем в артистическое фойе, чтобы поздравить Рахманинова. Несмотря на безукоризненное исполнение – даже Сергей признал это, – Рахманинов выглядел огорченным. Когда ему представили Лину, он заверил ее, что помнит их первую встречу много лет назад. Он кивком выразил одобрение Сергею – редкому музыканту случалось удостоиться его похвалы. С пианистом были его жена и дочери. Младшая дочь Рахманинова что-то шепнула отцу, и он задал Лине вопрос, которого так боялась ее мать: «Скажите, вы поженились?»[77] Лина покраснела, а Сергей промолчал.

Сергей всегда отодвигал личные дела на второй план, отдавая предпочтение творчеству. Стремясь избежать необходимости выбирать между Стеллой и Линой, Сергей с головой ушел в работу. Он пил чашку за чашкой горячий шоколад и мучился головными болями от непомерного напряжения. Он записывал мелодии, приходившие к нему во сне и рождавшиеся в

воображении. Ноты выплескивались на страницы из рояля, из которого, как утверждали разгневанные соседи, он извергал адский шум. Иногда музыка рождалась слишком быстро, особенно как в случае с оперой «Любовь к трем апельсинам». Он представлял ее заранее и сам не мог понять, откуда льются звуки. Музыка жила собственной жизнью.

Весной 1920 года Сергей продолжал работать на износ. Он задумал новую оперу «Огненный ангел», толком не отдохнув после работы над оперой «Любовь к трем апельсинам». Кроме того, он принял предложение дать несколько концертов и, в соответствии с договором с Aeolian Company, записал несколько фортепианных пьес. Он реже виделся с Линой, продолжая бессмысленные отношения со Стеллой; разрываясь между двумя женщинами, он скорее терял терпение, чем испытывал угрызения совести. В дневниковой записи от 13 марта чувствуется, как он устал от этих отношений: «Я кручусь между Стеллой и Линеттой, как Земля между Луной и Солнцем»[78].

В апреле он поставил себя в сложное положение: отправил розы обеим женщинам, а курьер перепутал адреса, и Лина получила розы, предназначавшиеся Стелле, а Стелла, соответственно, розы, которые должна была получить Лина. Он не особенно старался уладить этот вопрос, надеясь, что все решится само собой, а может, что одна из них разочаруется в нем. Не произошло ни того ни другого, и наконец он решил взять под контроль свои чувства к Стелле. Оценив странные отношения с актрисой, Сергей пришел к выводу, что шансов на успех у него не больше, чем у героя новой оперы, глупого рыцаря, который ищет счастья с героиней, девушкой, одержимой дьяволом.

Вот почему приглашение на обед в Богемском клубе получила Лина. Как правило, в клубе устраивались приемы без женщин, но в августе было сделано исключение: на обед в честь пианиста Гарольда Бауэра[79] членам клуба разрешили пригласить женщин. По мнению Лины, Сергею следовало пригласить ее вместе с матерью, но он допустил ошибку, объяснив, что на вечере в отеле Biltmore члены клуба будут с невестами, женами или сестрами. Ольга, чьи уши резануло слово «невеста», отказалась отпустить дочь на том основании, что у нее нет подходящего наряда.

Сергей умолял Ольгу изменить решение – «Ольга Владиславовна, вы что, не доверяете мне?» – и поклялся привести Лину домой к половине двенадцатого[80]. Но как только за ним закрылась дверь, Ольга изменила решение. «Ты действительно не понимаешь, что тебе нельзя идти с ним на прием?» – набросилась она на дочь. «Мама, мне нужно вечернее платье, и, в конце

концов, мы будем там не одни. Там будет много музыкантов», – умоляюще сказала Лина. «Да, но люди решат, что ты его любовница»[81].

Лина настаивала на необходимости приобретения нового платья, рассудив, что даже «легкомысленные» девушки должны выглядеть хорошо – вслух она этого, разумеется, не сказала. Мать и дочь вместе выбрали розово-серебристое платье из ламе[82]. На обеде Лина чувствовала себя неуверенно, поскольку их с Сергеем посадили рядом с почетным гостем, Гарольдом Бауэром, и президентом клуба, Францем Кнайзелем[83]. За обедом обсуждалась музыка Сергея и других знаменитостей, почитаемых богемцами: Малера, Тосканини, Ферруччо Бузони, Пабло Казальса. Пианист Артур Рубинштейн, гастролировавший в то время в Соединенных Штатах, наклонившись к Сергею, шепнул: «Где ты нашел такую красотку?»[84] Лина, вспомнив предупреждение матери, покраснела.

Спустя шестьдесят лет Рубинштейн напомнит Лине о своем промахе и ее реакции на его слова. «Я, вероятно, один из оставшихся в живых людей, кто познакомился с вами еще до вашего замужества»[85].

В тот момент о супружестве не могло быть и речи. Даже летняя поездка в Европу оказалась под вопросом. Их последнее свидание прошло в городе Оранж, штат Нью-Джерси (подходящее место, учитывая название оперы), и 27 апреля 1920 года Сергей отправился в Париж. Он оставил Лине 150 долларов и дюжину роз, назвав это, в шутку, авансом за перевод на английский язык либретто «Любовь к трем апельсинам». Он больше надеялся на постановку оперы в лондонском Ковент-Гарден, чем в Чикагской опере.

В мае Лина писала Сергею письма, в которых не сдерживала бурных чувств, но ничего не сообщала о приезде во Францию. Она выражала готовность приехать, но в то же время жаловалась на проблемы с приобретением билета. Сергей истолковал это как признак неуверенности или, что еще хуже, охлаждения, хотя Лина выражала надежду на то, что их любовь не угаснет. Все получится, было бы желание, сердито отвечал Сергей, и вдруг появился билет на лайнер Touraine на 10 июня, который спустя десять дней прибыл в Гавр.

Ольга не могла сдержать слез при одной мысли о расставании с дочерью и отпустила Лину в Париж, только удостоверившись, что ее встретят близкие друзья семьи. Зельда и Генри Либман проводили лето в Европе, живя то во Флоренции, то в Париже. Они согласились встретить Лину в Гавре. Затем в

начале осени за ней должны были приглядеть Карита Спенсер и Гасси Хиллайер Гарвин. 38-летняя Спенсер была коллегой Чарльза Джонстона. Эта женщина безумно любила театр, была видным специалистом по санскриту и другом В. Б. Йитса. Спенсер принимала участие в Первой мировой войне, и Лина вбила себе в голову, что она была пилотом, одной из первых женщин, севших за штурвал самолета. На самом деле она занималась более прозаическим делом, но тоже сопряженным с риском. Будучи председателем комитета Национальной гражданской федерации, она много ездила по Европе; о своих впечатлениях и переживаниях рассказала в книге под названием War Scenes I Shall Never Forget («Случаи на войне, которые я никогда не забуду»). Позже она была председателем комитета Food for France Fund, а секретарем была очень богатая 43-летняя Гасси Гарвин. Лина до такой степени восхищалась мисс Спенсер и миссис Гарвин, что ее мать даже стала ревновать ее к ним. Они были милыми и добрыми, и Ольга рассудила, что лучших опекунш не найти.

Однако в начале июня, когда вопрос, казалось, был решен, Ольга прибегла к эмоциональному шантажу: как только Лина собралась пойти за билетом, Ольга заболела какой-то таинственной болезнью. Сделали рентген, но он ничего не показал. Сергей предвидел нечто подобное. Это лишний раз убедило его в том, что Лине необходимо убежать от властной матери хотя бы на несколько месяцев.

Лина все-таки отправилась во Францию, одна; во время плавания она познакомилась со многими людьми, и капитан приглашал ее на обед. Либманы, как договаривались, встретили ее, отвезли в особняк Хаусмана на Rue du Bassano, в котором они жили в Париже. Они знакомили ее с достопримечательностями и всячески баловали, а в это время Сергей, волнуясь, ждал от нее известий. Лина была свободна – она больше не должна была сообщать матери, куда идет, и слушать бесконечные разговоры о своем падении и о том, что она, незамужняя девушка, связалась с непостоянным музыкантом. Но Лина не подозревала, что, уехав от собственной матери, возьмет на себя заботу о чужой. В отличие от Ольги, надуманная болезнь которой объяснялась беспокойством за дочь, Мария Прокофьева действительно нуждалась в медицинском лечении и уходе.

Марии, истощенной, с желтоватого цвета кожей, почти ослепшей от катаракты, удалось сбежать из России; ее имущество уместилось в два чемодана и сумку, в которой лежали документы, удостоверяющие личность, и несколько рукописей сына. Из

Новороссийска, крупнейшего порта на Черном море, она отплыла в Константинополь вместе с побежденными солдатами белой армии. Затем попала в лагерь беженцев на Принцевых островах, где вместе с остальными ела жидкий суп из ведра и не знала, как избавиться от детей, у которых не было лучшего занятия, чем мучить испуганную старую женщину.

Тем временем Сергей бегал по бюрократическим инстанциям, сначала бельгийским, затем французским, собирая необходимые документы для переезда матери. Большую помощь оказали Сталь и другие знакомые в Париже, включая Игоря Стравинского. Получив визу и билет, Мария провела восемнадцать мучительных дней на переполненном пароходе – столько длилось путешествие из Константинополя в Марсель. Она прибыла, как и ожидал ее сын, 20 июня. Перед сходом на берег пассажиры прошли медицинский осмотр. Сгорбленная, растерянная Мария Прокофьева стояла к Сергею спиной, к тому же на ней были солнцезащитные очки, и в первый момент Сергей не узнал мать. Они встретились после двухлетней разлуки и остаток дня провели в Марселе, обмениваясь рассказами о России и Америке. На следующий день они приехали в Париж, где Сергея ждала телеграмма от Лины.

Знакомство Лины с Марией Прокофьевой состоялось в Мант-сюр-Сен, где Сергей арендовал летний домик. Не желая сразу вдаваться в подробности их отношений, Сергей сказал матери, что Лина – одна из его американских подруг, которая приехала в Париж, чтобы взять несколько уроков пения, и, за скромный гонорар, занимается переводом на английский язык его оперы для дирижера Альберта Коутса. Сергею не удалось провести мать, которая сразу поняла, в каких они находятся отношениях, однако предпочла закрыть глаза на нарушение приличий, поскольку нашла Лину приятной и более внимательной к ней, чем ее рассеянный сын. Лина глубоко сочувствовала Марии. После пережитых страданий она выглядела значительно старше своих 65 лет, хотя всегда говорила, что ей 45. Кроме того, Лина надеялась, что мать Сергея поможет ей подобрать ключ к его сердцу. В течение лета, проведенного в Манте, и осенью в Париже Лина демонстрировала преданность Сергею, выполняя поручения Марии, занимаясь с ней английским языком, ухаживая за ней после проведенной в октябре операции по удалению катаракты.

Когда осенью они вернулись в Париж, Сергей каким-то чудом сумел договориться о приемлемой цене за номер для троих в Hotel du Quai Voltaire («Отель на набережной Вольтера»). Сергей больше не мог скрывать правду о своих отношениях с Линой, а мать больше не могла делать вид, что не понимает, в чем дело, –

даже если бы Лина настояла на том, что будет жить на другом этаже.

16 октября Сергей, поцеловав на прощание Лину и Марию, отправился в Соединенные Штаты. Он дал серию концертов в Чикаго и был полон решимости увидеть премьеру оперы «Любовь к трем апельсинам» на сцене Чикагской оперы (ему пришлось бы ждать больше года – премьера состоялась 30 декабря 1921 года). Лина, продолжая заботиться о Марии, брала уроки пения у Фелии Литвин, знаменитой певицы-сопрано, родом из Петербурга. Лина нашла учителя благодаря Сергею, который взял с Литвин слово, что она поставит Лине голос, хотя Литвин сомневалась, что ей это удастся, и быстро утратила интерес к занятиям с Линой[86]. Между тем три дамы – миссис Либман, мисс Спенсер и миссис Гарвин – продолжали присматривать за Линой.

Лина могла общаться с Сергеем только посредством писем, и она писала намного чаще и намного подробнее, чем он. Сергей рассказывал о своей поездке из Нью-Йорка в Чикаго и на Западное побережье, а она о поездке из Парижа в Милан. Лина называла Сергея ласковым прозвищем «буська». Письма ее представляли причудливую смесь из английского, французского и русского языков. Его ответы были короткими, зачастую он оставлял без внимания ее вопросы, и, поскольку отделывался общими фразами, у нее создавалось впечатление, что она одна из многих, с кем он ведет переписку. Но Лина упорно продолжала писать письма и старалась не замечать его невнимания, поскольку их разделяли «глубокие, соленые мили»[87]. Она выговаривала Сергею, когда он долго не писал, но мелкие ссоры быстро забывались, уступая место словам любви.

Между ними, однако, было различие, которое, как оба понимали, могло пагубно сказаться как на личной жизни, так и на карьере. Лина была похожа на родителей – эксцентричная, импульсивная, рассеянная. Сергей же был сосредоточен на своем творчестве и одержим им. Лина полагала, что, несмотря на несходство характеров, она сможет создать счастливую семью, одновременно став для Сергея незаменимой и сделав себе имя. Однако какой бы она ни стала певицей, это не шло ни в какое сравнение с композиторским и исполнительским талантом Сергея. Но даже если ей не удастся стать известной певицей, рассуждала Лина, то возможность делить с ним его победы позволит ей пережить собственные неудачи. Она будет стараться играть роли на сцене и в его жизни. Первой была роль девушки, терпеливо ждущей любимого.

Глава 3

В то время как Лина усердно занималась пением, Прокофьев пересекал Атлантику, и его мысли перескакивали с отложенной премьеры на сольные концерты, которые он будет давать зимой 1920/21 года в Калифорнии. Соперничества с другими звездными композиторами можно было не опасаться. В 1919 году Калифорнию посетил Рахманинов, сфотографировался под калифорнийским мамонтовым деревом и вернулся домой в Нью-Йорк. Стравинский, соперник Прокофьева в Париже, перебрался в Лос-Анджелес только в начале Второй мировой войны.

Помимо этого Сергей ждал приезда в Нью-Йорк певицы-сопрано Нины Кошиц, близкой подруги, проникновенное пение которой неизменно завораживало его и брало за душу. Они встретились в Петербурге, и, хотя вначале она не произвела на него впечатления, в дальнейшем Сергей, перестав обращать внимание на ее демонстративность и привычку заигрывать со всеми мужчинами вокруг, понял, что Нина выдающаяся певица, достойная международной сцены. Ее кокетство и заигрывания казались достаточно безопасными, по крайней мере до тех пор, пока не открылись ее отношения с соперником Прокофьева, Рахманиновым. Кошиц – незамужняя и беззаботная; у Рахманинова жена и дети. Даже после того, как она вышла замуж за портретиста Александра фон Шуберта, Нина никогда не упускала возможности напомнить Сергею, что по-прежнему предана ему. Ее не остановили даже слухи, распускаемые бывшим работодателем Лины Сомовым, – якобы Сергей и Лина тайно поженились. Слухи о том, что в Париже Прокофьев крутит роман с молодой певицей, только укрепили уверенность Кошиц, что ее любовь к Сергею «до могилы»[88]. Сергей искренне расхохотался, когда Нина в присущей ей экстравагантной манере объявила, что ее экстрасенс предсказал их любовь.

Сергей посвятил Кошиц цикл романсов («Пять стихотворений А. Ахматовой для голоса с фортепиано») и закончил еще один, по ее нетерпеливой просьбе, во время гастролей в Калифорнии. Это был цикл песен без слов, которые Кошиц ждала с нетерпением, будто «влюбленная девушка свидания»[89]. Композитор надеялся, что голос Кошиц доносит до американских зрителей прозрачную, лирическую линию его творчества. Ему хотелось показать, что он не большевистский варвар, каким его представляли критики.

Когда в конце 1921 года, наконец, должна была состояться премьера оперы «Любовь к трем апельсинам», Кошиц потребовала главную партию. Сергей убедил Мэри Гарден, директора

Чикагской оперы, что Кошиц обладает драматическим сопрано, которое требуется для исполнения партии Фата Морганы. Она блестяще справилась с партией, но постоянно досаждала Сергею, требуя, чтобы он купил ей в Париже грим определенного тона – ну и, конечно, ее любимые духи (La Rose Jacqueminot)[90] и пудру (Rachel Clair). Много позже Кошиц участвовала в концертном исполнении фрагментов оперы «Огненный ангел». Она была талантливее Веры Янакопулос и полностью затмила Лину. Хотя Лина питала надежды на певческую карьеру, думая, что ей удастся добиться по крайней мере такого же успеха, как у матери, но даже не помышляла о том, что может конкурировать с Кошиц – во всяком случае, на сцене. У ее голоса не было той же силы и глубины.

Однако Лина вынуждена была бороться с Кошиц за внимание Сергея – задача нелегкая, учитывая его самовлюбленность и непостоянство. Лина поддалась обаянию и магнетизму Сергея, и женская мудрость помогала ей поддерживать к себе интерес, несмотря на множество самых разных женщин в его жизни. Лина никогда не жаловалась, хотя безразличие Сергея к ее нуждам было и будет самым оскорбительным для ее гордости.

26 октября 1920 года, перед началом турне по Калифорнии, Сергей любовался Кошиц, которая спускалась по трапу с палубы океанского лайнера Pannonia, пришвартовавшегося в порту Нью-Йорка. Она шла в своих драгоценностях и мехах среди большой, шумной толпы одетых в лохмотья греков, итальянцев, испанцев, сопровождаемая двумя обомлевшими от восхищения членами команды. Своим эффектным появлением Кошиц хотела отвлечь внимание от того факта, что путешествовала вторым классом. На пристани Кошиц обняла Сергея, окутав ароматом духов и шумно благодаря за то, что спас ее и ее семью от опасностей, угрожавших им в России, хотя на самом деле он просто объяснил ей, как лучше всего добраться из России в Америку. Они взяли такси до модного отеля Brevoort, расположенного в Гринвич-Виллидж, где Сергей заказал номер для нее, ее восьмилетней дочери Марины и мужа, к которому Нина не испытывала никаких чувств. Сергей, измученный морской болезнью и неприятностями, связанными с потерей чемодана, только накануне приехал из Европы. Он тоже остановился в Brevoort, но в более скромном номере. В дневнике он отметил, что когда-то останавливался в этом отеле со Стеллой Адлер.

Сергей пробыл в Нью-Йорке всего несколько дней, затем отправился в Чикаго, а оттуда в Окленд, где, что называется, с корабля на бал, давал первый концерт в Калифорнии. Заполнить

огромные залы не удавалось, но в целом Сергея встречали хорошо, и гастрольный тур был продлен. Обиженная Кошиц осталась в Нью-Йорке на попечении агента Сергея, Фицхью Хензеля, который, по мнению Нины, уделял ей недостаточно внимания. В 1921 году ее карьера в Америке резко пошла в гору. Она дважды выступала в Кливленде, один раз в Детройте и семь раз в Нью-Йорке – ее выступление в Таун-Холл с церковным хором получило положительные отзывы в прессе. Кроме того, ей поступали приглашения от самых знаменитых семей Нью-Йорка, Астор и Вандербильт, с просьбой выступить на частных вечеринках в их особняках.

Уехав из Нью-Йорка, Сергей постарался выбросить ее из головы. Он регулярно получал от нее письма на десятках страниц, в которых она сумбурно, но очень подробно описывала свои ссоры с Хензелем, сложные отношения с Рахманиновым, график репетиций и новых американских друзей. Она жаловалась на безденежье, даже когда поселилась в меблированной квартире на Риверсайд-Драйв, 610 (на углу 138-й улицы) за 200 долларов в месяц; Сергею только и оставалось, что гадать, когда она лжет, а когда говорит правду. Однако от рассказов Кошиц о жизни в Нью-Йорке оторваться было трудно – они были не менее увлекательны, чем предсказания будущего, услышанные от ясновидящих. «Духи сказали мне, что через два месяца я буду петь в Метрополитен-опера, – сообщила она в декабрьском письме. – В Карнеги будет концерт, через две недели я буду с Рахманиновым, и он даже будет аккомпанировать мне в этом сезоне, через два года я поеду в Париж, а еще через год в Москву, все будет замечательно»[91]. Другие предсказания касались дипломатических отношений между Англией, Россией и Индией.

Сергей читал, посмеиваясь, пока не дошел до места, где она сообщала, что получила от него «Пять песен без слов». Очевидно, это было не совсем то, что она ожидала. «У одной из них (самой длинной) трогательная, удивительная мелодия, но, откровенно говоря, гармонии меня пугают, – призналась она. – Три другие очаровательны, но… больше подходят для Санкт-Петербурга. Я думаю, что смогу спеть только две из них на своем концерте. Я боюсь, что у меня не хватит мастерства для песни в мажоре. Мне пока не удается передать голосом эту песню во всей полноте звучания». Подозревая, что композитору может не понравиться ее ответ, она спешит добавить: «Ради всего святого, не спеши сорвать на мне зло, но песня в мажоре местами ужасна»[92]. Отношение Сергея к Кошиц мгновенно изменилось. Она капризно отказалась от песен, которые он написал в расчете на ее мастерство. Кончилось тем, что 27 марта 1921 года в Ратуше она

исполнила только одну из пяти песен Прокофьева, заменив остальные более простыми вещами Мусоргского и Римского-Корсакова, а также произведениями Скрябина. Лина очень нескоро узнает об этом случае, но как певица извлечет из него выгоду, когда Сергей начнет писать для ее голоса.

Лина знала, что Кошиц в Нью-Йорке и общается с Сергеем. Лина боится за свои отношения с Сергеем, и это проскальзывает в ее письмах; однако она старается не высказываться напрямую, предпочитая ссылаться на других людей. «Довольно странно, – пишет она из Парижа, – но в последнее время я часто слышу о Кошиц». Она упоминает подругу своей матери, которая училась с Кошиц в Московской консерватории и была знакомой Лины в Париже, которая назвала Кошиц «мерзавкой» и «ужасной позеркой»[93].

Источником сплетен была молодая певица-сопрано и актриса Элейн (Эльвира) Амазар, которая тоже училась в Москве и жила в Париже, выступая в кабаре и надеясь сняться в кино (в 1919 году она снялась в двух американских фильмах в роли обольстительной иностранки). Амазар была не в том положении, чтобы обвинять других в позерстве. Помимо кино и пения, она зарабатывала на жизнь как модель. Конечно, общаться с ней было интересно, однако доверять Амазар было нельзя.

Когда Лина узнала от Амазар, что Кошиц еврейка, она не смогла обойти это молчанием, язвительно написав Сергею на смеси русского и английского: «Должна предупредить тебя, что во мне нет ни капли еврейской крови. Это, очевидно, большой минус, но тебе придется взять меня такой, какая я есть, без гениальной крови»[94]. Лина унаследовала антисемитизм от отца, но всегда будет стараться не проявлять его в присутствии Сергея.

В то время как Кошиц добилась успеха в Нью-Йорке, а Сергей в Калифорнии, Лина стремилась создать себе имя в Париже. Она сняла комнату в доме номер 3 на Итальянском бульваре, рядом с Парижской оперой, и, как другие эмигранты, посещала недавно открытые джаз-клубы. Лина была очаровательна, словоохотлива, иногда чрезмерно, и легко сходилась с людьми.

Почти все здания в 9-м округе были снесены; милые сердцу места не пережили 1920-е годы, затихли знакомые звуки. Не стало галерей, в которых находились кафе Certa и Du Petit Grillon – места встреч основателей дадаистского движения; в 8-м округе появился ресторан Le boeuf sur le toit, в котором собирались самые авангардные из авангардистов. В районе, где жила Лина, было много баров и maisons de tolerance (домов терпимости). Но в нем, конечно, не было богемного духа, присущего Монмартру и Монпарнасу, где жили несколько друзей Лины. В своих первых

письмах Сергею из Парижа Лина упоминает о знакомстве с Кики, 19-летней Алисой Прен, известной как Кики с Монпарнаса. Мать, не занимавшаяся воспитанием дочери, хотела отдать Кики в учение булочнику. Но вместо этого девушка стала звездой ночных клубов, знаменитой натурщицей и моделью. Откровенные выступления Кики с начерненными бровями, в чулках с подвязками привлекли внимание дадаиста Мана Рея, и скоро она стала его любовницей. Ольге не понравилось бы, что дочь общается такими женщинами, как Кики и Элейн Амазар, поэтому дружба с ними доставляла Лине особое удовольствие…

Однако ночным посиделкам в кафе пришел конец, как только Лина начала брать уроки пения у Фелии Литвин. Обучение тяжело давалось Лине, она страдала от бессонницы, и стоило закрыть глаза, как ее одолевали кошмары – Лина боялась выступать перед публикой. Чтобы преодолеть страх, Лина стремилась приобрести сценический опыт. За советом она обратилась к подругам и в ноябре 1920 года устроилась в кабаре, в котором работала Амазар. Это было кабаре под названием La Chauve-Souris («Летучая мышь») русского антрепренера Никиты Балиева. Он переехал из Москвы в Париж и предложил для избранных замену канкану, перьям и полуголым женщинам мюзик-холлов Монмартра. Лина, подписав договор с Chauve-Souris, сначала решила, что скомпрометировала себя, но кабаре, открытое Балиевым в московском подвале и переехавшее в Париж, не было похоже на Фоли-Бержер. Это Кики могла опуститься на дно парижского общества, вращаясь в кругах наркоманов и сутенеров, а для благовоспитанной Лины такое поведение было совершенно немыслимо.

В то время работодатель Лины, Никита Балиев, еще не завоевал популярности в Париже; известность к Chauve-Souris придет позже. Он приехал в Париж в 1919 году, до побега проведя пять дней в тюрьме, и в 1920 году открыл свой театр-кабаре, выступления которого проходили на сцене парижского театра «Фемина»; труппа состояла из бывших актеров русских императорских театров. «Фемина», расположенная на Елисейских Полях, служила местом сбора американских солдат во время перемирия. Помещение было немного запущенное, но вполне устраивало Балиева.

Поначалу, чтобы привлечь непостоянную парижскую публику на свои представления, Балиев, ввиду финансовых проблем, зависел исключительно от сарафанного радио. Спектакли, в которых участвовала Лина, начинались в 20:45 – необычное время, но оно устраивало парижских театралов. В Москве Балиев

устраивал свои представления после окончания спектаклей в театрах, чтобы и театралы, и сами артисты могли расслабиться и отдохнуть. Лина участвовала в программе, которая, согласно сообщениям, появлявшимся во французских газетах в 1921 году, состояла примерно из десятка номеров, некоторые из которых длились не больше трех минут; выступления певцов и хора с русскими песнями; балерина, изображавшая заводную куклу, и разные танцевальные номера – ничего провокационного). Декорации были самые скромные – стол и стулья, картинная рама, используемая еще и как окно, черный занавес и осветительные приборы. Одни номера были гротескны, другие – сентиментальны – например, глубокомысленный монолог на тему, каким образом песне прекрасной цыганки удается растопить суровое солдатское сердце. Между номерами на сцену выходил толстенький, круглолицый Балиев и перешучивался с публикой.

Лина взяла сценический псевдоним Верле (Verle) и на репетициях хора, которые проводились дважды в день, появлялась в рыжем парике. Амазар исполняла одну из главных ролей, несмотря на то что, по мнению Лины, была абсолютно немузыкальной. Приме требовалась дублерша, и Балиев предложил Лине выучить роль Амазар. Литвин помогла ей подготовиться, хоть и считала, что Лина надо беречь голос, пока не научится правильно владеть им. Под руководством педагога Лина также выучила «Песенку Фортунио» Жака Оффенбаха. Она исполнила номер – 20-минутная миниатюра – два или три раза, а затем Балиев внес изменения в программу и отправил ее обратно в хор.

Балиев постоянно менял исполнителей местами – в его труппе не было фаворитов, – но Лина оскорбилась и решила, что он ничего не понимает в музыке. Особенно Лина сердилась, когда Балиев утверждал, что в мимическом жанре она может добиться большего успеха, чем в певческом. Опасаясь неодобрения со стороны Сергея, Лина неоднократно говорила ему, что работает в Chauve-Souris исключительно для того, чтобы набраться опыта; она, конечно, зарабатывает в кабаре небольшие деньги, но это лучше, чем получать те же гроши, работая секретаршей или продавщицей. Сергей согласился, что сольные выступления принесут пользу, но заявил, что пение в хоре – бесполезная трата времени. Но Лина убедила себя, что появление на сцене в любом случае поможет ей научиться сохранять хладнокровие[95]. Однако в итоге она все-таки решила, что работа в кабаре не для нее. Лина презрительно называла представления Балиева «ночными шалостями» – так называлось популярное американское шоу из

цикла «Безумства Зигфелда»[96]. Лина считала себя выше этого. Отработав у Балиева месяц, вернула парик и уволилась, сообщив Сергею в письме от 5 января 1921 года, что не может себе простить, что связалась с Балиевым, который открыто презирает певцов. Письмо заканчивалось словами: «Какая гадость и ничего, кроме опустошенности»[97].

Уйдя от Балиева, она лишилась возможности стать частью явления международного масштаба. Спектакли театра-кабаре Балиева, Les Spectacles de la Chauve-Souris, стали такой сенсацией, что вызвали волнение среди театральных трупп, обеспокоенных тем, что отстали от моды. Как только Балиев набрал обороты во Франции, он со своими артистами совершил турне по Испании, Англии и Соединенным Штатам. Критики рассыпались в восторженных похвалах; театрального новатора Балиева сравнивали с крупнейшими комиками современности[98].

Лина вернулась к урокам пения и нашла утешение в похвалах педагога; пребывание у Балиева не причинило вреда ее голосу. Но 60-летняя Литвин становилась все более и более рассеянной и безразличной, и Лина объясняла это тем, что у нее слишком много учеников. Лина отмечала, что «старушка» противоречит сама себе и только и знает, что задает одну арию за другой, не давая возможности выучить ни одну из них[99]. Когда Литвин говорила Лине, что ее голос не подходит для оперы, что ей даже не надо думать о партиях колоратурного сопрано и лучшее, на что она может надеяться, – это характерные партии низкого и среднего диапазона, Лина подвергала сомнению ее мнение.

В письмах Сергею она сообщала о своих музыкальных успехах, рассказывала о здоровье его матери после операции по удалению катаракты, делилась последними парижскими сплетнями и жаловалась, что сильно скучает.

В дошедших до нас письмах нет подробностей о ее лыжной поездке в Швейцарию, но сохранились фотографии, на которых запечатлена стоящая на склоне Лина в окружении мужчин в костюмах и галстуках – вряд ли они катались на лыжах в таком виде. Время от времени Лина встречалась с Зельдой Либман, которая советовала ей меньше думать о материальном и больше – о духовном, а сама между тем уложила в чемодан безумное количество парфюмерии и косметики для поездки на Французскую Ривьеру. Лина завидовала богатым и успешным людям; «есть же такие счастливые люди. Почему же я такая непрактичная?» – ворчала она[100]. Лина встречалась и с двумя другими женщинами, которым было поручено приглядывать за ней, мисс Спенсер и миссис Гарвин, но чувствовала себя скованно в их присутствии и не могла откровенно говорить об отношениях

с Сергеем. Но и с ним она не могла говорить о своих чувствах и тем более рассчитывать на ответные признания. «Ты никогда не ссылаешься на то, о чем я пишу тебе, – шутливо писала она, с трудом скрывая досаду. – Понял, Сережка! Гадкий мальчишка!»[101] На Рождество она отправила ему пару перчаток, размер $8^1/_4$.

Большинство писем Сергея носило деловой характер: вместо того чтобы подробно описать свое времяпрепровождение в Калифорнии, он сообщил о предложении, поступившем от Консерватории Сан-Диего. Сергей мельком написал о том, что встретился в Лос-Анджелесе с молодой актрисой-эмигранткой, которую он называл Фру-Фру, и о встречах с Дагмарой Годовской, недавно приехавшей с Запада. 12 января 1921 года Сергей и Фру-Фру (настоящее имя Мария Барановская) опоздали на показ вестерна Джона Форда Hitchin' Posts («Посты Хитчина») с участием Дагмары в роли неуправляемой женщины с безумными глазами. Ее возлюбленного по имени Джефферсон Тодд правдиво сыграл мужественный Фрэнк Майо. В то время у Дагмары был роман с исполнителем главной роли, и, хотя она утверждала, что тяготится этими отношениями, позже в том же году в Тихуане Дагмара и Фрэнк Майо поженились. Сергей наслаждался ее рассказами и все более убеждался, что Дагмара играет разные роли не только в кино, но и в жизни. Она даже говорила нарочито эмоционально, так, словно читала титры.

В своих письмах Сергей в подробностях описал встречу Нового года, и тут ему пришлось рассказать Лине о Дагмаре, поскольку большую часть вечера он провел на карнавале, устроенном у нее в доме. Лина тут же отреагировала на его письмо: «Я понимаю, что твои успехи взбудоражили Дагмару, но, поскольку она первоклассная женщина-вамп и очень привлекательная, не стоит описывать свои встречи с ней!»[102] Но муки ревности перестали терзать Лину, когда Сергей написал, что скучает. Он сообщил, что из Лос-Анджелеса вернется в Нью-Йорк, а затем приедет в Лондон и хочет, чтобы Лина встретила его. Сначала Лина отказалась, мотивируя это тем, что у нее нет в Лондоне друзей, и опасаясь, что Сергей забудет о ней, полностью сосредоточившись на своих делах, как это было раньше. Кроме того, Лина не могла, подобно Сергею, легко порхать из города в город – ей требовалось получить английскую визу – и отсутствие французского carte d'identite усложняло задачу – договориться об изменения графика уроков и объяснить друзьям, зачем ей так срочно потребовалось поехать за границу[103]. К тому же нужно было решить вопрос с проживанием в Лондоне.

* * *

В конечном счете Лина уладила бюрократические вопросы и 10 февраля встретила Сергея в Лондоне на вокзале Виктория. Они заказали отдельные номера в отеле National, расположенном рядом с вокзалом. Сергей внес свой вклад в то, чтобы их отношения выглядели пристойно: каждое утро он разбирал кровать, словно ночевал в номере. Он заботился о своих делах и, как предсказывала Лина, не брал ее с собой на встречи. То же самое повторилось в Париже, где Сергей занимался предстоящей постановкой своего балета «Шут», одного из трех балетов, поставленных «Русским балетом» Дягилева[104]. Полное название абсурдистского балета, навеянного сказкой, точно передает смысл сюжета: «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего». Балет был почти так же важен для Сергея, как его абсурдистская, сказочная опера «Любовь к трем апельсинам», и он учитывал все замечания Дягилева. Премьера состоялась 17 мая 1921 года в Париже в Le theatre de la Gaote Lyrique (театр Гаите-Лирик), дирижировал Прокофьев.

Лина, конечно, понимала, что Сергею необходимо обсуждать постановку с балетмейстером и художником по декорациям, но обижалась, когда он игнорировал ее на званых обедах или проводил вечера за бриджем и шахматами. Почему так непросто складываются их отношения, почему они оказались в «глупом положении»?[105] С чем связана холодность Сергея, его двойственное отношение к ней? Если Сергей стыдится Лины и не хочет быть с ней, то почему захотел, чтобы лето они провели вместе с его матерью? Лина страстно желала быть столь же необходимой Сергею, как его русские друзья, с которыми он, казалось, предпочитал проводить время. Она не была «ни помешанной, ни идиоткой», печально заявляла Лина, но его действия заставляют ее чувствовать себя неполноценной[106]. К тому же Лина плохо себя чувствовала.

В середине февраля, в разгар переговоров о постановке балета, Лине диагностировали аппендицит. У нее начался кашель, лихорадило, было трудно глотать, в общем, состояние оставляло желать лучшего, однако, несмотря на холодную погоду, Лина не отказалась от намеченной поездки во дворец Марии-Антуанетты в Версале вместе с миссис Гарвин. После внимательного осмотра врач диагностировал аппендицит и рекомендовал или делать операцию, или провести двенадцатимесячный курс лечения, включавший строгую диету и ограничение физической активности.

Лина обратилась за советом к Сергею; сложная ситуация

сблизила их и прервала споры относительно супружества. Сергей договорился, чтобы ее осмотрел известный хирург американского происхождения Шарль Винчестер дю Буше, который подтвердил диагноз, поставленный ранее, – аппендицит. Опасаясь прободения, он посоветовал оперировать, причем немедленно. Сергей отвез Лину в небольшую, тихую клинику при монастыре, и часто приезжал навестить. 17 марта, в день операции Лина сохраняла спокойствие, но, когда ее положили на носилки и понесли в операционную, закричала от страха. Сергей узнал об этом от подруг Лины, которые пришли, чтобы оказать ей моральную поддержку. К счастью, анестезия подействовала мгновенно.

Как только Лина пошла на поправку и стало ясно, что она скоро встанет с постели, Сергей уехал из Парижа в Нант и затем отвез мать в Сен-Бревен-ле-Пен, где снял на лето большой каменный дом на берегу Бискайского залива. Лина присоединилась к ним, как только Буше сказал, что она может ехать на поезде – дорога до побережья заняла полдня). Краснея, раздосадованная Лина была вынуждена объяснять хирургу, что у нее больше нет в Париже дома – она отказалась от аренды комнаты. До окончательного выздоровления ей бы пришлось жить в отеле или у знакомых. Несмотря на заверения Буше, выздоровление заняло намного больше времени, чем предполагалось, и Лину оставили в больнице еще на десять дней. Каждый день Лина писала Сергею, и одно из писем в шутку подписала «Лина (не Нина)»[107]. Сергей же написал ей только одно письмо и прислал пару телеграмм, состоявших из нескольких слов.

В первую ночь после операции Лина не могла спать из-за сильной тошноты. Через два дня Лине полегчало, однако она продолжала страдать бессонницей. Руки дрожали, и во время написания письма ей приходилось делать паузу, чтобы справиться с приступами головокружения. Однако состояние не мешало Лине принимать посетителей. Можно даже сказать, что болезнь внесла оживление в ее светскую жизнь. Добрые медсестры пропускали визитеров с позднего утра и до раннего вечера. Лину навестила мисс Спенсер со своим новым мужем Уорреном Фишером Дэниэллом, а учительница пения Литвин принесла букет незабудок.

Позже пришла миссис Гарвин в сопровождении Янакопулос и Сталя; его шутки заставили Лину засмеяться, но она тут же вскрикнула от боли и кинула в него подушку, чтобы заставить замолчать. Ее навестили художница «Русского балета» Наталья Гончарова[108] и бывшая жена Сомова Мария Аргунова, которую

Лина не видела два года и была уверена, что та в России. Гончарова принесла букет, который гармонировал с цветом глаз и губ Лины. Комнату заполнили букеты роз, сирени, фиалок и еще один букет незабудок (от Сергея) вместе с духами, шоколадом, фруктами и кефиром – последний по просьбе Лины принесла тайком Спенсер, которая была особенно внимательна к Лине. На фотографиях, сделанных 23 и 27 марта, Лина улыбается. Некоторые из них, в том числе ее портрет в окружении цветов, сохранились. Мистер Дэниэлл в застегнутом на все пуговицы костюме стоит возле кровати рядом с медсестрой.

Больничная жизнь была удручающе однообразна, ведь Лина не могла даже перейти с кровати на шезлонг, а выход в коридор и вовсе превращался в непосильную задачу. От скуки Лина записывала, что ела в течение дня, когда у нее наконец появился аппетит. «Утром я выпила кофе, в обед съела суп, пюре, маленький кусочек ветчины и компот из вишни». Лина высмеивала низкопробную литературу, к которой пристрастилась за время пребывания в больнице, и обвиняла мисс Спенсер в том, что это она приучила ее к детективным романам, которые читала вслух во время посещений. «Я закончила читать детектив под названием The Double Traitor («Двойной агент»). Захватывающее чтение»[109].

Шов нестерпимо чесался, и во сне Лина царапала ногтями живот и бок и выглядела, будто жертва «батальона блох». Как только сняли швы, она сообщила, что шрам «длиной два с половиной дюйма», не болит, но смотреть на него неприятно»[110]. Сергей не навещал ее, но Лина настояла, чтобы он написал ее матери в Нью-Йорк и сообщил об успехе операции – пусть хотя бы со стороны их отношения кажутся благополучными. Лина строго напомнила, что мать зовут Ольга Владиславовна, а ее саму следует называть Линетт, а не Пташка. Сергей точно выполнил указания и отправил письмо 29 марта.

Через неделю Лина начала, прихрамывая, ходить по комнате и дышала свежим воздухом на балконе, опираясь на мисс Спенсер, а вскоре отважилась выйти в сад. 28 марта Буше объяснил Лине, что она больше не нуждается в лечении, и подтвердил, что летом она сможет плавать. Два дня Лина жила в парижском доме Янакопулос и Сталя, дожидаясь Сергея, который должен был приехать в Париж и отвезти ее в Сен-Бревен-ле-Пен. Он появился 30 марта, переполненный новостями о все еще не законченном балете и предстоящем исполнении его написанной в 1915 году диссонирующей «Скифской сюиты», произведении для большого оркестра, использующего сюжет из скифской мифологии. Казалось, в этот раз Сергея должен заметить сам

Дягилев, арбитр художественного вкуса. Из Парижа они поехали в снятый Сергеем на лето дом. Лина пока еще чувствовала себя неважно, но через некоторое время снова начала заниматься пением. Когда они подъехали к дому, окруженному кипарисами, она потребовала, чтобы Сергей сказал экономке и соседям, что они женаты.

Вскоре Сергей вернулся в Париж, а оттуда поехал в Монте-Карло на премьеру «Шута». В день 30-летия Прокофьева, 23 апреля, Лина написала ему, что нежно целует, обнимает и желает «обрести чувства, которые у тебя, возможно, отсутствуют»[111]. Сергей в ответ ручался, что не только доведет постановку балета до ума (трудная задача, учитывая массу ошибок в оркестровых партиях, допущенных переписчиком), но и попытается закончить оперу «Огненный ангел» и новый цикл песен. Стихи к ним написал поэт-символист Константин Бальмонт. Песни больше подходили для Лининого, а не для Нининого голоса. Кошиц, как с удовлетворением отметила Лина, уронила себя во мнении Сергея по нескольким причинам, не в последнюю очередь из-за того, что в Нью-Йорке снова наладила контакт с Рахманиновым.

Сергей сопротивлялся парижским соблазнам, поселившись не на Монмартре или Монпарнасе, а в тихом 7-м округе, рядом с Домом инвалидов. По вечерам избегал водевилей и шоу с полуобнаженными девушками, предпочитая бридж и шахматы. Он нарушал правила только в музыке и, несмотря на бесконечные поездки, жил по заведенному порядку. Для Сергея Париж был местом работы, а не развлечений, и ему не нравилось то, что создавали французские музыканты. Он настоял на том, чтобы провести лето в доме на берегу Бискайского залива, где Лина ухаживала за больной матерью Сергея. Сама она любила столицу Франции, но ради него была готова на жертвы.

29 апреля Лине удалось вырваться из Сен-Бревен-ле-Пена в Париж, оставив Марию Прокофьеву заниматься рукоделием в компании экономки. Лина ехала на премьеру «Скифской сюиты», исполнение которой было назначено на 30 апреля. Судя по аплодисментам, произведение имело успех, хотя похвалы Стравинского показались Лине снисходительными. Впрочем, в Париже Стравинский был для Сергея тем же, что и Рахманинов в Нью-Йорке, – соперником.

1 мая Лина и Сергей вернулись в Сен-Бревен-ле-Пен, но через неделю Сергея вызвали в Париж, на этот раз в связи с постановкой «Шута». Это был решающий момент в его карьере, шанс наконец создать театральную сенсацию вроде тех, которыми славился «Русский балет», и он хотел, чтобы Лина и его мать

были рядом. Установилась хорошая погода, и они даже пожалели, что приходится уезжать с побережья. В Париже Мария вернулась в клинику, где ей делали операцию по удалению катаракты, а Сергей и Лина сняли два отдельных номера в скромном отеле, расположенном через улицу от театра Gaote Lyrique, где должна была состояться премьера балета. Дягилеву не удалось договориться о более престижном зале, что свидетельствовало о снижении его влияния на парижский театральный мир. Сергей был занят на репетициях, так что решение спать отдельно от Лины, в своем номере, в данном случае было простительным.

Судя по последним репетициям, «Шут» должен был пройти без больших сложностей. Хотя ошеломляющая, неистовая музыка «Шута» не достигла скандального успеха балета Стравинского «Весна священная», премьера которого состоялась в 1913 году, балет Сергея произвел достаточное впечатление, чтобы богатая консервативная публика укрепилась в своем мнение относительно Прокофьева как истинного модерниста. Дягилев был доволен: Прокофьев оправдал ожидания.

Неловко кланяясь, композитор наслаждался сдержанными аплодисментами. После окончания спектакля успех отправились праздновать на Монмартр. По русскому обычаю один за другим следовали тосты, и Сергей позволил себе выпивать наравне с другими. За столом, уставленным тарелками с едой, под японскими бумажными украшениями в форме животных сидели «волнующе декольтированные кокотки»[112]. Лина гордо сидела рядом; мать Сергея не пошла с ними. Хотя Сергею всегда было трудно расслабиться, в этот раз он упивался триумфом. Однако Лина выпила слишком много, и Сергею пришлось везти ее в отель.

На следующий день он опять окунулся в работу, и ошибки оркестра причиняли Сергею не меньше страданий, чем похмелье. После двух представлений в Париже балет отправился в Лондон с другим дирижером. Сергей был так измучен, что отказался ради репетиций пересекать Ла-Манш с дягилевскими танцорами и музыкантами. Вместо этого он вместе с матерью поехал на поезде в Сен-Бревен-ле-Пен, стремясь поскорее очутиться в спокойной рабочей обстановке.

Это было 26 мая. А на следующий день приехала Лина. Она осталась в Париже, чтобы встретиться с новым педагогом, выдающейся французской певицей-сопрано Эммой Кальве. Приближалась к концу блестящая карьера певицы, наибольший успех которой принесла партия Кармен в опере Жоржа Бизе. В последний раз Кальве выступала в Парижской опере в 1919 году. Прощальное турне по Британским островам и Соединенным

Штатам было еще впереди. Кальве бывала раздражительной, но любила брать под крыло молодых певцов и в межсезонье давала им уроки.

В середине лета Кальве согласилась заниматься с Линой в собственной резиденции на юге Франции. Мисс Спенсер и миссис Гарвин были в восторге от выпавшей Лине возможности добиться успеха и обещали приехать, чтобы повидаться с ней. Но для Лины этот уникальный шанс означал очередную разлуку с Сергеем, который делал вид, что недоволен, но на самом деле поддерживал ее затею. В дневнике Сергей подчеркивал, что был бы рад, если бы Лина сдала карьеру и была независима. Но у нее самой поубавилось амбиций после фиаско в кабаре Балиева, к тому же Лину пугала конкуренция. Она рыдала, упаковывая вещи, а мать Сергея дулась. Он же уверял обеих, что время пролетит незаметно. Лина планировала уехать на три недели, но задержалась на шесть.

Она поехала вместе с Кальве, ее аккомпаниатором и еще одной ученицей в средневековый город Мийо, расположенный в регионе Южные Пиренеи. Поездка обычно занимала шестнадцать часов, но шедший перед ними поезд сошел с рельсов, так что в результате они добирались до места два дня. Замок, который Кальве купила в разгар известности в 1894 году, располагался на горном плато, в 12 километрах от города, на высоте двух тысяч футов над уровнем моря. Это был типичный средневековый замок: смотровые башни, крепостной вал, сооруженный в 1050 году, сады, пастбища… и холодные сквозняки, которых Кальве, в отличие от учеников, просто не замечала. Она до такой степени любила это место, что назвала три горы, окружавшие плато, в честь опер, которые принесли ей наибольшую известность и дали возможность приобрести замок: Кармен (опера Жоржа Бизе «Кармен), Честь (опера Пьетро Масканьи «Сельская честь») и Наваррка (опера Жюля Массне «Наваррка»).

Если бы Лина приехала в Мийо спустя много лет, она могла бы остановиться в очаровательном комфортабельном отеле, названном в честь ее педагога по вокалу, местной героини. Но теперь она чувствовала себя подобно девице, заточенной в замке на высокой неприступной скале и ждущей рыцаря-спасителя. Единственным источником связи с внешним миром были письма. Первую ночь она провела в мрачной комнате, в которой когда-то ночевал Генрих IV. Утром Лина перебралась в более светлое помещение с туалетной комнатой, расположенное в круглой башне с балконом. Вокруг завывал ветер, где-то внизу шумела вода.

Гостьям обеспечили все удобства, но строгий распорядок дня

– подъем в восемь утра, общие трапезы, занятия и отход ко сну в 22:00 – заставлял Лину чувствовать себя, как в тюрьме. Аккомпаниатор, робкая французская девушка, оказалась недалекой и скучной собеседницей, а ученицу, приехавшую вместе с ней, Лина всячески задевала, подвергая уничижительной критике. Ее звали Фрида Манасевич, но Лина, демонстрируя свои наименее привлекательные черты, называла ее не иначе как «заискивающей маленькой еврейкой». Она жаловалась Сергею, что Фрида «вечно крутится вокруг мадам Кальве» и «ведет себя, как полная идиотка, чтобы понравиться ей. Жаль, что у этой особы вдобавок колоратурное сопрано». Кальве смягчила немотивированный гнев Лины, заверив ее, что она plus avancee (более продвинутая), чем Фрида[113].

Уроки длились всего по пятнадцать минут и проводились раз или два в день в изящной музыкальной комнате с превосходной акустикой. Часто Лина и Фрида занимались вместе. Кальве заполнила комнату памятными подарками и сувенирами и не отказывала себе в удовольствии делиться с Линой забавными историями о своих встречах с королями и королевами. Некоторые уроки, в зависимости от того, в каком настроении пребывала на тот момент Кальве, были утомительными, но непродуктивными; другие, наоборот, продуктивными и неутомительными, а были одновременно продуктивные и утомительные. В самом начале Лина совершила faux pas (промах), признавшись, что училась у другого педагога. Кальве и Литвин вместе выступали на сцене и смертельно рассорились. Так что не было ничего удивительного в том, что Кальве раскритиковала технику Лины, начиная с того, что у нее неправильно поставлено дыхание. В противовес мнению Литвин Кальве заявила, что у Лины не драматическое сопрано, а «чистая колоратура»[114].

Лина спокойно отнеслась к этой новости и даже почувствовала себя отомщенной, придя к выводу, что ее недовольство Литвин было оправданным. Однако вскоре Лина точно так же разочаровалась в Кальве. Ее уроки были сумбурными, она любила старомодную музыку и, как все знаменитости, была тщеславна и самолюбива. Лина устала слушать рассказы об ошеломительном взлете к славе и привлекательных поклонниках, включая мужа Кальве, итальянского певца-баритона. Аккомпаниатор посоветовала Лине не ждать многого от Кальве, уверенно объяснив, что «она чудесный человек, но вы тратите время впустую»[115].

«Спасибо, что обнадежили», – язвительно ответила Лина, чувствуя себя обманутой. Настроение Лины в оставшееся время, проведенное в замке, колебалось от пессимистического до

оптимистического. В замке появились новые певицы, и в их числе меццо-сопрано, которая родилась в Австралии, училась в Англии и у которой вскоре должен был состояться дебют на сцене Оперы Монте-Карло. «Я всем обязана мадам Кальве, – сообщила вновь прибывшая Маргарита Гард, с восторгом вспоминая свои успешные выступления в Лондоне и Париже, где она пела под фамилией Векла (Vecla), анаграмма Кальве (Calve). – Уверяю тебя, если останешься с ней, она сделает из тебя человека и устроит ангажементы, потому что у нее обширные связи»[116].

После этих слов настроение у Лины улучшилось. Еще больше она приободрилась, когда Кальве похвалила ее после концерта в городе Родез, расположенном примерно в четырех часах езды от Мийо. Концерт был частью торжеств, организованных местной администрацией в честь Кальве, и Лина пела в хоре. Она была одной из 150 исполнителей, но ее соло было гвоздем программы.

Однако радость отравляли сложные отношения с Сергеем, по-прежнему курсирующим между Сен-Бревен-ле-Пеном и Парижем. Их совместное будущее волновало Лину больше, чем певческая карьера. Сергей, очевидно, не желал брать на себя обязательства и ничего не имел против необременительных отношений – вернее, их физической составляющей. Для Сергея музыка всегда была на первом месте, а все остальное отходило на задний план. В данный момент он был полностью поглощен работой над оперой «Огненный ангел», циклом песен на стихи Бальмонта и Третьим концертом для фортепиано с оркестром. Сергея вполне устраивала компания поэта-любителя и философа Бориса Башкирова, друга детства, недавно покинувшего Россию. Сергей пригласил его на лето в Сен-Бревен-ле-Пен, где Башкиров проводил дни за игрой в шахматы, купанием и беседами с матерью Сергея.

Сергей рассказывал Лине, чем занимался в течение июня, и, утешаясь тем, что он хотя бы пишет, она все же расстраивалась из-за краткости посланий. Очевидно, Сергею было хорошо без нее. «Твое письмо от 17-го, возможно, самое подробное из всех написанных мне писем, – написала Лина в письме от 21 июня. – Ты так скрупулезно описываешь свою жизнь, и понятно, что у тебя все идет столь гладко, что я боюсь внести беспорядок, и, кроме того, ты будешь недоволен, когда я стану выражать недовольство, что ты не уделяешь мне внимания, и т. д.»[117]

Однако Лина старалась бодриться. «Если бы ты только знал, как здесь хорошо. Когда вечерами я сижу на террасе, любуясь прекрасным видом, я жалею, что нет рядом тебя, тогда все было бы намного прекрасней. Тебе бы понравилось здесь. Если бы у нас мог быть такой замок, только твой и мой!» И тут же, противореча

себе, восклицает: «Увы, тебе было бы здесь скучно!»[118]

Лина пыталась сосредоточиться на занятиях, но лишь потому, что главные фигуры в ее жизни – сначала не добившаяся собственных успехов мать, затем Сергей – считали, что карьеру сделать необходимо. К тому же Лина была гордой и умоляла Сергея не рассказывать о ее проблемах с Янакопулос и Сталем. Лина пыталась найти собственный путь и смысл жизни, поскольку о создании семьи пока даже речи не шло. «Мне не остается ничего другого, поскольку ты не считаешь меня достойной этого, – с горечью говорила она Сергею. Недостойна супружества, подразумевала она. – О, ты не представляешь, какие я испытываю нравственные страдания, когда думаю об этом!»[119]

Душевные излияния оставляли Сергея равнодушным, по крайней мере в то лето; он считал ее недовольство проявлением капризного характера. Возможно, думал он, следующее письмо она будет писать в лучшем расположении духа. Может, просто соскучилась. Вероятно, проблема разрешится сама собой, несмотря на угрозы разорвать отношения. Лина подумывала о том, чтобы вернуться к матери в Нью-Йорк, но у нее не было денег на поездку. Кальве и певицы, появившиеся в замке в течение июня – июля, пытались убедить ее продолжать уроки, даже если она не может оплачивать их. Лине предлагали рассчитаться с учительницей осенью. Но Лина находилась в подавленном состоянии, и Кальве видела, что она теряет интерес к занятиям. Маргарита, с которой Лина успела подружиться, тоже решила уехать в Париж.

После мучительных раздумий относительно того, как Сергей и друзья отреагируют на ее решение, Лина покинула замок. Уроки можно было возобновить в конце октября в Париже, но к тому времени уже Кальве потеряла к Лине интерес. В конце года во время гастролей в Нью-Йорке у Кальве будет разговор с матерью Лины. У Лины красивый голос, который подходит для оперы, заверила Кальве Ольгу, но j'ai peur qu'elle n'a pas assez de patience et de vouloir d'arriver («боюсь, ей не хватает терпения и желания»)[120]. Лина не написала, как Ольга отреагировала на слова Кальве, но, скорее всего, была недовольна. Зато появилась надежда, что Лина скоро вернется домой.

Оставшаяся часть года была безрадостной. После нескольких дней отдыха, по совету Маргариты проведенных в Фонтенбло, Лина вернулась в Париж и сняла недорогую однокомнатную квартиру в доме 119-бис на улице Нотр-Дам-де-Шан в 6-м округе. Камин трудно растапливался и почти не давал тепла; из-за сквозняков и сырости Лина никак не могла вылечиться от

простуды. Мать Сергея, тоже перебравшаяся в Париж, подсчитала, что Лина двадцать пять раз обращалась к врачу. Несмотря на «проклятые холода», Лина, за неимением лучших вариантов, продолжала брать уроки у Кальве. Той осенью Лина часто плакала, досадуя и на здоровье, и на педагога[121]. Открытки и письма с пожеланиями скорейшего выздоровления, приходившие из более теплых мест, только раздражали. 5 декабря Кальве уехала в Нью-Йорк, чтобы снова выступить в звездной роли Кармен, и на этом занятия закончились. Кальве оставила Лине свою фотографию с автографом, приписав, что голос Лины прекрасен, а вот прилежание оставляет желать лучшего. «Старая ведьма», – проворчала Лина[122].

Между тем Маргарита и другие опытные певицы внушили ей мысль поступить учиться в Миланскую консерваторию. Учебный план был консервативен, но образовательное учреждение пользовалось хорошей репутацией; студентам предлагались частные уроки, мастер-классы и даже возможность выступить на оперной сцене. Три месяца прошли в трудных раздумьях, прежде чем Лина приняла решение поступать – у нее все равно не было других вариантов. Кроме того, родителям будет приятно узнать, что она учится в Милане, поскольку это навеет воспоминания о времени, которое они провели в этом городе. И вероятно, Лине удастся приобрести некоторый профессиональный опыт, которого ей так не хватало. Работа в кабаре была не в счет.

Это значило, что снова придется уехать от Сергея и жить на скромные средства – впрочем, к этому Лина уже привыкла. Почти весь год, включая время обучения в замке Кальве, Лина жила на средства Сергея. Он переводил деньги и ей, и матери. Лина никогда не просила финансовой поддержки – ее окружали заботливые друзья, всегда готовые помочь, – например, Либманы. В принципе Лине были не нужны деньги Сергея, но она принимала их, радуясь хоть какому-то знаку внимания, хотя на самом деле мечтала совсем о другом.

Нельзя сказать, что в Европе она была в полном одиночестве. Помимо Маргариты, Лина общалась с Сергеем Марковичем Перским, бывшим секретарем премьер-министра Франции Жоржа Клемансо, а также с Янакопулос, Сталем и богатыми дамами и господами, которые приходили на послеобеденный чай в американское посольство. В ноябре Лина дважды побывала в посольстве, причем во второй раз пришла, несмотря на бронхит, однако это не помешало ей произвести впечатление на собравшихся. Жена советника посольства отвела Лину в сторонку и сказала, что мужчины «хорошо» о ней отзывались, а один в нарушение правил хорошего тона даже сказал, что считает ее

«опасно привлекательной»[123]. В декабре Лина снова пришла в посольство, на этот раз с аккомпаниатором, и исполнила арии из произведений Дебюсси, Римского-Корсакова, Делиба и Гуно.

На бис она исполнила популярную в Америке песню Drink to Me Only with Thine Eyes («Пей меня только глазами»). Лина призналась Сергею, что еще не готова исполнять его произведения на публике, даже притом, что Прокофьев посвятил ей новый цикл песен. Его музыка была сложной, и она требовала намного больше времени на подготовку, чем «Пей меня…»; к тому же требовалось перевести текст с русского на французский язык. Переводчика, способного передать изысканность символистской поэзии Бальмонта, найти было практически невозможно. В последние недели 1921 года ее единственным развлечением был послеобеденный чай в посольстве.

На протяжении осени и зимы Лина наносила визиты Янакопулос и Сталю, но те заботились исключительно о карьере Янакопулос. Несколько недель они не давали о себе знать: эти двое думают только о себе, решила Лина. Наконец в ноябре она получила приглашение на завтрак в их роскошную квартиру, и Сталь, включив все обаяние, дружески болтал и рассказывал забавные истории о работе. Однако когда они встретились в следующий раз, Сталь дал Лине задание. Она должна была написать на конвертах адреса и фамилии всех своих нью-йоркских знакомых, – получилось примерно пятьдесят человек, включая ее родителей. В конверты Сталь вложил программы последних концертов Янакопулос и отправил по почте. То, что знакомые Лины узнали о музыкальных триумфах Янакопулос в Париже от ее мужа и коммерческого директора, лишний раз напомнило Лине, как незначительны ее собственные достижения.

Увы, Лина обманулась в радужных надеждах. Никто не предложил ей помощи – она могла рассчитывать только на собственные силы, но даже сама пренебрегала своими потребностями. Вместо этого Лина занималась карьерой Сергея, взяв на себя обязанности бесплатного ассистента: собирала обзоры и статьи о нем, напечатанные во французских газетах и журналах, делала выписки и отправляла в письмах Сергею. Среди этих рецензий – хвалебных и уничижительных – были отзывы о нескольких исполнениях «Скифской сюиты», во время которых дирижировал Сергей Кусевицкий, русский эмигрант, приехавший в Париж; в 1924 году он получил приглашение занять пост главного дирижера Бостонского симфонического оркестра.

Лина не имела ничего против помощи Сергею, но этого ей было мало. А пока что она была для Сергея просто приятной собеседницей, добровольной помощницей и сиделкой для его

матери. Положение Лины выглядело сомнительным даже в глазах матери Сергея, с которой Лина часто ходила на концерты. Лина страдала от одиночества, нравственного и физического. Блестящий круг общения Сергея был далек от нее, и Лине оставалось рисовать в воображении кафе, ночные клубы и салоны, в которых они проводили время, – аромат сигарет и духов, картины на стенах. Лина могла только со стороны наблюдать за братсвом гениальных музыкантов, в которое входил Сергей. Элегантный композитор Морис Равель сидел напротив нее на одном из концертов с участием Кусевицкого, но сразу ушел из театра после исполнения своего произведения (La valse, un poème chorègraphique – Вальс, хореографическая поэма). Лина видела Дягилева, который оказался более тучным и седым, чем описывал Сергей, и артистов «Русского балета» – обедневшую, но державшую фасон группу, с удовольствием попирающую все запреты.

Лина досадовала, что потратила столько времени и сил на отношения с Сергеем, но скрывала истинные чувства, пока не приняла решение о поездке в Милан. Лина сообщила, что хочет привести свои дела в порядок, поэтому уезжает из Парижа и больше не сможет изучать газеты и журналы в поисках имени Сергея; собранные обзоры и статьи она оставит его матери.

Эти новости она, конечно, сообщила в письме, поскольку Сергей опять был далеко. Он отправился в Соединенные Штаты на репетиции и премьеру оперы «Любовь к трем апельсинам»; Сергею казалось, будто работа над оперой заняла десятки лет, а не два года. Кроме того, в Чикаго должно было состояться первое исполнение Третьего концерта для фортепиано с оркестром. В Нью-Йорке он разыскал свою старую любовь Стеллу Адлер, но избегал встреч с Ниной Кошиц, зная, что скоро увидит ее в Чикаго. Она исполняла ведущую партию в его опере. Последнее, что ему хотелось, – это быть втянутым в очередную драматическую сцену. Впрочем, Сергею нравилось присутствовать на спиритических сеансах Кошиц и общаться с духами. Лина не подозревала, что Сергей продолжает интересоваться Адлер, и порадовалась, узнав, что он всячески избегает Кошиц. Даже в шутку посоветовала нанять «телохранителя», чтобы защититься от приставаний Кошиц[124]. Во время турне Сергея по Америке Лина продолжала писать ему письма, в которых подтрунивала над ним и выражала беспокойство по поводу его самочувствия. Конечно, она стремилась окончательно разорвать отношения, но была не в силах это сделать.

Сергей прибыл в Чикаго 29 октября, чтобы провести

репетиции. Кроме того, он выступил в качестве солиста с оркестрами на Среднем Западе – «1000 долларов за выступления», хвастался его агент. За время турне Сергей научился держаться уверенно при общении с репортерами и перестал им грубить[125]. Композитор давал длинные интервью на самые разные темы, от любви к флирту до ужаса, который испытывает при необходимости прочесть лекцию о своей музыке на английском, и даже о футуристической опере об игре в шахматы, которую он когда-нибудь напишет. (По пути в Америку Сергей стал победителем шахматного турнира.) Все его мысли были заняты предстоящей премьерой оперы «Любовь к трем апельсинам», и, описывая апоплексическую музыку и необычные декорации, Сергей от нервного возбуждения мотал головой из стороны в сторону. В интервью Chicago Evening Post, рассказывая о постановке своей оперы, он подчеркнул, что «никогда еще труппа не показывала ничего подобного»[126]. Услышав, как ловко он отбивался от вопросов журналистов, Лина пошутила, что, видимо, летом, играя в теннис, Сергей набил руку. В том же письме Лина спрашивала, не беспокоит ли его спина, не болят ли зубы.

Сергей содрогался при мысли о встрече с Кошиц, однако все прошло на удивление спокойно, хотя вскоре между ними, как всегда, начались жаркие споры. Он отдал Кошиц духи и пудру, которые по ее настоятельной просьбе привез из Парижа, выслушал последние новости и вернулся к работе – как и она. Премьера оперы, состоявшаяся 30 декабря в пятницу, имела больший успех, чем ожидали автор и творческая группа. Выход Сергея на сцену сопровождался восторженными выкриками из зала. Сергей наслаждался результатом трехлетней работы. Несмотря на путаницу в конце и некоторую неслаженность хора, на протяжении всей оперы в зале звучал громкий смех. В целом 1921 год закончился удачно. 5 января в Чикаго состоялся второй спектакль, но композитор, вместо того чтобы дирижировать оркестром, сидел в зале. Несмотря на некоторые шероховатости, опера опять была хорошо встречена зрителями.

Однако в рецензиях явственно звучала ирония. Критики не разделяли зрительского восторга по поводу «пророка музыки будущего» и «его русского джаза в большевистском оформлении»[127]. Репортер Chicago Daily Tribune нашел во всей опере только «две приятные мелодии» и один «очень хороший марш». В остальном же у критика создалось впечатление, будто «мистер Прокофьев зарядил дробовик несколькими тысячами нот разной длительности и выстрелил в глухую стену»[128].

Изобретательные критики сравнивали арии то с «мелодиями

шарманщика», то с «яркими леденцами»[129], но самого лестного комплимента Сергей удостоился за месяц до премьеры, однако хвалили не музыку композитора, а его умение одеваться. Журналист Daily News, придя в восторг от тщательно выглаженных костюмов-троек, назвал Сергея «самым хорошо одетым человеком в Чикаго»[130].

Сергей ответил на критику снобистским безразличием, отнеся за счет ограниченности Среднего Запада, однако был уязвлен. Он рассчитывал, что в других местах оперу ожидает более восторженный прием, сопоставимый с оглушительным успехом его концертов. Из-за болезни одного из актеров премьера оперы в Нью-Йорке состоялась 14 февраля, а не шестого, как было запланировано. Однако и здесь Сергей подвергся атакам критиков. Шли разговоры о следующих исполнениях оперы в Соединенных Штатах и Европе. О России никто не вспоминал.

Во время репетиций в Чикаго Сергей иногда задумывался над тем, почему бы Лине не исполнить партию своей тезки в опере «Любовь к трем апельсинам»; Лина в Париже фантазировала на ту же тему, хоть и не знала роли. Сергей назвал в ее честь красивую, обольстительную принцессу Линетту, которая появляется в последней картине второго действия. Она и две другие принцессы заключены в замке старой ведьмы Креонты. Принцу и придворному шуту Труффальдино удается освободить Линетту, но она умирает от жажды в пустыне – незадачливые спасатели не заметили, что принцесса изнемогает без воды. Ариозо Линетты угасает вместе с ней. Принц предвидел, что подобное может случиться, поскольку от жажды уже умерла первая принцесса, тоже вышедшая из апельсина. Наконец принц усваивает урок и спасает третью принцессу, Нинетту, облив ее водой. Принц и Нинетта влюбляются и находят счастье – хотя Фата Моргана и пытается помешать влюбленным. Голос позволял Лине исполнить партию Линетты, и она, возможно, справилась бы с этой ролью. Но Сергей сомневался, под силу ли ей такая сложная задача, к тому же у него не хватало влияния, чтобы добиться утверждения неопытной певицы…

* * *

В то время как Сергей наслаждался успехом у публики в Чикаго и Нью-Йорке, Лина в одиночестве проводила праздники в Париже. Даже Маргарита оставила ее, чтобы встретить Новый год с родителями в Лондоне. В письме от 8 декабря Лина вновь пишет, что не может больше притворяться, будто все хорошо – ей

не хватает любви и поддержки. Она устала от непонятных отношений. Сергей тоже понимал – пора что-то менять, ведь он старался держать Лину на расстоянии, даже когда она была рядом. Или она должна согласиться на более незаметную роль, или ему придется сократить дистанцию и подпустить Лину в свою жизнь.

Раньше Лина могла рассчитывать на мать, но Ольга была далеко. «Невозможно бороться в одиночку», – жаловалась Лина[131]. Но именно это она продолжала делать. Наконец, Лина решила положиться на волю судьбы – вернее, Фата Морганы, – собрала вещи и отправилась в Милан.

Глава 4

К 1922 году Гражданская война в России между про– и антибольшевистскими силами закончилась, но в отдельных районах продолжались бои. С начала революции умерло приблизительно девять миллионов человек, в основном от голода и болезней. Крестьянские восстания на Украине были подавлены с помощью массовых расстрелов; Красная армия отвоевала Сибирь и Юг. Дальний Восток, по территории которого в 1918 году проходил путь Сергея в Японию, а оттуда в Соединенные Штаты, стал страшным местом. ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем), перед которой Владимиром Лениным была поставлена задача по ликвидации контрреволюционеров, наблюдала за растущей сетью трудовых лагерей. В мае 1922 года Ленина хватил удар. Его жизнь близилась к концу.

Сергей старался по возможности следить за новостями из России, но весьма смутно представлял себе положение в стране, особенно за пределами Петрограда и Москвы. Он предполагал худшее. Сергей добился признания на Западе и, хотя «Любовь к трем апельсинам» не пользовалась тем успехом, на который он надеялся, Сергей был допущен во влиятельный круг дягилевского «Русского балета» и, наконец, одержал победу над Рахманиновым с помощью своего Третьего концерта для фортепиано с оркестром.

В феврале 1922 года Лина уехала из Парижа в Милан; и ее, и Сергея тревожило, что они совсем отдалились друг от друга. И в письменном, и в личном общении Лина и Сергей столкнулись с серьезными проблемами – довольный собой Сергей грелся в лучах славы, а между тем Лина тоже стремилась чего-то добиться, пусть даже в качестве музы Сергея. Все это очень осложняло отношения, однако Лину и Сергея неудержимо влекло друг к другу.

За неделю до Великого поста в Милане проходит самый долгий карнавал в мире – в отличие от других итальянских городов, здесь пользуются не римским, а амвросианским календарем. В остальных частях страны костюмированные представления, праздничные процессии, вечеринки, пиры и уличные ярмарки заканчиваются в Пепельную среду, которая считается днем покаяния, наступающим после Марди Гра («жирный вторник», который знаменует собой окончание семи «жирных дней»). Но миланский карнавал продолжается до первого воскресенья Великого поста. Горожане в масках и

исторических костюмах объедаются мучными кондитерскими изделиями, включая tortelli di Milano, тортелли по-милански, обсыпанные сахарной пудрой и корицей, и покрытые шоколадом chiacchiere, слоеное печение кьякьере. Своего апогея карнавал достигает в субботу во время костюмированного шествия по центральным улицам к кафедральному собору; оно начинается днем и заканчивается шумной вечеринкой под открытым небом, длящейся всю ночь. Люди веселятся на городских улицах, бросая друг в друга конфетти и серпантином.

Карнавал стал одним из первых событий, случившихся после прибытия Лины в город. Вновь полная амбиций, она приехала в Милан, чтобы работать над вокальной техникой, расширить репертуар и попробовать себя на оперной сцене. Для занятий Лина выбрала вокализы знаменитого тенора XIX века Марко Бордоньи – 24 вокализа для сопрано и меццо-сопрано. Судя по штампу, она приобрела этот ценнейший сборник в Париже. Лина хранила его на протяжении всей жизни; он не затерялся даже во время ее пребывания в сталинском варианте ленинских трудовых лагерей. Через все испытания прошли партитуры, среди которых были «Риголетто» Верди и «Ромео и Джульетта» Гуно для голоса и фортепиано на русском языке. Они были изданы в Москве, и Лине их прислала то ли мать, то ли Сергей. Помимо нот шопеновского «Желания», она сохранила ноты сентиментальной песни At Dawning, сочиненной американским композитором Чарльзом Уэйкфилдом Кадманом в 1906 году.

Лина думала, что в Милане некому будет отвлекать ее от учебы, но в пансионе, населенном честолюбивыми тенорами и сопрано, жизнь била ключом. Лина сняла комнату в пансионе для музыкантов в доме номер 8 на Соборной площади, в самом центре города, всего в квартале от огромного величественного готического собора, и на протяжении нескольких недель наслаждалась театральной атмосферой. Во время карнавала возбуждение сменилось усталостью, но, несмотря на это, заключительная процессия произвела на Лину огромное впечатление. Al fresco masquerade, маскарад под открытым небом, с восторгом написала она Сергею, ничуть не уступал величественным балам, которые Лина не имела возможности посещать…

Весной в ее комнате стало и теплее, и оживленнее. Когда все соседи, открыв окна, начинали заниматься в одно и то же время, заведение напоминало музыкальный сумасшедший дом. Постоянное общение с соседями помогло Лине усовершенствовать владение итальянским настолько, что она смогла ходить на спектакли в театр. Однако Лина устала от

постоянных сплетен и интриг в пансионе. В конце мая она на четыре дня съездила во Флоренцию, чтобы повидаться с мисс Спенсер. По возвращении в Милан Лина переехала вместе с нью-йоркской подругой, Консуэло Иствик, в дом номер 38а по улице Стелла (via Stella), в более тихий район. В ноябре 1922 года, после прихода к власти Бенито Муссолини, будущего фашистского диктатора, улицу переименовали в улицу Филиппо Корридони (Filippo Corridoni).

Сохранилось несколько сильно выцветших фотографий того периода – одни кадры сделаны осенью в Милане, другие – летом, в парке в городе Монца и на озере Комо. Вот Лина вместе с педагогами, имена которых неизвестны; вот сидит с книгой в парке на скамейке, вот обнимает щенка по прозвищу Поррито; а вот величественная Консуэло со строгим выражением лица.

Арендная плата была ниже, чем в пансионе на улице Стелла, что очень устраивало Лину, поскольку деньги быстро таяли. В квартире была удобная мебель и достаточно места, чтобы приглашать гостей на чай и на бридж и даже время от времени устраивать вечеринки. Среди гостей были консерваторские музыканты и местные знаменитости, в их числе Филиппо Маринетти[132], основоположник итальянского футуризма.

Стремясь заручиться поддержкой, Лина завела знакомства с критиками, дирижерами, директором музыкального издательства Ricordi и главным художником театра Ла Скала Джованни Гранди, русская жена которого была знакома с Сомовым. Казалось, бывший нью-йоркский работодатель Лины будет преследовать ее всю жизнь. Как и Дагмара Годовская, близкая подруга которой Ева Дидур жила по соседству с Линой в пансионе. Она была настоящей примадонной, дочерью известного польского баса Адама Дидура. Критики писали, что она сразу одержала победу над нью-йоркской публикой[133]. В Милане Ева с успехом исполнила ведущую партию Мими в опере Пуччини «Богема» в Teatro Dal Verme (Театр Даль Верме)[134] и, конечно, вызвала зависть Лины.

Во время учебы студенты консерватории ходили на прослушивание в профессиональные оперные труппы. Лине больше нравилось общаться с педагогами, чем разучивать канонические итальянские арии из опер, которые они ей задавали. В первые два месяца в ее репертуаре была ария Джильды из «Риголетто» и Валли из одноименной оперы Альфредо Каталани. Партии были трудные, но Лина считала эти оперы старомодными и устаревшими по сравнению с музыкой, которую она изучала во Франции под руководством Литвин и Кальве, – включая песни Сергея на стихи Бальмонта.

Особенно Лина критиковала оперу «Валли», несмотря на то что Каталани был одним из любимых композиторов Артуро Тосканини, в то время бывшего главным дирижером Ла Скала. Лина с необдуманной категоричностью называла оперу «барахлом» – вероятно, за исключением самой известной арии из первого акта «Ebben? Ne andro lontana», в которой героиня выражает намерение покинуть счастливый дом своей матери и, возможно, никогда не возвращаться. Лина выучила арию под руководством дирижера и концертмейстера-репетитора. Она заслужила похвалу от обоих и от русского эмигранта, режиссера Виктора Андоги (настоящая фамилия Журов), с которым она познакомилась в Париже. Некоторое время спустя у него начался роман с ее соседкой по комнате Консуэло. Андога недавно осуществил постановку оперы Мусоргского «Борис Годунов» во вновь открытом после модернизации сцены театре Ла Скала. Дирижировал Тосканини. Лина была в восторге от возможности получить от него указания относительно мизансцены. Она надеялась, что осенью, в сентябре или октябре, у нее может состояться дебют на профессиональной сцене.

Тем временем Сергей вернулся в Европу, прибыв 25 февраля из Нью-Йорка в Булонь, а оттуда отправился поездом в Париж и Берлин, чтобы дать серию концертов. Он пересек Атлантику на пароходе Noordam вместе со своим «беспутным» другом, поэтом и философом Борисом Башкировым; в отсутствие Лины они решили поискать дом в Баварских Альпах, который можно снять на лето. Жизнь в Германии была намного дешевле, чем во Франции. Сергей был слишком стеснен в средствах, чтобы заплатить за дом на юге Франции, который снимал прошлым летом. Башкиров обещал снять дом в Баварии за разумные деньги, но в конце концов поисками занялся Сергей. Как только они устроятся, Сергей планировал взять с собой мать. Башкиров, планировавший не только отдыхать, но и работать над сборником стихов, обязался по вечерам читать Марии Ницше. Сергей надеялся, что Лина тоже приедет. Он наконец понял, что не хочет терять ее, но к браку был не готов, поскольку больше всего боялся лишиться свободы. Сергей долго убеждал себя, что семейная жизнь, о которой так мечтает Лина, не принесет ему удовлетворения. Опыт матери заставил Сергея относиться к брачным узам настороженно. После замужества и переезда на Украину, в село Солнцовка, где родился Сергей, Мария отчаянно скучала по прежней городской жизни.

Сергей и Башкиров нашли большой дом в деревне Этталь, примерно в 95 километрах к югу от Мюнхена, в Баварских

Альпах. Вилла «Христофорус» – так называли дом – была настолько очаровательна, что Сергей решил остаться здесь до конца года. На первом этаже была библиотека с книгами на трех языках, креслами и яркими коврами, на втором – спальни с балконами, электрическое освещение, на стенах картины футуристов и изумительный вид на аббатство Этталь и луга. Сначало рояля не было, и Сергей играл на инструменте, принадлежавшем владельцу местного магазина, готовясь к предстоящим премьерам в Лондоне и Париже Третьего концерта для фортепиано с оркестром.

Но убедить Лину посетить идиллическое пристанище оказалось нелегко. Сергей слишком долго пренебрегал Линой, на пять ее писем приходилось одно его, и Лина почти замолчала, только время от времени сухо делилась новостями об учебе. Сергей попытался наладить отношения, похвалив ее «очень эффектную» фотографию, но тут же все испортил, добавив нескромный комментарий Башкирова относительно ее декольте[135]. Лина неоднократно отказывалась приехать в Этталь, утверждая, что учеба в Миланской консерватории не оставляет ей ни минуты свободного времени и что она изменила свой взгляд на жизнь. Призвав на помощь философию, она надменно объяснила ему, что «для меня духовный Союз значит намного больше – примитивные игры имеют меньше значения, и если нет первого, то для чего второе?»[136].

К тому же, язвительно заметила она, жалко нарушить мир и покой на вилле «Христофорус», поскольку Сергей, его мать и Башкиров, похоже, довольны жизнью. «Так что, если я действительно решу взять отпуск, – написала она, – то короткий, не более нескольких недель… вот так стоит вопрос!»[137] Она даже пыталась поддеть Сергея. В то время он интересовался мистицизмом и упорно работал над финалом основанной на оккультизме оперы «Огненный ангел». Пытаясь взять верх над Сергеем, она сообщила, что читает Le Grand Secret Мориса Метерлинка – рассуждения о мистической доктрине о планах бытия. «Очень глубокие мысли. Ты читал?»[138] Нет, Сергей не читал, только видел пару отзывов.

Тон письма был нарочито деловым, а позже Лина заявила, что, несмотря на «признаки улучшения» их отношений, она должна освободиться от него[139]. Ее мать, написала Лина, не понимает, почему Сергей до сих пор не сделал ей предложение и почему она должна скрывать их отношения. Хотя слабое здоровье не позволяло Ольге писать письма чаще чем раз в месяц, она очень переживала за дочь. Мисс Спенсер, как и многие другие Линины друзья, тоже считала, что Сергей поступает с ней

непорядочно. Но, ссылаясь на слова других, Лина просто выражала собственные тревоги и желания. Она хотела выйти замуж. Сергей напомнил Лине то, что уже не раз говорил, – он посвятил себя музыке и не готов вступить в брак, раз его сердце молчит. Это было письмо от 9 июля 1922 года. Сергей нашел и другие отговорки. Скрябин и Вагнер не были официально женаты, но с уважением относились к своим возлюбленным, а кумир Сергея Стравинский напротив, изменял жене и с Коко Шанель, и с Верой Судейкиной. Далее Сергей решил перейти в нападение и усомнился в том, что Лина сама устоит перед соблазнами оперного мира.

Он не обещал сделать ей предложение или открыто объявить о своих намерениях. «Это возможно только для человека, который строит свою жизнь вокруг семейного очага, – написал он, – но слишком странно для человека, живущего в абстрактном мире звуков (и разве не поэтому ты любишь меня?)»[140] Сергей писал, что в союзе с ним Лина прежде всего ищет возможности «покрасоваться» – так Сергей охарактеризовал ее мечту об официальном статусе. Но если она к нему испытывает искренние чувства, то должна как следует подумать, прежде чем уходить[141]. Сергей согласился, что использовал ее, заставляя заниматься его делами и ухаживать за его матерью, но считал, что Лина тоже пользовалась им в своих интересах. Она продолжала цепляться за него, поскольку желание блистать в качестве возлюбленной знаменитого композитора оказалось сильнее чувства обиды и уязвленной гордости.

Однако в письме Лины было больше нюансов, которые Сергей не заметил. «Я должна чувствовать, что ты признал меня перед миром как свою избранницу», – написала она[142]. Речь шла вовсе не о тщеславии, которое Сергей насмешливо приписывал Лине, и не о желании похвастаться завидным мужем. Лине очень хотелось, чтобы он открыто признал их отношения, хотелось стоять рядом с ним, а не в стороне. Лине было необходимо, чтобы ее ценили. Воображаемая шахматная партия между ними длится два года. Лина могла одержать победу, разорвав отношения, согласился Сергей, но триумф может обернуться проигрышем. Пусть Лина проводит лето одна в «миланском пекле»[143], в то время как «я буду скучать в Эттале»[144] – сдержанная демонстрация недовольства со стороны Сергея.

Лина упорно сопротивлялась, тщательно анализируя приведенные им аргументы. «Я искренне ценю и люблю твою музыку, – написала она на слегка подзабытом русском языке, прежде чем перейти на слегка подзабытый английский, – но я люблю Сергея Прокофьева – человека, а не Сергея Прокофьева –

композитора. Если бы я любила тебя только за твою музыку, мне хватило бы твоих концертов. Купила бы ноты твоих произведений, нашла бы кого-нибудь, чтобы играл их для меня, – между прочим, это вполне реально»[145]. Лина считала, что их отношения неуместно сравнивать с шахматным турниром, поскольку фигуры – не плоть и кровь, а дерево и перемещаются по доске, не испытывая чувств. Она негодовала, когда Сергей сравнивал их роман с незрелым фруктом, «зеленым» или «кислым яблоком»[146], и защищалась от его нападок на свой характер. «Назвав мою любовь к тебе «желанием покрасоваться», ты невольно обвинил меня в том, что я тщеславное и пустое существо. Но, будь это так, я бы утратила к тебе интерес еще несколько лет назад. Не собираюсь бросать тебя, но если это и случится, то не отнюдь не из желания, как ты выразился, «удалить больной зуб». Затем она смягчила тон: «Мой мальчик, это неудачное сравнение»[147].

Сергей согласился, что был несправедлив, но не извинился и умолял Лину провести ein paar Wochen (несколько недель) в Эттали[148]. Но только усугубил положение, сказав, что надеется увидеть ее вновь «доброй и нежной пташкой», в которую он влюбился в Нью-Йорке, а не «летучей мышью, схватившей его за волосы». Создавалось впечатление, будто Сергей любит Лину, только когда та скрывает недовольство и пытается угодить ему[149]. Если же она не может быть мягкой и сговорчивой, косвенно предупредил он, то ничего не добьется. Несмотря на очередное оскорбление, она согласилась приехать. Лина намеревалась предъявить Сергею жесткий ультиматум, но за несколько дней до отъезда раздумала. Поездка была отложена на неделю из-за проблем с визой; у Лины был испанский паспорт, а жила она в Италии. Наконец все вопросы были улажены, и утром 7 августа она приехала в Мюнхен через Швейцарию. Сергей, встречавший Лину на вокзале, нашел ее более очаровательной, чем прежде, и был рад встрече с ней.

* * *

Они совершили двухчасовую поездку на поезде до Обераммергау. Этот очаровательный, пусть и несколько отставший от жизни баварский городок гордится своими традиционными ремеслами; магазины заполнены глиняной посудой и изделиями мастеров резьбы по дереву; фрески с изображением библейских сцен и сказочных сюжетов украшают дома в центре города. Обераммергау получил известность еще и

благодаря тому, что каждые десять лет, начиная с 1634 года, жители города устраивают спектакль-мистерию «Страсти Господни» в память о счастливом избавлении от чумы. Крестьяне молились о спасении и, очевидно, получили его, поэтому выражают свою благодарность, устраивая эти спектакли. Первые десятилетия спектакль «Страсти Господни» был событием местного значения. Но в XIX веке на представлении побывали все баварские короли, а Людвиг II в память об этом событии приказал возвести на близлежащей горе мраморное распятие Христа. После этого мистерии стали постепенно приобретать международную известность, увидеть их приезжали тысячи человек. На это время население Обераммергау увеличивалось практически в два раза. В 1910 году состоялось последнее представление, а следующее – только в 1922 году, на два года позже обычного, из-за экономического и политического кризиса в Германии. С 1900 года роль Христа исполнял местный актер и ремесленник Антон Ланг. Он въезжал на вновь отстроенную сцену на осле, который в обычное время пасся возле его мастерской. В 1922 году Лангу исполнилось 47 лет. Знатоки Библии и некоторые местные чиновники считали, что он староват для роли Иисуса. Тем не менее Ланг умел привнести в роль пафос, хотя и ворчал, как трудно висеть на кресте. Актер завоевал такую известность, что 17 декабря 1923 года его фотография появилась на обложке журнала Time.

Другие роли исполняли местные жители, родившиеся или прожившие в городе более двадцати лет, длинноволосые молодые люди, один или два младенца и стадо домашних животных. Некоторые одевались в традиционные крестьянские костюмы, придавая событию немецкий колорит. В ожидании огромных толп зрителей из-за границы город превратился в типичный туристический аттракцион. Появились вывески и указатели на двух языках, немецком и английском, открылись новый отель и несколько филиалов банка. Рядом со сценой продавали резные иконы. Голливуд предложил снять представление на пленку, но город сказал «нет». Боялись, съемочный процесс нарушит атмосферу праздника. Позже жителям Обераммергау начали предлагать гастроли.

Сергей с Линой сходили на представление. Восьмичасовое действо показалось Лине не столько таинством, сколько спектаклем, однако к концу представления дух дал о себе знать – началась сильная гроза. Они подружились с актером, который исполнял роль Понтия Пилата, местным доктором. Позже мать Сергея находилась под его наблюдением.

Этталь находится в четырех километрах к юго-востоку от

Обераммергау – приятная прогулка при хорошей погоде, но, как Лина узнает в рождественские праздники, добраться туда по глубокому снегу не так-то просто. Самой старой постройкой был монастырь, возведенный в XIV веке. Когда-то аббатство состояло из двух монастырей, мужского и женского, и даже дома тевтонских рыцарей. В 1744 году его превратили в закрытое учебное заведение, в которое во время Первой мировой войны композитор Рихард Штраус отдал своего сына Франца. Сергей и Башкиров посетили пивоварню при монастыре – считалось, что там производят лучшее пиво в регионе. Кроме того, они воспользовались гостеприимством монахов, одолжив у них водителя для поездок по горам.

Лина провела в Эттале август и сентябрь, и Сергей изо всех сил старался, чтобы она чувствовала себя как дома, даже выложил на подоконнике в ее комнате незабудки в форме буквы «Л». Он учил ее играть в шахматы, аккомпанировал на новеньком рояле, когда она пела его романсы на стихи Бальмонта, а также произведения Клода Дебюсси и Франсиса Пуленка[150], и рассказывал, как продвигается работа над «Огненным ангелом». Лина восстановила отношения с матерью Сергея, чье здоровье оставалось слабым, и научилась терпеть Башкирова, который ценил ее за внешность, нежели на личные качества. Играли в бридж, шахматы, занимались садоводством, играли в теннис на монастырских кортах. Сергей и Башкиров соревновались в переводе стихов.

Когда Сергей работал, внося коррективы в вокальные партии оперы «Любовь к трем апельсинам» и оркестровую сюиту «Шута», Лина проводила время в обществе двух монахов. Молодого звали отец Йозеф, и он безбожно заигрывал с Линой, когда приносил козье молоко. Он признался Сергею: «Однажды, когда я пришел в ваш дом, ваша жена проводила меня до двери, и, попрощавшись, я поцеловал ей руку»[151], Сергей простил его, с трудом сдерживаясь от смеха. Монаха постарше звали отец Исидор, он вел себя прилично, ограничив беседы литургическими вопросами.

К концу жизни Лина вспомнит еще один эпизод, случившийся в Эттале следующим летом. В мюнхенской газете они увидели рекламу электрического инкубатора. Экономка объяснила, что в районе дефицит яиц, и посоветовала купить инкубатор, который поставили на балконе, где обычно сушили промокшую одежду. По вечерам Сергей выходил на балкон, склонялся над инкубатором и, словно гордый будущий отец, наблюдал, не видно ли под скорлупой шевеления. Птенцы вывелись из двадцати одного яйца; они выглядели слабыми, не помогла и нагревательная лампа. По словам Лины, большинство цыплят не выжили, и она обвинила в

этом Сергея, не обеспечившего выводку правильный уход. Оставшихся цыплят Сергей отдал соседям. Осталось одно яйцо, и через несколько дней из него появился утенок.

* * *

Утром 7 октября отдохнувшая и временно избавившаяся от давних болей в животе Лина уехала из Этталя в Милан. Обратный путь преподнес нежелательный урок по экономике – немецкая марка катастрофически девальвировалась в сравнении с австрийской кроной. Но были и плюсы – попутчики оказались добры к Лине. Разведенный мужчина провел ее через таможню в Инсбруке без визы и в середине ночи устроил в гостиницу. Однако система железнодорожного сообщения в Италии вызывала лишь раздражение. Лина приехала в Милан на следующий день, в 15:00. Небо расчистилось, и, когда ее поезд прибыл на станцию, выглянуло солнце.

В доме номер 38а на улице Стелла Лину ждали десять писем, девять открыток – и новая соседка по квартире. Консуэло забеременела от Виктора Андоги, пара обвенчалась и переехала в Париж. Новой соседкой оказалась русская девушка Таня Калашникова. Честолюбивая пианистка не произвела на Лину впечатления хорошего музыканта – Таня плохо читала с листа. Однако соседка была свидетельницей событий, происходящих в России, от анархического неистовства революции до захвата Лениным власти во время Гражданской войны. Оказалось, что родной Танин брат, Георгий, живет в Тбилиси, а двоюродный, Михаил Карпович, работает в российском посольстве в Нью-Йорке. Карпович, как и Сталь, был членом Временного правительства, но после революции уехал в Вашингтон, а затем в Нью-Йорк, где работал секретарем в посольстве. Летом 1922 года большевики сместили его с должности. Опасаясь ареста, он не стал возвращаться в Россию и начал работать внештатным переводчиком и лектором. Ему предстояло сделать блистательную карьеру историка в Гарвардском университете[152].

Таня поделилась с Линой ошеломляющей новостью о создании в конце 1922 года Советского Союза, путем объединения РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) с Украинской, Белорусской и Закавказской республиками. Лина, в свою очередь, делилась информацией, полученной от Тани, с Сергеем – включая прогноз Таниного брата, что в течение пяти лет экономика СССР

стабилизируется. Сергей в ответ пересказал письма, которые начал получать от советских чиновников, упомянув поздравление по случаю премьеры оперы «Любовь к трем апельсинам». Кроме того, Сергей дал Тане рекомендации по поводу исполнения его музыки; она играла марш из «Трех апельсинов» – неплохо, по мнению Лины.

Вскоре к Лине с Таней присоединилась Маргарита Гард, меццо-сопрано, с которой Лина жила в замке Эммы Кальве. Она приехала в Милан, чтобы взять уроки у Джаннины Русс, и ее присутствие в квартире усилило доброжелательную атмосферу. Однако в декабре они узнали, что придется съехать, поскольку квартира понадобилась владельцу. Лина и Маргарита решили снять комнаты в пансионе, расположенном в доме номер 27 по улице Фрателли Бронзетти (via Fratelli Bronzetti), в получасе ходьбы от прежнего дома, а Таня поехала в Рим, чтобы повидаться с сестрой.

Единственными плюсами нового местожительства были чистота и относительно благоустроенный район. Вскоре Маргарита решила, что в центре жить намного увлекательнее и дешевле. Лина переезжать отказалась и вскоре заскучала одна; разнообразие вносили только случавшиеся время от времени походы с Маргаритой в Ла Скала. Соседи – с одной стороны жили молодые любовники, с другой – 16-летний пианист, фальшиво игравший с восьми утра до одиннадцати вечера, – лишили сна, и Лина была вынуждена сменить квартиру. Слякоть на улицах и моросящий дождь были под стать ее настроению. Она жаловалась на нервы, лихорадку и плохое самочувствие. «Ты знаешь, меня охватывает тревога – сильная тревога», – написала она Сергею по-английски, хотя письмо была на русском[153]. У Лины появилась привычка сначала писать о самом важном и личном по-английски, а обо всем остальном на русском или французском. Позже Лина стала делать с точностью до наоборот. Она не рассказывала, какое именно недомогание испытывает, но ходила на прием к неназванному специалисту, который ее успокоил и обнадежил.

В разлуке с Сергеем Лина снова усомнилась в его чувствах. Очевидный вопрос – насколько его волновало ее благополучие – потянул за собой другие. Лина попросила, чтобы Сергей честно рассказал о своих намерениях, но он только повторил свои слова о двойственном отношении к институту брака. Он, конечно, любит ее, но не может и не будет делать ей предложение. Он объяснил, что брак разрушает отношения. Что, спросил Сергей Лину, может быть приземленнее, прозаичнее слов «моя жена», «мой муж»?[154] Он либо не понимал, что именно эти слова она

стремилась услышать, либо желание Лины было ему безразлично.

Лина находилась в замешательстве. И в карьере, и в личной жизни перспективы были сомнительными. Она отказалась от приглашения Сергея приехать на Рождество в Этталь, поскольку планировала отправиться с Маргаритой в Берлин по приглашению выдающегося сопрано, поклонницы Вагнера Лилли Леман, автора классической книги по технике пения Meine Gesangskunst («Мое искусство пения»).

Но затем Лина узнала, что ее, возможно, пригласят выступать в Вероне, так что ни о каких поездках не могло идти речи. Лина погрузилась в репетиции. На несколько дней в Милан приехали счастливые влюбленные, Консуэло и Андога. Слушая воркование влюбленных голубков, Лина почувствовала себя еще более несчастной. Затем Маргарита рассказала о своем романе с художником Ла Скала Джованни Гранди, который недавно ушел от жены. Вскоре они поженились, и для сцены она взяла его фамилию. На оперных сценах Англии, Нидерландов, Венгрии, Италии и Египта Маргарита Гард выступала перед восторженными зрителями как мадам Маргарита Гранди.

Лине не суждено было повторить успех Маргариты, и в том мрачном декабре 1922 года ей пришлось смириться с тем, что мечта не сбудется. Предполагаемое выступление в Вероне не состоялось, поскольку оперу, в которой она должна была петь, заменили другой. Сначала Лина подумывала о возвращении в Париж, затем – в Нью-Йорк. Но потом пришла к выводу, что не стоит принимать поспешных решений. Ее оскорбленная гордость протестовала против поездки в Этталь, но в конце концов именно это Лина и сделала. Решение было вызвано упрямством. Кроме того, Лине не хватало смелости начать новую жизнь. К Рождеству она приехала на виллу «Христофорус» с подарками. Среди прочего она привезла матери Сергея фотографию Муссолини.

Сергей не ждал Лину, ведь отправленная из Милана телеграмма дошла уже после ее приезда, но воссоединение принесло облегчение обоим. Таким образом, 1923 год начался с радости. В следующий раз они встретились уже в феврале, в Милане. Сняли номер в отеле «Комо», рядом с вокзалом, и провели три дня в Милане, а затем еще два дня в Генуе. Сергей отправился в Испанию, но Лина не смогла его сопровождать, о чем искренне жалела. Сергею предстояло побывать на ее родине, или, как им обоим нравилось называть Барселону в письмах, в «ее городе». Во время короткой встречи в Италии их отношения окрепли, споры по поводу будущего были забыты – Сергей и Лина просто наслаждались настоящим. Когда он отправился в заграничное турне, Лина вернулась в пансион, решив во что бы то

ни стало покорить оперную сцену.

Лина не просто старалась угодить Сергею. Амбиции пробудили новости, полученные по почте и через общих друзей. От новостей голова шла кругом. Подруга Сергея, актриса Мария Барановская, известная как Фру-Фру, вышла замуж за пианиста Александра Боровского, который, как и Сергей, окончил Петербургскую консерваторию. Сталь и Янакопулос приезжали в Этталь и совершили путешествие по окрестностям. Сомов, как сообщала Ольга, переехал на Риверсайд-Драйв на Манхэттене и купил машину. Что касается более серьезных известий, то мисс Спенсер прислала письмо, в котором выражала сильное беспокойство относительно здоровья Ольги и предлагала Лине вернуться в Нью-Йорк. Мать Лины болела. Она «все еще бодра и сильна духом, однако очень слаба телом, – прочла в письме испуганная, встревоженная Лина. – Ты даже не представляешь, как ей хочется тебя увидеть, но твоей матери не по силам поездка в Европу. Мы все волнуемся и переживаем за нее, дорогая Линетта. Я, конечно, понимаю, что у тебя свои цели и идеалы. Но, дорогая малышка, ты выбрала трудный путь в трудное время»[155].

Ссылаясь на «трудное время», мисс Спенсер имела в виду политическое положение в Европе, а не личную жизнь Лины. 1923 год оказался временем событий, определивших ход истории – укрепление советской власти в России и на окружающих ее территориях; гиперинфляция в Центральной Европе; возвышение Муссолини и зарождение фашистского движения в Италии. Лина следила за новостями с праздным любопытством – ей просто нравилось чувствовать себя в центре событий. Однажды она видела Муссолини в компании короля Виктора-Эммануила III, который попросил Муссолини возглавить правительство Италии, чтобы предотвратить дальнейшие общественные беспорядки, последовавшие после всеобщей забастовки в апреле 1920 года, и не допустить прихода к власти коммунистов. Лина вспоминала, как 1 апреля в 08:30 утра пошла в центр Милана, чтобы посмотреть парад. «Король в парадной форме со своей свитой… Намного роскошнее, чем в прошлом году… Я хорошо разглядела короля и Муссолини, сидевшего рядом с ним в карете. Город был украшен… все были охвачены патриотическим пылом»[156].

Однако ее собственные дела, похоже, налаживались – по крайней мере, в отношении певческой карьеры. В середине февраля 1923 года Лина заключила контракт на три выступления в роли Джильды в «Риголетто», надеясь, что это окупит мучения, связанные с разучиванием сложной партии. В контракте упоминалась возможность участия в других операх, но ее

репертуар не соответствовал репертуару театра «Каркано». Театр был основан в 1803 году и находился на территории заброшенного монастыря. «Каркано» стал рекордсменом по количеству премьер и время от времени соперничал с Ла Скала за звание главного оперного театра Милана. Но увы, в начале XX века блеск этого драгоценного камня в короне миланской оперной сцены начал постепенно угасать[157]. Лину включили во второй состав, и она практически не принимала участия в репетициях с оркестром, но молодой маэстро работал с ней отдельно.

Однако предложенный контракт не слишком радовал Лину, поскольку в это время она боролась с простудой и была очень вялой. В некоторые дни она даже не могла встать с постели, уступая жалости к себе. Возможно, Лина страдала от депрессии. «Бывают времена, когда я ненавижу все человечество, и мне нравится быть одной, но вообще я думаю, что не предназначена для одиночества»[158], – уныло рассуждала она.

Таня пришла, чтобы забрать свои письма, и попыталась вовлечь ее в разговор, но Лина мрачно пошутила, что из-за насморка она стала обладательницей баса-профундо. Весь февраль ей досаждали отвратительная погода и шум карнавала. Наконец Лина рискнула покинуть квартиру, но нашла, что на улицах еще хуже, чем дома. Сердилась, когда ее осыпали конфетти, яростно пыталась выпутаться из серпантина и даже отказалась от приглашения на бал. Лина поняла, что жизнь в Милане ей совершенно опостылела.

Мысли о выходе на сцену вызывали больше беспокойства, чем радости. Лину предупредили, что, скорее всего, ее дебют состоится в первой декаде марта. Потом оповестили, что она появится на сцене 10 марта, а затем перенесли дату выступления на 15 марта. Сценический псевдоним «Лина Любера» на расклеенных по всему городу афишах только усиливал страх. Увидев афиши, директор музыкального издательства Ricordi пригласил Лину в свой кабинет и сказал, что готов написать рекомендательное письмо, которое поможет ей в дальнейших прослушиваниях. Лина нашла его излишне внимательным и пришла к выводу, что его намерения не столь чисты, как казалось на первый взгляд.

5 марта ее неожиданно вызвали в театр «Каркано» и сообщили, что заболела главная исполнительница роли Джильды, Марина Кампанари. 6 марта Лине предстояло выйти на сцену. Лина ужасно разволновалась, особенно когда выяснилось, что нет времени на репетицию с оркестром. Лучшее, что ей могли предложить, – это устроить генеральную репетицию под рояль с

дирижером. Кроме того, Лине надо было примерить костюм и парик, так что времени на отдых и раздумья не осталось. Следующим вечером она вышла на сцену и только тогда осознала, как сильно рискует.

Начало нельзя было назвать удачным. В 1-м действии во 2-й сцене во время дуэта с баритоном Артуро Ромболи, исполнявшим роль Риголетто, Лина вступила слишком поздно. В этой сцене Риголетто в исполнении Ромболи радостно воссоединялся с Джильдой, которую прятал от сластолюбивого герцога Мантуи. Лина отставала от музыки, а дирижер не сдерживал оркестр, чтобы подладиться под нее. Выровняться удалось только к середине арии. Все дело, решила она, было в баритоне, который почти оглушил ее – пел ей прямо в ухо. Ее недовольство Ромболи, скорее всего, оправданно. В миланской газете Corriere della Sera 3 марта была помещена рецензия на премьеру, в которой отмечалось, что Ромболи «склонен излишне ускорять темп, чтобы еще больше выставить напоказ свой голос, однако добивается прямо противоположных результатов, вместо мастерства демонстрируя огромное количество ошибок и неточностей»[159].

Неудача деморализовала Лину; она чувствовала себя разоблаченной с позором самозванкой. Однако она сумела взять себя в руки, и дуэт с герцогом, пытающимся соблазнить Джильду, был исполнен очень неплохо. Но от переживаний у Лины пересохло горло, и коронную арию о первой любви «Caro nome» («Сердце радости полно») она смогла спеть только в треть обычной силы. Лина полностью обрела голос только к концу 1-го действия.

В антракте между первым и вторым действиями она быстро переоделась и выпила две чашки кофе, надеясь, что это окажет благотворный эффект на голосовые связки. Горло так и осталось сухим, но петь Лина стала лучше. В третьем действии во время исполнения знаменитого квартера (Герцог, Маддалена, Риголетто, Джильда) она почти не ошибалась – по ее словам, «пропустила только одну ноту». Лина почувствовала себя спокойнее, и уровень ее актерской игры также улучшился[160]. Оставшаяся часть действия, заканчивающаяся трагической смертью Джильды, прошла благополучно. Риголетто, думая, что подосланный к герцогу наемный убийца выполнил задание, открывает мешок, ожидая увидеть тело врага, но обнаруживает внутри умирающую дочь. К концу спектакля Лина чуть не теряла сознание от усталости, и воспоминания об аплодисментах и вызовах на поклон у нее сохранились весьма смутные. Всего одна репетиция с оркестром позволила бы выступить без происшествий, сетовала она.

Дирижер Джованни Патти похвалил Лину, но посоветовал в следующий раз внимательнее следить за ним – это убережет ее от ошибок. Все исполнители, включая баритона, поздравили Лину с успешным дебютом, отметив, в частности, ее артистизм. Друзья повели Лину отпраздновать первый выход на сцену в ресторан Savini, расположенный неподалеку от театра, на Соборной площади. Она выпила стакан пива и съела несколько кусочков холодной курицы – необычное меню для праздничного застолья. Критики обошли вниманием ее неровное выступление, сосредоточившись на состоявшейся позже премьере с участием Кампанари. (Corriere della Sera похвалила Кампанари за «приятное», «отчетливое» и «изящное» исполнение[161].) К тому же скромные декорации и костюмы «Риголетто» в «Каркано» едва ли могли соперничать с новой великолепной постановкой «Бориса Годунова» в Ла Скала. В целом, несмотря на ошибки, Лина приобрела полезный опыт и поверила, что может чего-то добиться.

Следующие выступления должны были состояться 13 и 15 марта. Когда выяснилось, что ведущее сопрано выздоровела, Лину отстранили от участия в спектакле, назначенном на 13 марта, но затем прима опять заболела, и на сцене все-таки пела Лина. Она, конечно, расстроилась из-за этой неразберихи, но прекрасно справилась с дуэтом в первом действии и спектаклем в целом. Знакомые заверили Лину, что первое и второе выступления отличаются, словно небо и земля. Начинающую певицу даже упомянули в нескольких рецензиях. В результате Лина обеспечила себе ангажемент до конца сезона. 15 марта она уже не волновалась перед выходом на сцену, а в середине арии Caro nome из зала даже раздались одобрительные крики. Предупредительный баритон Ромболи, который дважды гримировал ее для спектакля, предложил поехать с ним в Перуджу, объяснив, что за выступление она получит деньги. Дирижер намекнул на возможность выступления в Генуе. Лина с самого начала понимала, что все это только планы. Так оно и оказалось. Театр «Каркано» завершил сезон другими операми, и турне не состоялось.

Однако складывалось впечатление, что карьера Лины на подъеме. 17 марта она позировала лучшему миланскому фотографу, и он сделал десяток фотографий Лины в разных костюмах. Ближе к концу месяца она опять обратилась к тому же фотографу, но получилась только половина снимков. В мае того же года ее фотографии были выставлены в Турине. В последний раз Лина вышла на сцену в роли Джильды 21 марта. Все прошло

благополучно, хотя в первом действии нервы снова дали о себе знать. «В этот раз, – по-английски написала Лина Сергею в конце месяца, – я в целом выступила неплохо. Надеюсь, что когда-нибудь я выступлю намного лучше и добьюсь настоящего триумфа»[162]. Лина хотела возобновить уроки с педагогом в Милане, чтобы расширить свой небогатый репертуар.

Сергей не был свидетелем ее скромного успеха. Тане было поручено в красках описать Сергею дебют Лины. Таня слушала оперу три раза и имела возможность встретиться с Сергеем во время его турне по Бельгии или Франции. Сергей объяснял свое отсутствие жестким графиком выступлений, Лина – проблемой получения «дурацких виз… черт с ними!»[163].

Проблема с визами встала в очередной раз в апреле, когда Лина убедила Сергея выступить вместе с ней в Милане. Она возобновила занятия в надежде получить приглашение на прослушивание, но никаких предложений не поступало. Для организации концерта Лина нашла поддержку в лице писателя и режиссера Энцо Феррьери, которого она считала настолько тяжелым на подъем, что чуть ли не за фалды притащила во Дворец Киджи в Риме. Необходимо было оформить визу для Сергея. Помимо этого, они должны были согласовать дату концерта, программу и стоит или нет делать антракт. Лина насмехалась над Феррьери, называя «беспомощным итальянским бизнесменом». К заслугам Феррьери она относилась безо всякого почтения… Oh, queste donne sono terribili (О, как ужасны эти женщины)! – кричал Феррьери, дергая себя за волосы[164].

Он предложил свой зал Il Convegno для проведения концерта. Il Convegno располагался рядом с Ла Скала на улице Боргоспессо (via Borgospesso), где теперь находятся дизайнерские бутики. Лина сходила туда на концерт клавесинистки Ванды Ландовски и поняла, что ее не устраивает акустика. Зал больше подходил для проведения дискуссий и чтения лекций; собственно, он и был предназначен для этой цели.

Составление программы концерта оказалось сложной задачей, поскольку Феррьери в последнюю минуту настоял на включении произведений Мусоргского и Бородина. Хотя окончательное решение было за Сергеем, Феррьери и Лина предварительно договорились о полуторачасовой программе, включающей романсы на стихи Бальмонта (Лина должна была петь по-французски); Сонату для фортепиано № 2; марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»; Токкату и одну из фортепианных пьес из цикла «Мимолетности». Феррьери предложил устроить концерт 27 апреля. Дата была идеальной – в Ла Скала в этот вечер спектаклей не намечалось, а значит, можно было

рассчитывать на внимание со стороны прессы. Этот концерт станет совместным выступлением Лины и Сергея. Первым и далеко не последним.

Лина надеялась, что Сергей приедет за несколько дней до концерта и задержится после, и тогда они сбегут из шумного и задымленного центра Милана и проведут вместе несколько дней в тихом пригороде. Сергей может сэкономить деньги, живя в ее квартире; рояль был хорошо настроен, и новые соседи были спокойными. Следующий концерт у него был в Париже, и Лина предложила Сергею поехать в Париж из Милана, не заезжая в Этталь. Сергей должен взять с собой смокинг, писала Лина, но мать следует оставить дома. «Поводов для ревности у нее нет, поскольку в Париж я с тобой не еду. Но тебе следует позаботиться о собственном удобстве. Подозреваю, она просто хочет приобрести новую шляпку и пару безделушек. Я могу купить все, что ей надо, и привезти в Этталь»[165]. Лине хотелось, чтобы в эти дни Сергей принадлежал только ей, и, чтобы уловка удалась наверняка, написала Марии Прокофьевой, спрашивая, какой размер шляпы ей нужен.

Феррьери не удалось добиться получения визы для Сергея, пришлось обращаться за помощью к русскому знакомому в Риме. Концерт вынужденно перенесли на начало мая. Но к 1 мая визы все еще не было. Прошла первая неделя мая, вторая, а визы все не было, хотя, по словам посредника, один из секретарей Муссолини утверждал, что все в порядке. «Твой Прокофьев, очевидно, опасный человек», – шутил Феррьери. И тут Лина удивилась, почему не догадалась раньше – итальянское правительство фактически перестало выдавать визы русским, чтобы помешать проникновению «коммунистической заразы»[166]. Выручили ее знакомые из Ла Скала, запустив бюрократическую машину, и в результате Феррьери назначил выступление «гвоздя программы» «Серджио Прокофьева» и «синьоры Любера» на 21:00 18 мая. Это был десятый, заключительный концерт сезона в Convegno. К счастью, дата вписывалась в график Сергея. Но, увы, из назначенного ранее договора было вычтено сто лир. С драгоценной визой Сергей прибыл прямо из Парижа, где выступал с циклом романсов на стихи Бальмонта.

К радости Сергея и облегчению Лины, концерт имел успех. Сергей сказал Сталю, что «не слишком надеялся, что потомкам Верди понравится моя музыка. Но это не имело значения, поскольку им понравились мы, и рецензии служат лучшим доказательством»[167]. Сталь и его жена, «примадонна» Янакопулос, получили вырезки из газет, и Лина была довольна, что наконец смогла блеснуть. Сталь признал, с трудом скрывая

зависть, что первое исполнение цикла из пяти песен для голоса и фортепиано в миланской программе принесло Лине признание.

К концу мая она была совершенно измотана. Лина пока не догадывалась о причинах своего состояния, однако ее жизнь вот-вот должна была измениться коренным образом… Сергей тоже чувствовал себя неважно: ныло сердце, ломило в груди, и врач отнес это на счет переутомления. Сергей поехал на виллу в Этталь. Там его ожидал желанный отдых. В июле пришло письмо от Сталя: «Ты ничего не хочешь сообщить своим приемным родителям?.. Баварские горы и баварское пиво привели тебя в состояние полного безделья?»[168] Сердце в конце концов перестало беспокоить Сергея, чему немало способствовали дни, проведенные среди одуванчиков. По словам Сергея, единственной музыкой, которую он слушал в Эттале, были «сладостные ритмы природы»[169].

Башкиров оставался в Эттале, но их дружба дала трещину, отчасти из-за нежелания поэта что-то делать по дому. Однако он был связующим звеном с Россией – Россией, которой больше не существовало, но по которой Сергей так тосковал. Этим объясняется его интерес к произведениям русских «мистических» символистов, оказавших огромное влияние на русскую культуру в период заката царизма, перед захватом власти большевиками. Сергей познакомился с двумя выдающимися поэтами-символистами: Константином Бальмонтом, который иммигрировал во Францию в 1920 году и на чьи стихи Сергей создал цикл из пяти песен для голоса и фортепиано, и Андреем Белым, который в 1921 году приехал в Германию, прожил там два года и вернулся в Россию. Его жизнь по возвращении превратилась в кошмар, когда Лев Троцкий в печати подверг его критике[170]. Сергей встречался с Белым несколько раз в Берлине в первой половине 1922 года; композитор выразил поэту свое восхищение поэмой «Первое свидание», которую Лина тоже оценила по достоинству. Лина неоднократно интересовалась у Сергея, какое впечатление произвел на него поэт и приезжал ли он, как обещал Сергею, в Этталь. Похоже, обещания Андрей Белый не выполнил.

Знакомство с Белым оказало влияние не только на самого Сергея, но и на «абстрактный мир звуков». Именно благодаря этой встрече Сергей наконец продвинулся в работе над оперой в пяти действиях «Огненный ангел», над которой столько бился в Эттале. В основу оперы положен одноименный роман Валерия Брюсова; прототипом одного из персонажей, графа Генриха фон Оттергейма, вне сомнения, является Андрей Белый. Сергей прочел роман в Нью-Йорке и решил, что это интересный, хоть и

непростой материал для оперы. Эта мысль превратилась для него в навязчивую идею. Композитор начал собирать по возможности наиболее полную информацию об этом одновременно автобиографическом, мистическом и историческом романе. Он хотел жить в Баварии отчасти из-за близости к месту действия романа: Кельн в период Святой инквизиции, Баварские горы, «Страсти Господни» в Обераммергау, собор в Эттале – все это было источниками вдохновения, как и Линины описания шумных миланских карнавалов.

В романе Валерия Брюсова легко угадывается реальный любовный треугольник: Белый, малоизвестная поэтесса Нина Петровская и эрудированный, плодовитый автор Брюсов. Действие происходит в закрытом для посторонних кругу «мистических» символистов, известных своим декадентским сибаритством. Оккультизм, наркотики и эпатаж были в их среде обычным делом. В результате они уже были не в состоянии провести четкую грань между жизнью и искусством. Самоубийства были распространенным явлением. Сергей не очень много знал об этом направлении. Он относился к следующему поколению, модернисты были прагматичнее декадентов. Но его трактовка романа Брюсова показывает искреннее желание воссоздать мистическую атмосферу посредством предельной звуковой насыщенности и драматической напряженности. Эта одна из наиболее сложных опер, когда-либо сочиненных, имела мало шансов увидеть сцену. Однако Сергей не терял надежды.

В романе Брюсов сплел воедино «реальное и воображаемое». Самого себя он изобразил в образе добродушного неудачника рыцаря Рупрехта, который влюбляется в прекрасную девушку по имени Рената, прообразом которой выступила Нина Петровская. Но Рената одержима прекрасным огненным ангелом по имени Мадиэль, прототипом которого был Андрей Белый. История заканчивается трагически. Рената, ушедшая в монастырь в надежде избавиться от видений, приговаривается инквизицией к казни. Рупрехт торопится спасти любимую, но та выбирает смерть. Рената стала трагической жертвой идеала, любви к нематериальному, сверхъестественному[171]. К удивлению Лины и Сергея, отчасти этот сюжет воплотится в жизнь 1928 году.

В Эттале Сергей подробно обсуждал оперу с Линой. Он играл на рояле партию Ренаты, а Лина время от времени подпевала. Так у Сергея возникла идея дополнить оперу вокальной сюитой. В полном соответствии с «мистической» символической манерой они перенесли творчество в жизнь, разыгрывая сцены из оперы во время прогулок по Этталю и окрестностям. Они продолжали вести споры о духовной и физической любви, но на сей раз речь

шла об опере. Это был романтический период в их жизни – возможно, самый романтический, который позволил Лине хоть ненадолго забыть о тяжелых испытаниях последних трех лет в Париже и Милане. В мае физическая сторона их отношений одержала верх над духовной. Лина узнала, что беременна. На половине срока, 8 октября 1923 года, Лина и Сергей поженились. Брачные обеты они произнесли в ратуше Этталя в присутствии бургомистра. Свидетелями были Башкиров и мать Сергея. Кроме того, присутствовали покровители искусств из Мюнхена, полковник Эвальд со спутницей. Церемония была ничем не примечательной, за исключением одной детали: Лина и Сергей были иностранцами. Полковник помог им выправить документы и получить разрешение на бракосочетание. В тот раз все благополучно устроилось, но в будущем тот факт, что Лина и Сергей иностранцы, сыграет роковую роль. Спустя много лет в Москве их брак будет признан недействительным по самой нелепой причине – он не был зарегистрирован в советском консульстве. Решение непостижимое, и отнюдь не в мистическом смысле этого слова.

Глава 5

Последние нескольких месяцев беременности Лина провела в тишине и покое пансиона в Севре. У нее родился сын – Святослав. Имя выбрал Прокофьев, хотя предпочел бы назвать сына Аскольдом в честь киевского князя, правившего в дохристианский период. Но Сергей побоялся, что ребенку откажут в крещении. Таким образом, молодые родители сошлись на имени Святослав, сочетавшем слова «святой» и «слава».

Беременной Лине пришлось провести три последних месяца в одиночестве. Сергей отправился в турне – Женева, Лондон, Париж – со своим Третьим концертом для фортепиано, в котором присутствовало больше энергии и темперамента, чем в небольших произведениях, в которых Сергей время от времени подражал французским композиторам, вдохновленным дадаизмом и джазом, – к примеру, Франсису Пуленку. В цирковом балете «Трапеция», написанном в 1924 году, ритмы менее острые и блюзовые линии сменяются чеканным, острым ритмом остинато. Опера «Огненный ангел», мрачная и «приглушенная» по колориту, и созданная в 1925 году Вторая симфония, по словам самого автора, кованная из «железа и стали», потерпели полное фиаско в Париже. Но Сергей пошел навстречу французской благопристойности и сдержанности, добившись чистого, прозрачного звучания, которое назвал «новой простотой». Он сравнивал то, что делал сам, с тем, что «делал Моцарт после Баха»: подчеркивал «более простую мелодичную составляющую»[172]. Диссонанс ради диссонанса вышел из моды. Несмотря на обращение к европейским композиторам, во время турне Прокофьева продолжали рекламировать как русского виртуоза, и сам Сергей любил говорить, что он дитя земли Русской – по крайней мере, до того, как ее перепахали большевики. Это был неоднозначный период в карьере Сергея.

Расходы и проблемы, связанные с переездами, раздражали его не меньше, чем пограничники, требующие предъявить визу и cartes d'identite, удостоверение личности. Сергей досадовал на недостаток внимания к его сценическим произведениям: Европа, например, с прохладцей отнеслась к его любимым операм, и у «Шута» была недолгая сценическая жизнь. Оставаясь по-юношески энергичным, Сергей, тем не менее, начинает подумывать о сокращении гастрольного графика, чтобы посвятить освободившееся время творчеству и семейной жизни. Кризис в отношениях с Линой, едва не приведший к разрыву в июле 1922 года, давно прошел; за первые месяцы супружества любовь Сергея

к Лине стала еще сильнее.

Мария Прокофьева оставалась в Баварии. Сергей надеялся перевезти мать во Францию и найти для нее хороший дом престарелых с медицинским уходом, но Мария не могла путешествовать из-за больного сердца. Она жила с Башкировым в скромном пансионе в Обераммергау – вилла в Эттале была продана владельцем в 1923 году. Сергей приехал в Обераммергау в феврале 1924 года и нашел мать в ужасном состоянии; временами она теряла способность говорить, не могла поднять голову с подушки, то погружалась в забытье, то снова приходила в себя. Сиделки предполагали, что ей осталось жить всего несколько дней, и Сергей боялся, что не сможет быть с Линой в Париже, когда придет время родов. Лина не уставала повторять, что о ней хорошо заботятся. Она понимала, что Сергей должен оставаться с матерью.

По совету врача Лины Сергей договорился, чтобы ее положили в больницу раньше срока – предполагалось, что роды придутся на последнюю неделю февраля или первую неделю марта. Лина хотела рожать в Американском госпитале во Франции, но цена комфортабельной палаты на двоих оказалась слишком высокой. К тому же Лина никак не могла подтвердить свое американское гражданство. Таким образом, ее врач, блестящий специалист Габриэль Буф де Сен-Блез, устроил Лину в госпиталь Святого Антония.

Мария почувствовала себя лучше, и Сергей вернулся в Париж, где со дня на день должна была появиться мать Лины, приславшая телеграмму, состоявшую из трех слов: «Приплыву примерно 20-го»[173]. Но измученная и встревоженная Ольга добралась до Франции только 24 февраля. Вполне естественно, что первым делом она спросила новоиспеченного зятя о самочувствии дочери. Беременность Лины была тяжелой. Однако им с мужем удавалось бывать в обществе, ходить в гости, и как-то на вечернем приеме они даже танцевали – платье с завышенной талией скрывало ее положение. Несмотря на угрозу преждевременных родов, Лина доходила весь срок. За два дня до родов Сталь затащил Сергея в кабаре на Монмартре, чтобы выпить дешевого шампанского за здоровье будущего ребенка.

Святослав родился в 08:45 27 февраля 1924 года. Муж Лины и ее мать были вместе с ней, но непосредственно при рождении ребенка не присутствовали; медсестры попросили их покинуть палату. В своем дневнике Сергей вспоминал, как играл с Линой в карты между схватками. Чтобы немного успокоить Ольгу, Сергей повел ее прогуляться. После того как ребенок появился на свет, врач поздравил Сергея, дал ему халат и проводил к Лине. Она

лоснилась от пота, была в полубессознательном состоянии и «без живота»[174], как записал Сергей в дневнике, перед тем как приступить к описанию процесса кормления грудью. Гасси Гарвин прислала в подарок 2000 франков и 3000 франков для оплаты опытных нянек, понимая, что Сергей будет настаивать на том, чтобы летом Святослав целый день находился с няней – рождение ребенка не должно было сказываться на работе отца. Кроме того, Гасси предложила стать законным опекуном Святослава – на случай непредвиденных обстоятельств.

Как только Лину и ребенка выписали, молодая семья переехала в квартиру на площади Чарльза Диккенса, дом номер 5, рядом с Сеной и садово-парковым комплексом Трокадеро. Сергей нашел квартиру через русского брокера, который потребовал 800 франков за трехмесячную аренду. Сергею ничего не оставалось, как согласиться, поскольку было ясно, что на старой квартире оставаться нельзя – они с Линой делили ее с подругой Сергея – актрисой Фру-Фру, Марией Барановской, и ее мужем Александром Боровским. Новая квартира была хорошо обставлена, из окон открывался вид на реку, но стены были тонкими, как бумага, и игра на пианино разбитной соседки, живущей этажом ниже, заставляла Сергея топать ногой по полу, имитируя аплодисменты[175]. Бренчание по клавишам мешало ему спать даже больше, чем крики и плач младенца. Сергей утешался мыслью, что у него нет срочной работы. Лина, чтобы дать мужу возможность выспаться и пресечь ночные походы по кинотеатрам и барам в компании Сталя, попросила мать найти затычки для ушей. Ольга оказывала огромную помощь по дому, но болезненно реагировала на самые безобидные комментарии. Лина сравнивала мать с мимозой… Стоит лишь слегка коснуться этого растения, как мелкие листочки сложного листа складываются, и черешок опускается вниз.

В течение месяца Лина не выходила из квартиры, поскольку не работал лифт, а после родов ей было трудно спускаться по лестнице. Когда лифт наконец починили, она отпраздновала это событие возвращением к изысканному облику. Лина хотела быть женой и женщиной, а не только матерью. Первым делом она пошла в парикмахерскую и сделала модную стрижку; теперь ее темные волосы, разделенные пробором, волнами ниспадали на плечи. Она вновь вошла в парижский музыкальный мир в апреле 1924 года: вместе с мужем пришла на прием, устроенный в доме основателя La Revue musicale Анри Прюньера. Лина оставляла Святослава на попечение матери и ходила с мужем на приемы, устраиваемые после концертов, в рестораны на правом берегу и в «Прюнье» с его великолепным устричным баром. Сергей гордился

светскими манерами жены, ее непринужденной манерой держаться в любом обществе и умением одеваться. Лина носила черные вечерние платья, шляпки-колокол и искусственный жемчуг от Шанель. Лина будто сошла со страниц журнала Vogue 1924 года. Лину приводили в восхищение стройные фигуры ведущих французских моделей, и она стремилась поскорее вернуться в прежнюю форму, чтобы никто не заподозрил, что она вообще когда-то была беременна.

Но период блаженства закончился, когда Прокофьев стал отдавать больше времени работе. В ту весну основное беспокойство вызывала у него подготовка к премьере Второго концерта для фортепиано с оркестром под управлением русского эмигранта Сергея Кусевицкого, который делал карьеру дирижера в Европе на средства второй жены[176]. Дебют Кусевицкого-дирижера в Берлине в 1908 году был организован на его собственные средства, как и его издательство Edition Russe de Musique и общество «Симфонические концерты Кусевицкого» в Париже. Прокофьев по собственному горькому опыту знал, что «кускус», как он называл Кусевицкого, не был великим дирижером, но тем не менее Прокофьев использовал его в своих интересах и в Париже, и в Бостоне, где Кусевицкий дирижировал его Вторым концертом для фортепиано с оркестром осенью 1924 года.

Рукописная партитура концерта осталась в России, когда в 1918 году Сергей отправился в Соединенные Штаты, но была уничтожена во время разгрома, устроенного в его бывшей квартире. Сергей принялся за восстановление концерта, стараясь исполнять самые громкие пассажи, когда соседка, жившая этажом ниже, была дома, но адский шум сильнее подействовал не на соседку, а на мать Лины, ускорив ее отъезд в Соединенные Штаты; она уехала из Парижа 24 мая 1924 года. Ольга вернется в конце 1925 года, а отец Лины, Хуан, приедет весной 1926 года.

На лето Сергей снял дом в Сен-Жиль-Круа-де-Ви, неподалеку от курорта Кот-де-Люмьер, где Сергей с Линой были в 1921 году. Мать Сергея советовала Лине на лето оставить Святослава на чьем-нибудь попечении, но одна мысль о том, что она покинет грудного ребенка на несколько месяцев, заставляла Лину заливаться слезами. Было решено на деньги, подаренные мисс Гарвин, нанять няню на все лето. Они переговорили со многими женщинами, которых присылали из бюро по найму, пока не остановили свой выбор на мисс Макк, норвежке по происхождению, которая была, как заметил Прокофьев, «… приятная, чистая и скромная». Мать Сергея и Башкиров приехали

в Париж, чтобы вместе с семьей Сергея отправиться в Сен-Жиль. Сергей тревожился за здоровье Марии, но как только она вышла из поезда, стало ясно, что опасаться нечего. Все успокоились, увидев, что она может ходить без посторонней помощи. Мария сразу потребовала, чтобы ей показали внука, которого она до этого предлагала не брать в поездку.

23 июня, несмотря на не по сезону холодную погоду, они поехали в Сен-Жиль, оставив Башкирова в Париже практиковаться в искусстве безделья там, где любил бывать Эрнест Хемингуэй, – в кафе[177]. Это были недорогие заведения, притягательные для нищих писателей, и Башкиров продолжал обращаться за финансовой помощью к Сергею. Лина никогда не могла понять привязанности мужа к этому поэту. Возможно, общение с Башкировым помогало Сергею чувствовать себя ближе к России, с которой Прокофьева соединяла неразрывная связь. Сергей говорил, что скучает по друзьям детства и старается поддерживать с ними отношения. Он считал, как это ни парадоксально, художественный мир Франции лишенным многих важных свойств по сравнению с петербургским, который остался в его памяти. Сергею было неинтересно в интеллектуальных богемных кругах и на роскошных приемах, которые до 1923 года устраивали в своей квартире на rue Monsieur Коул и Линда Портер[178]. «Русский балет», не утративший блеска даже в соперничестве с «Летучей мышью» и новомодным «Шведским балетом», сохранял ведущее положение, но Сергею не нравился откровенный лесбийский балет Пуленка Les Biches («Лани»), поставленный Дягилевым. Ни тема полной вседозволенности, ни хореографическая сатира не произвели на Сергея никакого впечатления[179].

Башкиров, как и Сталь, напоминал Сергею об ужасных событиях, творившихся в России. В отличие от Сергея поэт не испытывал тоски по дому, хотя часто посещал заведения, где собирались левые. Прокофьев обходил стороной подобные места, в частности, кафе «Ротонда», дом вдали от дома для революционеров-марксистов и любимое место пресытившейся развлечениями богемы. Лина и не подозревала о ностальгических настроениях Сергея, проявлявшихся только в язвительных высказываниях относительно парижских соперников и жалобах на постоянные переезды. Сергей скучал по России, ее наследии и культуре, в которой черпал вдохновение, по Союзу композиторов-единомышленников. Тоска усиливалась во время ежедневных длительных прогулок по набережным мимо продавцов книг и рыбаков, когда он быстро записывал в блокнот мелодии, пришедшие в голову, и размышлял о высоком. Сергей не мог

больше находиться в тени Стравинского. Необходимо было что-то менять.

В октябре Башкиров помог Прокофьевым снять большой зимний дом в Бельвю, в пятнадцати минутах езды от Парижа. Затем он исчез из их жизни, по слухам пристрастившись к азартным играм. Позже Башкиров работал водителем и вступил в фашистскую партию, образованную русскими эмигрантами.

В дневнике Сергей написал, что рядом с домом в Бельвю есть «удивительный сад с огромным количеством цветов. Несколько довольно больших комнат, остальные маленькие, лестницы узкие, всюду ступеньки, помещений много, и все расположены самым диковинным образом. Дело в том, что нынешнее здание состоит из трех соединенных вместе домов»[180]. В готическом саду обнаружились урны и саркофаги, которые, по словам владельца, по стоимости могли сравниться с самим домом. Сохранилась фотография, сделанная в саду. Лина в белой юбке и блузке положила руку на спинку плетеного стула. На круглом лице улыбка, которую не назовешь веселой – возможно, жизнь в пригороде нравилась ей меньше, чем мужу. Сергей, с поредевшими волосами, тоже весь в белом, улыбаясь, стоит с другой стороны стула. Они с Линой только что вернулись с корта, где играли в теннис. Его мать сидит на стуле в черном шерстяном платье, укутавшись в шаль. Она держит на руках Святослава, которому восемь или девять месяцев, но в камеру не смотрит. Это последняя сохранившаяся фотография Марии, которая умерла 13 декабря 1924 года от сердечного приступа. Сергей записал в дневнике: «В 12:15 утра мама умерла у меня на руках»[181]. До конца года он не сделал больше ни одной записи. Чистые страницы свидетельствовали о постигшем его горе. В течение нескольких месяцев он скрывал свои чувства – и даже сам факт смерти матери – от тех, кто справлялся о ней.

Сергей нашел утешение в вере, которую открыл для себя прошлым летом, – Христианской науке. Лина вступила в члены церкви Христианской науки раньше мужа, благодаря пожилым знакомым из Севра, англичанам мистеру Прайсу, мистеру и миссис Уэйд и нескольким дамам и господам, имена которых неизвестны. Она стала регулярно посещать собрания общины после рождения Святослава, когда сильно похудела и страдала от мучительной послеродовой депрессии. Заботу о ней в июне 1924 года взяла на себя христианский практик, уроженка Бостона, Кэролайн Гетти, которая обучала Лину позитивному мышлению и рассказывала о методах, которые позволят отвлечь ее внимание

от смертного тела и привлечь к бессмертному уму и его связи с Богом. Увидев в своем опыте отражение Божественного материнства, Лина будет исцелена. «Не думай о теле, – написала Кэролайн Лине в конце июля. – Тело не может чувствовать. Ты не должна думать о теле – оно же не думает о тебе»[182]. Афоризмы сопровождались ссылками на Священное Писание и предложением читать учебник, который она рекомендовала своим подопечным[183].

Гетти работала в центре Парижа в Комитете по публикациям церкви Христианской науки, но у нее был дом в Севре, где она, говорят, исцелила господина Прайса от болезни сердца – или, по крайней мере, так заявлял господин Прайс, хотя из-за старческого слабоумия он не помнил подробностей. Гетти представила Лину другим практикам и членам местной общины Христианской науки во второй научной Церкви Христа в Париже на бульваре Фландрен, 58. Позже практик Ив Крейн вошла в жизнь Сергея и Лины, как и Лоренс Аммонс, которому суждено оказать на супругов важное влияние.

Сергей долго отказывался принять идеи Христианской науки в силу их иррациональности, но благодаря Лине обнаружил, что в отдельных аспектах она опирается и на здравый смысл тоже. Христианская наука представляла Вселенную в виде часового механизма. Сергей встречался с практиками и в результате с бóльшим энтузиазмом, чем Лина, занялся самолечением. Он жаловался Гетти на беспричинные острые боли в руках и ногах, голове, груди. Сергей подсчитал, что невралгия беспокоит его три раза в месяц на протяжении десяти лет, и опасался за здоровье сердца. Гетти обещала, что поможет ему справиться с болезнями. Она принесла ему экземпляр основного учебника Христианской науки, книгу Мэри Бейкер Эдди «Наука и здоровье, с ключом к Писаниям», объяснила Сергею несколько основных идей и попросила, чтобы он рассказал, что усвоил из прочитанного.

Сергей ушел от нее обнадеженным и предложил 30 франков вместо двадцати, которые она обычно брала за сеанс. Следуя рекомендациям Гетти в течение лета и осени, Сергей почти избавился от головных болей. Христианская наука постулирует, что болезнь есть лишь иллюзия, происходящая от недостатка духовной гармонии. Медитация не устраняла боль полностью, но значительно уменьшала ее, и Сергей даже мог иногда бороться с простудой. Однако ему не удалось улучшить зрение, а ведь благодаря Христианской науке Сергей хотел научиться обходиться без очков. Неудача компенсировалась тем, что вера, похоже, помогла умерить его взрывной характер. Осознав, что споры с женой зачастую бессмысленны, Сергей решил перестать

воевать с Линой. В одном из писем Ольге, набожной католичке, он пишет: «…если бы Вы только знали, какую роль сыграла Наука в моих отношениях с Пташкой, Вы бы смогли оценить ее значимость»[184]. Правда, предотвратить все ссоры религия оказалась не в состоянии – у супругов возникли серьезные разногласия, когда Лина захотела вернуться на сцену. О Святославе заботилась няня, Лина чувствовала себя хорошо и снова была в отличной форме. Хотя она поняла, что никогда не станет оперной примадонной, однако надеялась, что сможет выступать в концертах своего мужа. Сергей был против, не желая делить с ней славу. Кроме того, его требования намного превосходили ее возможности. Лина продолжала настаивать, и муж, не желая больше ссориться, в конечном итоге сдался. Он пообещал, что время от времени они будут выступать вместе.

Постепенно Прокофьевы утратили интерес к самоизлечению, но их преданность Христианской науке только возросла. После переезда осенью 1924 года из Сен-Жиля в Бельвю Прокофьевы стали регулярно посещать лекции для прихожан. Сергей предпочитал их церковным службам в Париже, поскольку не выносил любительского пения. В своем дневнике он вспоминает непрофессиональную певицу-сопрано, мурлыкавшую что-то невразумительное из-за некоего подобия занавеса. Ее вибрато было столь же ужасно, как музыка, сочиненная неизвестным американцем. Псалмы были лучше, поскольку их архаично звучащие мелодии были заимствованы из Йозефа Гайдна, но Сергей считал, что музыка больше отвлекает, чем настраивает на торжественный лад. Сергей подумывал о том, чтобы самому переложить на музыку несколько религиозных текстов, но так и не претворил замысел в жизнь.

Знания, почерпнутые на лекциях, зачастую влияли на решения, принимаемые Линой и Сергеем как в работе, так и в быту. Впрочем, религиозная мораль, так привлекавшая супругов, зачастую перекликалась с идеями континентальной философии. Сергей, в юные годы изучивший немало трудов философов-идеалистов, написал в дневнике о некоторых обнаруженных сходствах. Он пришел к выводу, что утверждение Мэри Бейкер Эдди, о том, что мир устроен намного сложнее, чем нам представляется, и многое в нем непознаваемо, недоступно нашему пониманию, восходит к философии Иммануила Канта. А обнадеживающее утверждение относительно ложности смерти роднит Христианскую науку с философией Артура Шопенгауэра.

Самым оптимистичным и привлекательным был принцип Христианской науки о вечной, беспредельной любви, в то время

как зло – конечный, временный продукт материального мира. Сергея привлекала эта идея, хоть он и считал ее парадоксальной. Если зло – материальный продукт, созданный человеком, но в то же время человек является отражением Бога, то как и почему существует зло? Причина в том, что человек в погоне за свободой отвергает Божью благодать, категорично отвечала Эдди. Материальное существование всего лишь фаза в вечной и бесконечной жизни духа. Чтобы преодолеть искушения плоти, которые порождают зло, нужно не терять связи с божественным.

Сергея вдохновляла мысль, что если он, художник, является отражением Бога, то и его искусство тоже. То есть в его «земной» музыке присутствует божественное, духовное начало. Зачастую, приступая к сочинительству, он просматривал старые блокноты в поисках музыкальных идей, которые могли пригодиться. Среда не имеет никакого значения, потому что его музыка, горделиво рассуждал Сергей, существует вне времени и пространства.

Некоторые из самых совершенных мелодий приходили к нему, когда он находился вдали от стола или рояля – прогуливался, играл в бридж, спорил с Линой или нянями Святослава, встречался с русскими друзьями-эмигрантами или с агентами и издателями. Сергей был не в состоянии сосредоточиться на других делах, пока не запишет пришедшую на ум мелодию.

В целом влияние Христианской науки на творчество Сергея можно охарактеризовать как положительное, за исключением оперы «Огненный ангел». В ней по сюжету должны были происходить сверхъестественные события, но Христианская наука ничего подобного не признавала. Проблематичен оказался и баланс между силами добра и зла. Сложная для исполнения и восприятия опера не сразу нашла путь на сцену. Сначала Сергей пытался поставить ее в Париже. Когда это не удалось, он задумал поставить ее в Берлине, но, когда провалилась и эта попытка, решил поставить оперу в Нью-Йорке.

Эти неудачи после нескольких лет тяжелейших усилий убедили его в том, что «Огненный ангел» проклят. Отказы в постановке оперы по практическим и художественным соображениям были к тому же сильнейшим ударом по его профессионализму – это наводило Сергея на мысль, что его время на Западе заканчивается. Он выражал недовольство работой своего заваленного работой секретаря Георгия Горчакова, из-за переутомления допускавшего ошибки в партитуре. Кроме того, Сергей никак не может разрешить конфликт между оперой и религией. «Из-за Христианской науки я полностью утратил интерес к теме, и меня больше не привлекают истерические

припадки и сатанинская радость», – сетует Сергей[185]. Он даже подумывал о том, чтобы предать свое творение сожжению, но Лина отговорила мужа, заявив, что в опере слишком много новаторского, чтобы уничтожать ее. Прокофьев послушался совета Лины и впоследствии переработал музыку «Огненного ангела», создав свою Третью симфонию.

В это же время Сергей занимался другим проектом, совершенно приземленным, – балетом на тему советской жизни по заказу Дягилева. Цель состояла в том, чтобы воспеть союз человека и машины, сходство между функционированием человеческого тела и советских заводов. В то время, когда Сергей обдумывал проект балета, изображавшего жизнь в Советском Союзе, с ним вышли на связь советские представители по культуре в Париже. Сергей всегда интересовался тем, что происходит на родине, ему было мало новостей, которыми делились в письмах друзья из России, и он попытался наладить контакт с советскими дипломатами, что совпадало с их собственными интересами. В 1920-х годах Сергей был вовлечен в деятельность организации под названием Всероссийское общество культурной связи с заграницей (ВОКС)[186]. Организация занималась культурным обменом, а заодно и шпионской деятельностью.

В июле 1925 года в Париже Сергей, придя в гости к Йожефу Сигети[187], познакомился с недавно приехавшим из Москвы Борисом Красиным[188]. В присутствии Красина в Париже не было ничего необычного или примечательного, за исключением того, что он служил под началом Анатолия Луначарского, который разрешил Сергею уехать в 1918 году из России на Запад. При Ленине Луначарский был назначен наркомом просвещения и оставался на этой должности при Сталине, преемнике Ленина. Позже Лина видела Луначарского, его вторую жену, актрису, и дочь жены от первого брака в Москве и Ленинграде в 1927 году. Луначарский показался ей слабым стариком, пережитком аристократической интеллигенции. В 1933 году Сталин решил сместить Луначарского с поста и отправил его послом в Испанию, но Луначарский умер до вступления в должность.

Сергей считал, что встреча с Красиным была случайной, но на самом деле она была специально подстроена. Красин, получив инструкции от высокопоставленных членов советского правительства, приехал в Париж с особым заданием. В апреле 1925 года Луначарский направил Сталину письмо с просьбой разрешить ему выезд за границу с целью восстановления культурных отношений с Западом и привлечения на свою сторону

талантливых русских эмигрантов, которые приобрели мировую известность. «Нет никакого сомнения, что мой приезд в Европу оживит эти отношения и что я получил бы много возможностей крепче связать нашу культурную жизнь с европейской, в то же время ни на волос не снижая нашего советского достоинства… Несколько меньшее значение, но все же несомненное имеет то обстоятельство, что среди заграничной эмиграции есть значительное количество высокоталантливых людей. Некоторые из них приобрели настоящую мировую славу. Возможно, что некоторые из них с удовольствием вернутся в Россию… Я совсем не желаю возвращать на родину ни эмигрантов вообще, ни тех выдающихся людей, которые чувствуют себя враждебными к нам эмигрантами, но выдающихся людей, держащихся далеко от нас по недоразумению и неопределенному страху, связать с нами вновь, конечно, хорошо».

Неизвестно, как отреагировал Сталин на просьбу Луначарского, но летом 1925 года ЦК Коммунистической партии принял решение пригласить в Советский Союз Прокофьева, его соперника Стравинского и мужа Фру-Фру пианиста Боровского. Спустя три дня после принятия решения помощник Луначарского Борис Красин уже устраивал в Париже встречи с теми, кого было решено пригласить в Советский Союз. Прокофьев ничего не знал о закулисных махинациях. Лина, разумеется, тоже.

Красин приехал не один. С ним был молодой, самоуверенный помощник, товарищ Тутельман, который показался Сергею настоящим коммунистом, «агентом Москвы»[189]. У Красина было дружелюбное, но измученное лицо, и он тупо повторял одно и то же, хотя и пытался придать своим словам убедительность, блеснув красноречием. Но усилия давались нелегко: от напряжения он морщил нос, словно попробовал что-то кислое. Красин был противником буржуазной музыки и представился настоящим борцом за музыку для народа – заявление, заинтриговавшее Сергея, хотя некоторые его произведения, такие как «Огненный ангел», не вписывались в эту категорию.

Прокофьеву и его очаровательной жене пора приехать в Москву, заявил Красин. Он вручил композитору подписанное и скрепленное печатью письмо ЦК ВКП(б). Красин показал Прокофьеву драгоценный документ лишь на долю секунды, потом поспешно сложил его. Для усиления эффекта Красин продекламировал письмо вслух. Приглашение поступило от юбилейной комиссии ЦК по празднованию двадцатилетия революции 1905 года, которая, как было известно Сергею, не была революцией и не ограничилась 1905 годом. Это была волна

протестов, которая поднялась в декабре 1904 года в Санкт-Петербурге и прокатились по всей России, что в результате привело к дестабилизации царского правительства и ускорило принятие либеральных реформ. Советы считали это событие предвестником революции 1917 года, поэтому его юбилей заслуживал пышных торжеств.

От имени Центрального комитета Красин попросил Сергея сочинить музыку к кинофильму о событиях 1905 года. Он заверил композитора, что, если ему трудно сочинить музыку для всего фильма, будет вполне достаточно увертюры и одной-двух небольших пьес. Красин добавил, что на празднование юбилея, которое будет проходить в Москве в Большом театре, съедутся представители со всех концов Советского Союза.

Предложение было даже слишком заманчивым, но Сергей не мог его принять. «Согласие будет означать, что я поддерживаю большевизм, а значит, придется распрощаться с перспективами в буржуазных странах», – подумал он[190]. Однако предложение нужно было отклонить деликатно. Сначала Сергей попытался заставить Красина отказаться от этой идеи, дерзко заявив, что рассчитывает на «крупное вознаграждение», на что Красин ответил: «Конечно же мы заплатим». Тогда Сергей зашел с другой стороны. «В какой срок я должен завершить работу?» – спросил он. «К Новому году». – «О, тогда, боюсь, вы пришли слишком поздно. Видите ли, я только что согласился написать балет для Дягилева. Я не в состоянии одновременно заниматься и тем и другим, а отказывать Дягилеву нельзя»[191]. Однако Красин попросил обдумать его предложение, и они договорились встретиться через два дня.

Дипломатические отношения удалось сохранить благодаря Тутельману, который с мрачным видом предложил Сергею выступить с концертами в Москве, Ленинграде и других городах – в общей сложности десять концертов, Прокофьеву предоставляли право самому назначить цену за выступления. Сергей пожелал узнать, какая сумма устраивает приглашающую сторону, и Тутельман предложил 200 долларов за концерт или 150 долларов плюс 25 процентов от выручки. Сергей решил, что это предложение тоже не может принять. Его график был расписан до 1926 года, и, кроме того, ему нужны были письменные гарантии, что по окончании турне ему разрешат выехать из Советского Союза. Красин, кивнув в знак согласия, спросил: «Я правильно понял, что вы не против поездки в Советский Союз и мы можем объявить в прессе, что вы планируете приехать?» – «О, конечно», – ответил Сергей[192].

Сергей продолжал обдумывать предложение, не спеша

связывать себя обязательствами. В письме Красину от 28 июля 1925 года Сергей сообщил, что у него очень много работы, поэтому он не успел обдумать советские предложения. Тем не менее новости о том, что Прокофьев проявил интерес к приглашению, быстро достигли Москвы. В августе Сергей получил письмо от Надежды Брюсовой[193], помощницы Луначарского, в котором она обрисовала в общих чертах условия въезда и выезда из Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, которую Прокофьев называл «Большевизией»[194]. Композитор Стравинский и пианист Боровский тоже получили письма. «Правительство дает согласие на Ваше возвращение в Россию. Оно согласно простить Вам все прошлые нарушения, если такие были. Но правительство не сможет простить за контрреволюционную деятельность в будущем. Вам гарантируют полную свободу перемещения, въезд и выезд из РСФСР, по Вашему желанию»[195]. Сухой, формальный тон, в котором было написано письмо, не мог не оскорбить Стравинского и Боровского, хотя последний согласился на краткосрочный визит. Прокофьев начал серьезно взвешивать все за и против. Несколько лет спустя Лина сокрушалась, насколько они оба были неинформированными.

Сергей и Лина стали все чаще задумываться о перспективе поехать в Россию. Планы Сергея даже сказались на совместной работе Сергея с Дягилевым и художником-конструктивистом Георгием Якуловым над балетом «Стальной скок», новой работой для «Русского балета».

Якулов задумал грандиозное, фантастическое действо, намереваясь показать три взаимосвязанные сферы деятельности, каждая из которых характеризовала одну из особенностей большевизма: рынок на Сухаревской площади, предприятие в условиях НЭП (новой экономической политики) и завод или сельскохозяйственную выставку, символизирующие перерождение российского общества. Все это характеризовало годы, последовавшие за революцией и Гражданской войной; балет должен был рассказать о строительстве прекрасного нового мира.

Во всяком случае, таков был замысел. Пока Сергей писал музыку, которую хотел сделать мелодичной, несмотря на то что действие второго акта происходило на заводе, Якулов разработал эскизы декораций и написал либретто. Все материалы были переданы Дягилеву, который, после долгих колебаний, пришел к выводу, что сюжет не произведет впечатления на легкомысленно настроенных зрителей. Он поручил своему протеже, Леониду Мясину, переписать либретто и продумать хореографию[196]. Когда в 1927 году состоялась премьера балета, Сергей был

неприятно удивлен. Вместо того чтобы показывать разрушение старого, царистского миропорядка и замену его новым, революционным, балет преследовал совсем другую цель. В первом акте на сцену вышли герои русского фольклора, смутно напоминающие второстепенных персонажей балетов Стравинского «Жар-птица», «Петрушка» и других постановок «Русского балета» Дягилева. Новые музыкальные номера, в которых перед зрителями предстали Баба-яга и крокодил, графини на рынке, моряк и три черта, кот и кошка, моряк и девушка-рабочая, поставили критиков в тупик, равно как и «Легенда о пьянице».

«Стальной скок» стал пародией на то, что должен был прославлять: совместное создание нового мира, гармоничную рабочую обстановку, коллективный труд. В хореографии Мясина завод выглядел как тюрьма, а технический утопизм представал как обман. Большинство рецензентов пришли к выводу, что балет выражает протест против сталинских пятилетних планов по ускорению развития промышленности. Но Сергей вовсе не хотел обижать своих потенциальных покровителей в Советской России и даже не думал о том, чтобы выдвигать антисоветские лозунги. Балет допускал двоякое толкование, но Сергей не мог допустить, чтобы его позиция вызывала хоть малейшие сомнения. В дневнике Сергей записал: «Придерживаться нейтралитета, угождая сразу обеим сторонам, невозможно, поскольку современная Россия характеризуется борьбой красных и белых: нейтральная позиция не будет отражать время. «Или с нами, или против нас», ни одна из сторон не примет компромисса»[197].

А пока Сергей был занят творчеством и решением проблем, связанных с возможным визитом или даже переездом в Москву, Лина приспосабливалась к роли матери семейства. Ее муж предавался фантазиям о том, как при помощи музыки объединит Запад и Восток, а Лина в это время нанимала и увольняла нянь и пыталась наладить быт, но сделать это было трудно из-за постоянных переездов. Лина тревожилась из-за нехватки денег, хотя Сергей обещал, что средств у них будет более чем достаточно. Он утешал ее рассказами о потенциальных доходах от концертов в России. Лина давно забросила карьеру и, естественно, ничего не зарабатывала, но продолжала следовать парижской моде, не жалея средств на наряды. Мысль о совместных турне по-прежнему приводила Сергея в ярость. Похоже, сбывалось мрачное предсказание миланского педагога по вокалу. Когда Лина сообщила, что выходит замуж, он заявил: «Ваша карьера окончена. Неужели не понимаете, за какого

музыканта выходите замуж? Un musico tremendo, великий композитор»[198]. (Она процитировала своего педагога на испанском, а не на итальянском, хотя довольно долго жила в Милане.)

Когда Нина Кошиц приехала в Париж, чтобы исполнить прокофьевские «Песни без слов», соперничая с Верой Янакопулос за внимание в светских салонах, она посоветовала Лине вернуться к пению. Впрочем, предложение прозвучало издевательски – несмотря на все усилия, Лина так и не смогла получить приглашение в блестящий салон Виннаретты Зингер, известной как принцесса де Полиньяк, наследницы империи швейных машинок «Зингер». Сергей, который познакомился с Полиньяк в 1920 году, помог Лине выбрать несколько новых песен Дебюсси, испанского композитора Мануэля де Фальи и московского композитора Николая Мясковского, близкого друга Сергея. В конечном итоге в ее репертуар вошли «Круги» Мясковского на стихи Зинаиды Гиппиус, «Жук» Мусоргского из вокального цикла «Детская», «Голубь» Стравинского на стихи Бальмонта и колыбельная Римского-Корсакова. Лина начала заниматься, и, когда голос обрел прежнее звучание, она выступила не в Париже, а во время турне с мужем по Соединенным Штатам. Турне, состоявшееся в январе – феврале 1926 года, организовал основатель американского общества Pro Musica, французский пианист Элиа Роберт Шмитц.

* * *

Несмотря на то, каких трудов Лине стоило вернуть форму, на турне она согласилась неохотно – возможно, из-за боязни сцены или нежелания оставлять Святослава на такой длительный срок. Свое недовольство она высказала во время ссоры с Сергеем на борту французского лайнера De Grasse при подходе к Нью-Йорку в канун Нового года. После прохождения таможни Прокофьевых встречала жена Шмитца, Жермена, которая сообщила Лине, что концерты, которые они дадут с мужем, покроют все расходы, связанные с путешествием. Это успокоило Лину, хотя Сергей выглядел недовольным. Сергея раздражали «мелочные» заботы Лины, и он записал в дневнике, что успех или провал турне будет зависеть не только от ее пения, но и от настроения. На тот случай, если Лина не сможет выступать, он подготовил фортепианную версию «Картинок с выставки» Мусоргского.

Сергей выступал в Бостоне, Чикаго, Денвере, Канзас-Сити, Нью-Йорке, Портленде, Сан-Франциско и Сент-Поле – по мнению

Прокофьева, городе, «известном своим уродством»[199]. Лина сопровождала Сергея только до Денвера, и, согласно рецензии критика из Канзас-Сити, ее исполнение отличали «искренность, очарование и драматический талант»[200]. Для выступления в Сент-Поле Лина оделась, как «изящная, привлекательная американская старшеклассница» и добавила в костюм характерные детали, подчеркивающие ее «испанское происхождение»[201].

В интервью Сергей высмеивал нелицеприятные отзывы критиков в Соединенных Штатах, Германии и Франции, подчеркивая, что авторы противоречили и сами себе, и друг другу. В интервью Portland Telegram он развил мысль о провинциальных вкусах американцев, одновременно стараясь удержать сигарету в мундштуке. После слов «я думаю, что в музыке должны появляться новые стили, так же как и в моде новые фасоны юбок» он позволил сигарете выпасть из мундштука на пол и «тлеть на полу в холле отеля «Портленд»[202].

Общественные мероприятия требовали большего напряжения сил, чем выступления. Мистер и миссис Смит, возглавлявшие региональные отделения общества, настаивали на организации пышных приемов в честь Прокофьевых. Сергей пожаловался автору сиракузской газеты Post-Standard, что «согласно контракту должен обмениваться рукопожатием с каждым человеком, который подходит к нему», и добавил, что в Канзас-Сити «280 сильных американцев так приветствовали его, что чуть не повредили пальцы правой руки, лишив способности играть на рояле»[203]. Лина пустила в ход все свои чары, чтобы отвлечь внимание от мужа – Сергей был не в состоянии вести светскую беседу за невкусной едой. Но Лина тоже нашла поездку утомительной и сказала в интервью, что «ритуал почти всегда был неизменным: мы приезжали в город, нас встречали члены клуба, обычно дамы, затем нас возили по городу, а потом был обед в каком-нибудь клубе. Мы останавливались в отелях, но чаще в чьих-нибудь домах». Она добавила, что у них с Сергеем болели челюсти, поскольку приходилось все время улыбаться. «О, как замечательно, что вам понравилось, огромное спасибо». «После обеда нас сажали в поезд и везли к следующему пункту назначения. Мы очень устали от всего этого»[204].

Труднее всего Лине пришлось в Денвере, где они остановились в отеле Metropole, позиционировавшем себя как место с «образцовой противопожарной безопасностью». Некая миссис Кэмпбелл позаботилась о том, чтобы у Лины не было ни единой свободной минутки, вручив ей «страшный» график, состоящий из обедов, чаепитий, ужинов и посещений театров[205].

Разреженный и очень сухой воздух истощал не только силы, но и терпение. «Я понимаю, что все еще очень измотана, – написала она Сергею в пятницу, 15 января, в день, когда он прибыл в Портленд. – Время от времени я думаю, что у меня сильная аллергическая реакция. Но потом вспоминаю, что «нет действия, бездействия и болезни», и чувствую себя лучше»[206]. Цитата взята из Христианской науки. Лина нашла утешение и силу в вере, но не могла не возмутиться «глупой рецензии» на ее выступление в Денвере 12 января[207]. Однако после долгого обсуждения с госпожой Кэмпбелл и другими местными дамами она пришла к выводу, что все не так плохо, как ей показалось вначале. Критика была направлена не на вокальную технику, а на выбор репертуара – слишком много непонятной русской музыки. Впрочем, кроме этого рецензент находил, что Лина недостаточно «уверенно» обращается с «ультрасовременной музыкой»[208]. Во время следующего выступления, в воскресенье, в частном доме в Денвере Лина исполняла исключительно произведения французских композиторов. «Пусть Господь пошлет тебе удачи в Портленде, – шутливо приписала Лина в постскриптуме, и избавит от приемов»[209].

После окончания американского турне и возвращения в Европу Прокофьевы отправились в давно запланированное турне по Италии: один симфонический и один камерный концерт в Риме и по одному концерту в Сиене, Генуе, Флоренции и Неаполе. У них было мало времени для осмотра достопримечательностей, но во время их пребывания в Риме произошел непредвиденный случай. На съезде хирургов было совершено покушение на Муссолини, когда он произносил речь с трибуны. Пуля лишь повредила кончик носа Муссолини. Сергей опасался, что если стрелявший был советским агентом, то отменят его выступление с Концертом для фортепиано с оркестром № 3 в San Martino ai Monti (Сан-Мартино-аи-Монти). Но после репетиции он с облегчением узнал, что стрелявшей была женщина, Вайолет Гибсон из Ирландии. Ее почти до смерти избили на улице и заключили в тюрьму. Драматическое событие не отразилось на выступлении, если не считать недостаток публики – менее тысячи человек в зале, вмещавшем четыре тысячи.

На следующее утро, 8 апреля, Прокофьевы получили с посыльным письменное уведомление – их удостоили аудиенции у папы Пия XI. Накануне, по совету принимающей стороны, Сергей обратился с просьбой принять его. Прокофьевы спешно стали искать для Лины самое скромное, немодное платье; на помощь пришла мать композитора Альфредо Казеллы, предложившая

черное платье большого размера, которое было очень велико Лине. По пути в Ватикан Сергей с Линой подшучивали друг над другом, обсуждая щекотливые вопросы, которые им могли задать – например, каково их вероисповедание и крестили ли они сына. Но понтифик, с добрым лицом, в очках, не задавал вопросов и вообще не расположен был вести беседу. Он только вознес молитву и благословил посетителей. Вместе с остальными приглашенными они встали на колени. Папа остановился перед Линой – вероятно, из-за широкого платья решил, что она беременна, – и позволил поцеловать его кольцо с изумрудом и жемчугом. Прежде чем Лину и Сергея проводили к воротам, им удалось осмотреться вокруг лишь мельком.

На следующий день они репетировали, а затем выступали в Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Национальная академия Санта-Чечилия)[210]. Организаторы неверно составили график и велели Прокофьевым одеться как для дневного спектакля, поэтому им пришлось извиняться перед зрителями за внешний вид, не соответствовавший более торжественному вечернему представлению. Возможно растерявшись из-за конфуза, Лина выступила неудачно и получила сдержанные аплодисменты. На следующем концерте в Сиене 11 апреля она тоже не сумела произвести впечатление. Она пела лучше, чем в Риме, но Сергею показалось, что зрители не смогли понять музыку.

В Италии, как и во время турне по Америке, Прокофьевым опять пришлось пройти проверку на выносливость. Они заснули в «Гранд-отеле» в Сиене в полночь 11 апреля, встали в шесть утра и в восемь утра уехали в Геную. Поезд прибыл в Геную в шесть вечера, концерт начался через три часа, и снова у Прокофьевых не было подходящих нарядов. Во время поездки Лина охрипла. Сергей объяснил зрителям, что выступит один, поскольку жена неважно себя чувствует, и в программе вместо французских, русских и испанских песен прозвучит Вторая фортепианная соната. Несмотря на начавшуюся простуду, Лина смогла выступить спустя пять дней во Флоренции и испытала радость, получив вместе с аплодисментами букет роз за исполнение песен Мясковского.

Поездка истощила ее силы, простуда не отпускала, и она не смогла выступить на концерте в Неаполе. К тому же Лина была задета, когда устроители концерта равнодушно встретили известие о ее болезни – звездой программы был Сергей. Для него это был самый обычный концерт, но тут произошло неожиданное событие – в зале появился дважды отправленный в ссылку русский писатель и агитатор Максим Горький. Он жил с сыном и невесткой в большом доме в Сорренто, где благодатный

средиземноморский климат помог ему справиться с туберкулезом. Когда-то Горький был близок с большевистским лидером Лениным, но в 1918 году они поссорились. Горький публично осудил Ленина за то, что, начав проведение масштабных репрессий, он изменил идеалам революции. Горький отправился в изгнание в Сорренто в 1921 году. Причиной послужили арест и расстрел в Петрограде процаристского поэта Николая Гумилева. Горький ездил в Москву к Ленину и просил за Гумилева, но бумага о помиловании пришла слишком поздно.

Горький пригласил Лину и Сергея на свою запущенную, неуютную виллу, расположенную на скалистом мысу. Во время обеда он настоял на том, чтобы пить французское, а не итальянское вино, о чем Сергей с иронией упомянул в своем дневнике, отметив также неприятный хронический кашель Горького, который он сравнил с собачьим лаем. У писателя были длинные густые усы, и он курил, несмотря на больные легкие. Лина, похоже, понравилась Горькому, и он старался произвести на нее впечатление, рассказывая о приютах, которые он организовал на юге России для детей, сирот революции и Гражданской войны. Кроме того, Горький говорил о медицинской помощи, оказываемой в этих заведениях. Его рассказы напомнили Лине о благотворительной деятельности Екатерины Брешко-Брешковской, «бабушки русской революции» – той самой, у которой Лина работала в течение месяца в 1919 году в Нью-Йорке. Постепенно разговор о проблемах культуры превратился в обсуждение политических и экономических вопросов. Горький настаивал на том, что для реализации принципов социализма основную роль играет просвещение. Узнав, что гости подумывают о поездке в Советскую Россию, Горький задал саркастические вопросы о предполагаемой антибольшевистской деятельности Сергея в прошлом. Напоследок обменялись парой шутливых комментариев об огромном количестве писем и публикаций, которые Горький каждую неделю получает из России. Он рекомендовал Прокофьевым произведения Бориса Пастернака и Леонида Леонова. Затем они попрощались с писателем, и сын Горького проводил их до трамвайной остановки, по пути развлекая историями об интересных археологических находках, обнаруженных в этом районе.

Из Италии Прокофьевы отправились в Париж, к сыну, которого за последние несколько месяцев почти не видели. Во время турне по Соединенным Штатам и Италии Святослав оставался с матерью Лины. Ольга приезжала во Францию в октябре 1925 года и обещала вернуться в январе 1927 года, чтобы

опять взять на себя заботу о Святославе. После длительных переговоров Сергей согласился поехать в Россию – вместе с Линой. Болеслав Яворский, советский общественный деятель, который по поручению Луначарского вел переговоры с Прокофьевым, в шутку посоветовал Сергею оставить Лину в Париже. Судя по фотографии, Лина так хороша, что кто-нибудь из его товарищей может увести ее у мужа, предостерегал Яворский. Вместо советского паспорта Лина получила такое же, как у Сергея, разрешение на въезд и передвижение по стране, а также обещание беспрепятственного пересечения границы.

Условия гастролей в Советском Союзе Сергей обговаривал не с бюрократами Красиным и Тутельманом, с которыми встречался перед турне по Америке и Италии, а с пианистом и музыковедом Яворским, который навещал его в Париже в мае 1926 года. Яворский вел себя так, словно находился под надзором – впрочем, так оно и было, – но Сергей знал его много лет и был рад повидаться с другом юности. Заняв с подачи Луначарского министерскую должность (заведующий отделом музыкальных учебных заведений Главного управления профессионального образования, Главпрофобр), он мог по желанию принимать на работу профессоров в Московскую консерваторию и увольнять их оттуда. Яворский сообщил Сергею, что советское правительство заинтересовано в возвращении русской творческой интеллигенции из эмиграции, без каких-либо условий. Если Сергей согласится принять советское гражданство, то сможет жить в Москве один месяц в году, а остальные одиннадцать месяцев – в Париже.

Таким образом, в календаре Прокофьевых была отмечена дата тура по Советскому Союзу, а впереди маячила перспектива переезда. Прокофьевы провели лето в Саморо, небольшом городке на берегу Сены, вблизи Фонтенбло. Хотя в доме поначалу не было рояля, атмосфера способствовала плодотворной работе, а сад был идеальным местом для игр невероятно энергичного Святослава, который начал рано говорить на смеси русского и французского, но избежал грассирующего «р».

* * *

Вернувшись осенью в Париж, семья поселилась в шестикомнатной квартире на последнем этаже дома по улице Труаен (rue Troyen), рядом с площадью Этуаль[211], от которой лучами расходятся двенадцать проспектов. Квартира была обставлена старой мебелью в богемском стиле, а на мансардной

крыше располагалась терраса. Лине не понравилось место, и она в течение недели никак не могла решиться подписать договор аренды, хотя супруги сменили уже четырех агентов, пытаясь найти подходящее жилье. В конце концов Лина неохотно согласилась, но обвинила мужа в неудачном выборе квартиры. Соседняя улица служила местом встреч проституток с клиентами. Как-то вечером, прогуливаясь с Линой, Сергей шутки ради рассказал жене об этой маленькой подробности. Он подбежал к женщинам, выходившим из подъезда, поздоровался и поинтересовался стоимостью их услуг.

Но, несмотря на ссоры из-за нынешней ситуации и перспектив в Париже, Прокофьевы начали морально готовиться к поездке в Советскую Россию. Тур начинался в тот же день, когда истекал срок арендного договора. 13 января 1927 года они отправлялись в Москву через Берлин и Ригу, а по возвращении в Париж в конце марта должны были заняться поисками новой квартиры. Прокофьевы планировали оставить Святослава на попечении Ольги, но она не приехала во Францию ко времени их отъезда, поэтому Лина договорилась с друзьями из Христианской науки в Севре, что сын поживет у них.

Приближалось время отъезда, и Сергей расспрашивал друзей и знакомых, пытаясь узнать, так ли страшна Советская Россия, как ее малюют, и не поставит ли он под удар себя и свою жену. Сергей избегал споров с Яворским относительно вознаграждения и напоминал себе, что должен много репетировать, чтобы произвести впечатление. Он был потрясен полученным из России известием – двоюродный брат Шурик заключен в тюрьму за контрреволюционную деятельность. Сергей получил письмо от тети Кати, которая, чтобы обойти цензуру, сообщила о несчастье иносказательно, назвав арест болезнью, а тюрьму – пребыванием в больнице. Сергей сказал себе, что благодаря знанию принципов Христианской науки неуязвим для любой опасности. Мисс Крейн, заменившая Кэролайн Гетти в качестве наставника Сергея и Лины, встретилась с ним за неделю до отъезда, чтобы проститься, дать совет и напомнить, что он является отражением Бога.

Но бóльшим утешением стало соблазнительное предложение, полученное в последнюю минуту из Москвы. Сергею пообещали выступления с ансамблем Персимфанс, уникальным оркестром, в полном соответствии с пролетарскими идеями выступавшим без дирижера[212]. Кроме того, в Ленинграде готовилась постановка оперы «Любовь к трем апельсинам». Коллеги подгоняли Сергея.

Сергей не был в России с 1918 года, его жена – с раннего детства. Он описал свое отношение к родине французскому радиоведущему Сержу Моро в интервью, опубликованном в

Tempo. «Воздух чужбины не возбуждает во мне вдохновения, потому что я русский, и нет ничего более вредного для человека, чем жить в ссылке, находиться в духовном климате, не соответствующем его расе. Я должен снова окунуться в атмосферу моей родины, я должен снова видеть настоящую зиму и весну, я должен слышать русскую речь, беседовать с людьми, близкими мне. И это даст мне то, чего так здесь не хватает, ибо их песни – мои песни. Здесь я лишаюсь сил. Мне грозит опасность погибнуть от академизма. Да, мой друг, я возвращаюсь…»[213]

Прокофьев проникновенно, с чувством говорит о России, хотя сентиментальность была ему несвойственна. Он возвращался в Россию, потому что, в сущности, никогда не покидал ее.

Глава 6

В 1927 году Лина вела подробные записи во время гастролей по Советскому Союзу, и они вошли в дневник ее мужа, который описал их поездку по возвращении в Париж. Пока родители отсутствовали, Святославу исполнилось три года.

Для Сергея, уехавшего из Санкт-Петербурга в 1918 году, в начале Гражданской войны между красными и белыми, турне было возвращением на родину. Лина немного помнила язык, но ее знания о России исчерпывались рассказами матери и детскими воспоминаниями о поездках на Украину и на Кавказ. По мере продвижения с Запада на Восток Прокофьевы чувствовали социополитические изменения. Плакат на советской границе призывал трудящихся всего мира «объединяйтесь!» – известный коммунистический лозунг, впервые выдвинутый Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии». Ленин умер; грузинский борец-большевик, специализировавшийся на похищениях и грабежах, занял его место. При рождении его назвали Иосиф Виссарионович Джугашвили, но он изменил фамилию на Сталин, то есть «человек из стали». Он захватил контроль над всеми уровнями власти сразу после смерти Ленина, последовавшей после третьего инсульта 21 января 1924 года. Сталин быстро избавился от своих политических противников и на их место посадил коленопреклоненных союзников. Эти союзники в свое время будут заподозрены в саботаже, и повторится цикл чистки и очищения. Истинный характер сталинского режима проявится в 1930-х годах, после провала сталинской экономической политики.

Прокофьевым показали лучшее из того, что было в Советском Союзе в 1927 году, и постарались оградить от худшего, о котором Прокофьевы имели весьма смутное представление. За пределами ближнего круга Сталина ни у кого, а уж тем более у изнеженных, привилегированных заграничных гостей не было предчувствия относительно грядущих ужасов: коллективизация, милитаризация, Великий голод, аресты и расстрелы партийных чиновников, офицеров Красной армии, полицейских, потомков аристократических семей, бывших землевладельцев – «кулаков», православных священников, евреев и рядовых граждан за такие мелкие преступления, как распускание слухов. Подобные приговоры либо замалчивались вездесущей пропагандистской машиной, либо оправдывались необходимостью национальной самообороны.

17 января, по пути в Россию, Прокофьевы дали концерт в Риге; в репертуаре были те же произведения, которые они исполняли в прошлом году в Америке и Италии. Сохранилась одна фотография с этого концерта: Лина стоит на сцене, Сергей – за роялем. Когда они достигли латвийско-советской границы, то успокаивали себя тем, что еще могут повернуть обратно, закончить на этом поездку и вернуться в Париж. Но у них были куплены билеты в Россию, и они продолжили путешествие.

Прокофьевы отказались от предложения получить советские документы и цеплялись за свои нансеновские паспорта[214], что раздражало принимающую сторону, зато избавляло супругов от будущих проблем при въезде во Францию и Соединенные Штаты. Максим Литвинов, занимавший особое место среди сталинских дипломатов, выдал Прокофьевым специальные проездные документы. Затаив дыхание от страха, они предъявляли их при каждом пересечении границы, особенно на советском милитаризированном контрольно-пропускном пункте, где конфисковали багаж их попутчиков. Но и Прокофьевы, и их вещи благополучно прибыли в Москву на Белорусско-Балтийский вокзал, который Сергей упомянул в своем дневнике под старым названием Александровский[215]. Огромный сарай с деревянными платформами, пастельными фасадами и декоративными шпилями «напоминал деревенскую станцию», прокомментировал Сергей. На улице еще было темно, в купе тоже, «так как сломался газ. Проводник принес свечку»[216]. Прокофьевых пришли встречать Лев Цейтлин, организатор Персимфанса и концертмейстер групп в Персимфансе, и Арнольд Цуккер, убежденный коммунист, связующее звено между Персимфансом и правительством[217].

Немного в стороне стоял музыкант с лицом хорька, которого Сергей знал с юности. Владимир Держановский был одет в тулуп, валенки и огромную меховую шапку. Пенсне подрагивало на носу, когда он выкрикивал приветствия. Лина, с трудом сдерживая смех, позволила ему ухаживать за собой. Держановский вместе с тучной помощницей заведовали нотным магазином от музыкального сектора Госиздата[218]. Он предложил Сергею подержанный рояль, но Прокофьев отказался, поскольку, по его словам, инструмент был «расколоченный».

Прокофьевых на такси отвезли в гостиницу «Метрополь», которую в брошюре для богатых путешественников описывали как шедевр в стиле ар-нуво, датируемый 1901 годом. Построенная в самом центре Москвы, напротив Большого театра, гостиница «Метрополь» находится в шаговой доступности от нынешней

Государственной думы и зубчатых стен Кремля. Строительство гостиницы финансировал железнодорожный магнат Савва Мамонтов, желавший, чтобы гостиница удивляла не только внешним и внутренним убранством, но и современным техническим оснащением. Но в 1927 году здесь царил бедлам, ставший результатом нескольких незаконченных ремонтов. После большевистского переворота и переезда русского, вернее советского, правительства из Петрограда в Москву гостиницу заняли правительственные учреждения[219]. Теперь «Метрополь» опять превращали в отель, но к 1927 году успели привести в порядок только один этаж. Номер, в котором поселили Сергея и Лину, был «безукоризненно чист, довольно просторен и с необычайно высокими потолками… Но ванны нет, и вода – в кувшинах»[220]. Гостиничный ресторан не работал.

Днем Прокофьевы, прогуливаясь по Тверской, идущей от Кремля на северо-запад до Садового кольца, увидели центр города, заполненный строящимися трамвайными путями, огромными автобусами, импортированными из Англии, и редкими такси марки Renault (Рено). Население Москвы стремительно увеличивалось, и для улучшения транспортной обстановки разрабатывался проект сети метрополитена, который позволил бы превратить бывшую тихую заводь в настоящий центр советской власти, мировую столицу. Изменился облик Страстной площади[221], почти все церкви были уничтожены, чтобы освободить место для здания редакции официальной правительственной газеты «Известия». Исчезли памятники имперской культуры – исключение было сделано только для памятника Александру Пушкину, которого отнесли к пророкам революции.

Летом 1927 года заасфальтируют Тверскую, а напротив Московского Художественного театра закончат строительство здания Центрального телеграфа. Электронное оборудование предоставили зарубежные компании, в числе прочих Siemens. Число сотрудников было огромно, и под их бдительным надзором граждане могли отправить все что угодно, от телеграмм до посылок. Массивное гранитное здание на углу улицы сразу бросалось в глаза, затмевая элегантную гостиницу «Националь», в которой, как и в «Метрополе», жили и работали правительственные чиновники. В скором времени малоэтажные здания вдоль дороги снесут, чтобы расширить проезжую часть. Сергей отметил, что люди на улицах выглядят довольными и не производят впечатления голодных, а в маленьких частных магазинах царит продуктовое изобилие. На смену этим островкам частного предпринимательства, возникшим в результате новой

экономической политики Ленина, скоро придут государственные магазины, у которых не будет потребности вкладывать средства в завлекательную рекламу. Хлебный магазин будет называться «Хлеб», рыбный – «Рыба», а молочный – «Молоко».

Но в 1927 году масштабное строительство еще не началось, и на месте будущих траншей и стройплощадок стояли обветшалые жилые дома с облупившимися стенами, заколоченными фасадами и темными, грязными подворотнями. Цейтлин при общении с гостями подчеркивал исключительно преимущества Москвы и, пытаясь произвести впечатление на Прокофьевых, сравнивал ее с Парижем, причем отнюдь не в пользу последнего. Столицу Франции он ругал на чем свет стоит. Почти все его сведения о жизни в Париже были попросту нелепы. Повторяя сообщения «Правды», газеты Центрального комитета, он рассказал об эпидемии, которая якобы накрыла французскую столицу. Иногда истории были совсем уж диковинными – как-то Цейтлин сообщил, что Большой театр заново облицевали могильными плитами, привезенными с кладбища. Но Прокофьевы этим выдуманным рассказам не верили. Супруги были неприятно удивлены, когда Цейтлин сказал, что правительство жестко контролирует жилищный вопрос и в итоге жильцы должны были сами заботиться об исправном состоянии дома[222]. Цейтлин с женой жили в подвальном помещении консерватории, «за занавеской», среди документов Персимфанса[223].

Композитор Николай Мясковский, давний друг Сергея, жил в перенаселенной коммунальной квартире. Снаружи дом сохранил увядающее изящество XVII века, но внутренняя часть подверглась перестройке и перепланировке. На самом деле причиной такой скученности были вовсе не принципы социализма, а острый жилищный кризис. Квартира, в которой некогда жила одна аристократическая семья, превратилась в некое подобие общежития. Вместе с Мясковским жила его сестра с дочерью. Племянница, рьяная комсомолка, бранила Мясковского за «буржуазную чувствительность». Но на самом деле соседям больше мешала ее громкая ругань, чем звуки рояля. Мясковский был в ужасном положении, но у других было еще хуже, в том числе у его сестры, муж которой покончил жизнь самоубийством. Позже Лина с Сергеем узнали, что коммунальные кухни были местом шумных ссор и драк. «Вы можете себе представить, что творится на кухне в этом скромном особняке, когда восемнадцать хозяек одновременно готовят восемнадцать ужинов на восемнадцати примусах!» – поведал как-то один из сопровождавших Прокофьевых[224].

Луначарскому посчастливилось больше – в его огромной

квартире можно было устраивать концерты камерной музыки, но сам дом был в запущенном состоянии, с «грязной и отвратительной» лестницей. В таком же плохом состоянии находилось малоэтажное здание, где жила Надя, жена арестованного двоюродного брата Сергея Шурика. В воскресенье 23 января Прокофьевы навестили ее и детей, но во время визита чувствовали себя неловко. От Раевской они поспешили к Держановским, на день рождения его жены. «Держановским удалось сохранить за собой всю квартиру, уступив одну комнату кухарке. Что касается комнаты Цекубу[225], то она выходила лишней и в нее должны были кого-нибудь вселить. Удалось отстоять ее только через Центральный комитет улучшения быта ученых, через посредство которого удалось доказать, что Держановскому необходимо погружаться в научно-музыкальную работу, для чего нужен отдельный кабинет»[226].

После второго выступления Сергея в честь Прокофьевых устроили прием в еще одном конфискованном особняке. Сохранилась фотография, сделанная на этом вечере. Довольный, сияющий композитор в костюме-тройке и галстуке сидит через три стула от Лины, одетой в леопардовое пальто. Шею украшают длинные жемчужные бусы, а волосы уложены в модную прическу-боб. Слева сидит Мясковский, строго одетый, с козлиной бородкой, а справа – Александр Мосолов, дерзкий молодой композитор, автор сенсационного балета под названием «Сталь». Стол заставлен бутылками шампанского, а издалека в камеру смотрит лысеющий усатый Цейтлин. Несколько человек, включая Держановского, выстроились за спиной Прокофьева, чтобы сфотографироваться на память.

На фотографии, сделанной в другой день, Лина и Сергей позируют на улице: ее леопардовая шуба и шляпа и его щегольской костюм контрастируют с серой и черной одеждой Цейтлиных и Цуккеров. На третьей фотографии, по ошибке подписанной «Москва, 19 января 1927», хотя в Москву они прибыли 20 января – во всей красе предстает элегантность парижского гардероба Лины. Единственное, чего не удалось запечатлеть на пленку, – аромат французских духов. На шее у Лины ожерелье с камеей, она одета в кофточку с воротником-шалькой и очень смелые по тем временам чулки в ромбик, а на левой руке можно разглядеть тонкий ободок по-американски скромного обручального кольца. Справа Сергей в костюме, свитере на пуговицах и накрахмаленной рубашке, с ослабленным узлом галстука. Оба выглядят усталыми. В 1982 году в интервью с Харви Саксом Лина вспоминает, что «Сергей был измотан, я тоже, и мы хотели уехать как можно быстрее, но они не отпускали нас и

все время пили»[227].

Визит Прокофьева стал настоящей сенсацией. Сергея осаждали просьбами об интервью, уроках для начинающих композиторов, а иногда звонили с непристойными предложениями. Музыка Сергея не слишком соответствовала консервативным вкусам того времени, но международная известность производила должное впечатление. Возвращение Прокофьева, пусть даже на несколько недель, было пропагандистским ходом, обыгранным в советских средствах массовой информации.

В Соединенных Штатах музыку Прокофьева часто ругали, но на самом деле Сергея нельзя было назвать радикалом. По крайней мере, по сравнению с русскими композиторами, чей творческий рост происходил при Ленине. Отражая шумный, футуристичный дух революции, композиторы, среди которых были Мосолов, Александр Кенель, Николай Рославец, Всеволод Задерацкий, создавали авангардистские, четвертитоновые сочинения, индустриальные симфонии, песни, основанные на рекламных объявлениях в газетах. Иногда новая музыка рождалась путем импровизации прямо на сцене, во взаимодействии со зрителем. Существовала пролетарская музыкальная организация, члены которой получали все больше и больше привилегий от власти за написание пропагандистских хоровых песен и маршей. Мосолов, однако, будет помещен в черный список как буржуазный модернист, а в 1937 году приговорен к тюремному заключению по обвинению в «хулиганстве» и будет вынужден, демонстрируя раскаяние, сочинять музыку для ансамблей народных инструментов[228].

Двадцатилетний Дмитрий Шостакович окончил Петроградскую (бывшую Санкт-Петербургскую) консерваторию и сочинил свою Первую симфонию, но Сергей не знал его сочинений, помимо тех, которые, казалось, были похожи на его собственные. Композиторы, которых он встречал во время гастрольной поездки и с кем позировал на групповых фотографиях, были его старыми знакомыми, а не представителями нового поколения.

4 февраля в Московской консерватории снимали новостной сюжет о Сергее, сосредоточив основное внимание на его исполнительском мастерстве. Он выбрал allegro con brio, финал Четвертой сонаты для фортепиано, но заявил, что шум от камеры и яркий свет ламп мешал ему, поэтому он «врал отчаянно». Затем его снимали в фойе вместе с Линой, которая была в том же леопардовом пальто. Эта вещь произвела фурор среди московских модниц. Часть пленки сохранилась. Можно увидеть крупный план

рук Прокофьева, играющего на рояле. Звук, к сожалению, отсутствует. Ни одного кадра с Линой не уцелело.

В Москве концерты Прокофьева имели невероятный успех. Он появлялся на сцене под гром аплодисментов, и публику не смущало, что от волнения композитор не мог играть свои лучшие произведения. Лину просили выступить, но она отказалась, сославшись на усталость и больное горло. Несмотря на это, ее тоже обхаживали и превозносили.

1 февраля Цуккер пригласил Лину в Оперную студию Станиславского на оперу Римского-Корсакова «Царская невеста». Она была в восторге от голосов, и Цуккер предложил ей поступить на работу в этот театр. Лина растерялась, поскольку больше не планировала петь в опере. Общие концерты с мужем и без того требовали много сил, как физических, так и духовных. Много лет спустя в интервью Лина расскажет, что слушала несколько опер в этом театре и сам великий Константин Станиславский просил, чтобы она выступала у него. «Но я сказала: «Как я могу? У меня семья. Я никогда не брошу своего мужа и детей»[229]. Это случилось либо во время гастрольной поездки в 1927 году, либо в следующий приезд. А возможно, лестное предложение Лине сделали уже после окончательного переезда в Москву – она не могла вспомнить.

Сергей с Линой обедали в первоклассных гостиничных ресторанах, предлагавших дефицитные русские деликатесы, избегая заведений общепита, предназначенных для простого народа. Иногда Сергей ел на ходу, купив вареники с капустой или с картофелем у закутанных в сто одежек уличных продавцов, а иногда, в память о студенческих годах, ел щи, вафли и пил чай с малиной. Лине запомнилось, что рядом с «Метрополем» продавали масло и селедку в бочках.

5 февраля Прокофьевых пригласили на обед в Кремль. Мероприятие организовала Ольга Каменева, председатель Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС). Согласно занимаемому положению, она имела много привилегий, в том числе квартиру в Кремле, но положение ее было шатким. Ее высокопоставленный муж, Лев Каменев, выступил против сталинской экономической политики – жестокой, насильственной коллективизации, последовавшей за ленинскими реформами на основе свободного рынка. Но что еще хуже, Каменева была сестрой Льва Троцкого, противника Сталина. Всех троих ждал страшный конец. Хотя Каменева пыталась казаться женщиной изящной и утонченной, Лина нашла ее грубой, а Сергея оскорбил приказ развлекать хозяйку и ее невестку, ученицу балетной школы, игрой на рояле. За обедом они не хотели делиться

впечатлениями от России, но им не оставили выбора. И Сергей «ругал то, что плохо за границей, и хвалил то, что хорошо в СССР, не выходя, разумеется, за рамки искусства. И таким образом выходило, что мы, в сущности, со всем согласны». Лина наслаждалась болтовней с англичанкой Айви Лоу, женой дипломата Максима Литвинова. Большую часть времени Айви, не имевшая особых служебных обязанностей, занималась переводами и литературным творчеством; позже она преподавала так называемый Basic English – основы английского языка[230]. Лина пришла в восторг от ее рассказов о жизни в высших кругах Советского Союза, и они договорились встретиться в Париже. Вечер затянулся, к тому же угощение не произвело на гостей особого впечатления.

Спустя три дня после необычного субботнего вечера в Кремле Прокофьевы уехали в Ленинград. Там Прокофьев дал два симфонических и два камерных концерта, провел встречу со студентами композиторского отделения своей альма-матер, Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории, дал множество интервью и побывал на опере «Любовь к трем апельсинам». Опера, поставленная в Ленинграде Сергеем Радловым, была направлена против устоявшихся представлений в академических театрах. Постановка была очень эффектной. Удивительные костюмы, состоящие из двух-трех слоев, и тщательно продуманное художником Владимиром Дмитриевым оформление сцены – мегафоны, веревочные лестницы, трапеции, медленно вращающийся над сценой зеркальный шар, отбрасывающий «зайчики», куклы в натуральную величину. Спектакль поразил композитора: это было динамичное, захватывающее дух представление. На это не были способны ни американцы с их провинциальными вкусами, ни самодовольные французы и немцы. Луначарский, который позже посетил специально устроенный для него спектакль, сравнил его, к удовольствию Лины, с искрящимся «бокалом шампанского»[231].

Прокофьевы остановились в Ленинграде в гостинице «Европейская», все еще не оправившейся после превращения ее во время Первой мировой войны в госпиталь, а затем в сиротский приют. В своем дневнике Сергей с восторгом описывал Невский проспект, Эрмитаж и Зимний дворец, Петропавловскую крепость, каналы и набережные. Его красочные рассказы с успехом могли бы заменить путеводитель. Он упомянул Гостиный двор с заколоченными досками витринами и удручающее состояние квартиры директора консерватории Александра Глазунова. Но ностальгия о прошлом заставила закрыть глаза на тяготы и лишения настоящего. Для Сергея город, основанный Петром

Великим и построенный сотнями тысяч крестьян и заключенных, сохранил свое очарование и великолепие.

Сергей записывал истории людей из своего прошлого и о преобразовании России в Советский Союз. Арфистка Элеонора Дамская досаждала Сергею жалобами на финансовые трудности и невежество большевиков. Она забрала рояль Сергея из его разграбленной квартиры, а также вынесла письма и фотографии, которые теперь предложила продать ему за деньги. Чиновники из Народного комиссариата просвещения (Наркомпрос) пытались конфисковать рояль, заявляя, что он принадлежит народу, но Дамская дала взятку, и рояль остался у нее, хотя предназначался для какого-то аппаратчика. Сергей сказал, что разберется, и написал возмущенное письмо Луначарскому. Дамская, пожирая глазами наряд Лины, повторила ей свой рассказ за чаем в гостиничном номере.

В Ленинграде Лине больше всего запомнились именно такие неожиданные встречи. Приемы и обеды, устроенные пытавшимися угодить чиновниками от культуры, навевали лишь скуку.

Эта поездка стала для Лины и Сергея общим приключением. Радость Прокофьева от возвращения в родные места сблизила супругов. Кроме того, принимающая сторона позаботилась, чтобы у гостей сложилось самое лучшее впечатление о Советском Союзе. Лина смогла припомнить только один неприятный инцидент – в Ленинграде кучер не справился с лошадью и она понеслась по заснеженным улицам к Октябрьскому вокзалу[232]. Никто не пострадал.

Они знали, что находятся под наблюдением; их передвижения контролировались, а разговоры записывались. Но то же самое происходило в Париже, когда Сергей встречался с Болеславом Яворским в «Дю Геклене», ресторане рядом с их домом в 15-м округе. В России Сергея беспокоило только одно – судьба двоюродного брата Шурика, политического заключенного. Он просил Цуккера и других при случае походатайствовать о пересмотре дела его брата, но все либо отвечали, что этот вопрос не в их компетенции, либо объясняли, что ситуация сложная и ничего нельзя сделать. Красный Крест помог сократить срок, но этот вопрос продолжал находиться в ведении ОГПУ – Объединенного государственного политического управления, политической полиции Сталина. К концу пребывания Прокофьевых в Советском Союзе выдающийся театральный режиссер Всеволод Мейерхольд, давний поклонник Сергея, обещал помочь, подключив обширные связи. Но ничего не добился, и Шурик остался в тюрьме. Рассказывая о поездке, Лина

мало говорила на эту тему, только заметила, что мужу все время приходилось следить за тем, чтобы говорить правильные вещи в нужное время, и учитывать предостережения и советы окружающих. По прошествии многих лет она решила разобраться в том, почему в 1927 году она не смогла понять реальное положение дел.

6 марта в одиннадцать вечера Прокофьевы выехали из Советской России в Советскую Украину. Они уезжали с Курского вокзала, рядом с которым находился их будущий дом, отведенный для проживания политических деятелей (членов Совета народных комиссаров) и деятелей искусства. Но в 1927 году это здание еще не было построено, и вокруг работали металлургические заводы и текстильные фабрики.

Сергей должен был дать по два концерта в трех самых крупных городах – Харькове, Киеве и Одессе. Кроме того, он надеялся получить гонорар в случае постановки на Украине оперы «Любовь к трем апельсинам». Когда поезд проехал мимо деревни, в которой прошло его золотое детство, он отметил это в дневнике, но не стал упоминать, что во время Гражданской войны танки стерли деревню с лица земли[233]. Лина рассказывала, что об этом Сергею сообщила то ли местная крестьянка, то ли подруга детства. Она, вероятно, имела в виду Веру Реберг, дочь доктора Альберта Реберга, соседа и друга родителей Прокофьева по Солнцовке, которую Сергей и Лина навестили в Харькове. Лина предположила, но не была уверена, что деревню отстроили заново, и на месте деревянных домов появились строения с оштукатуренными стенами – или наоборот.

В то время Харьков был столицей Украинской Советской Социалистической Республики и оставался столицей до 1934 года, после чего столицу перенесли из Харькова в Киев. Сергей давал концерты в зале Государственной Украинской оперы, где, он надеялся, будет поставлена его опера «Любовь к трем апельсинам». Но театр ждало мрачное будущее. В 1930 году его выберут местом сталинских показательных судов. Тысячи представителей украинской интеллигенции будут арестованы и расстреляны. В свободный от концертов день Сергей прогулялся по городу. Больше всего ему запомнились грязь на улицах, контрафактные издания его собственных произведений, продававшиеся с одобрения правительства, и некрасивая архитектура. Сергей обратил внимание на строящееся здание в стиле псевдоконструктивизма, но названия его не знал. Это было здание Госпрома (по-украински Держпром), Дом государственной промышленности, цельный монолитный массив железобетона,

состоявший из группы разновысоких башен, соединенных переходами. По указанию Харьковского НИИ гигиены ручки на дверях Госпрома были медными. Медики советовали использовать медь, характеризующуюся бактерицидными свойствами и, по данным тех лет, уничтожающую микробы.

Прокофьевы остановились напротив, в гостинице «Красная», еще одном величественном здании, сделанном на века. В гостинице не хватало обслуживающего персонала, в номере не было холодной воды, а телефон прослушивался. В дневнике Сергей так описал номер: «Нам был отведен огромный номер из двух комнат с ванной, в достаточной мере нелепый. В ванне, например, течет только горячая вода, и, чтобы ее принять, надо напустить и ждать полчаса, чтобы она остыла. Из номера телефон прямо в город, а звонка к официанту нет, так что я искал в телефонной книжке номер нашего отеля, дабы позвонить туда по городскому телефону»[234]. Как бы ни хотелось им принять ванну, но они не решились это сделать, поскольку ванна «выглядела какой-то прокаженной»[235]. Потом им объяснили, что эмаль покрылась пятнами не от грязи, а от чистоты, поскольку после каждого постояльца ее моют кислотой.

10 марта с заляпанными грязью чемоданами они сели в поезд, идущий до Киева. Им не удалось добиться отдельного купе, и в результате Лине пришлось ехать вместе с какой-то украинской чиновницей, которой, видимо, не спалось, и по-этому она всю ночь увлеченно рассказывала о своей семье и родной деревне.

На следующее утро, когда поезд ехал по мосту через замерзший Днепр, они увидели, как солдаты взрывали лед динамитом, чтобы предотвратить наводнение, и «это было очень красиво», – заявил Сергей[236]. Поезд прибыл вовремя, как и все советские поезда, ходившие строго по расписанию. В Киеве Прокофьевых встретили, посадили в плохонький автомобиль и повезли в гостиницу «Континенталь», Николаевская улица, дом номер 5 (современная улица Архитектора Городецкого), рядом с Крещатиком, главным проспектом Киева. Это была зеленая улица, по которой тем не менее ходили трамваи. Во время визита Прокофьевых она называлась улицей Вацлава Воровского[237]. Во время Гражданской войны многим зданиям был нанесен серьезный ущерб, но гостиница «Континенталь» не пострадала. Однако 1941 году, после вторжения немцев в Киев, советские войска взорвали гостиницу, и восстанавливать ее после войны не стали.

По окончании первого концерта Сергея в артистическое фойе ворвалась преподавательница Киевской консерватории по

фамилии Гольденберг, которая с удивительной настойчивостью стала упрашивать Сергея прийти завтра, 12 марта, на экзамен, чтобы послушать ее учеников. Прокофьев ответил, как ему самому показалось, вежливым отказом, но, по мнению Лины, Сергей нагрубил, но согласился. Утром преподавательница позвонила и даже прислала за ними машину. В дневнике Сергей написал, что Киев очень красив, но не мог не отметить встречавшиеся на пути унылые руины. «Улицы, усаженные деревьями, отличные дома, но сколько разрушений! Недаром Киев столько раз переходил от белых к красным и обратно. До сих пор еще много покинутых домов, зияющих окнами с выбитыми стеклами»[238].

День в консерватории прошел на редкость удачно. Маленькие мальчики в четыре руки играли из «Шута» по клавиру. Три девочки выступили с докладом о форме гавота из Классической симфонии Прокофьева. Они явно любили свою преподавательницу, у которой, по мнению Лины, «всегда были наготове интересные идеи»[239]. Экзамен был продуман с таким расчетом, чтобы на нем присутствовал известный человек, поэтому Гольденберг и была так настойчива. Сергей написал в дневнике, что дети нервничали и не поняли его музыки, Лине же они, наоборот, показались даже слишком самоуверенными. Сергей запрыгнул на сцену, чтобы указать одной из девочек на ошибочность ее утверждения при анализе гавота. «Где ты это видишь? Я не имел в виду ничего подобного». – «Этот пассаж связан с этим», – сказала девочка[240]. Когда Сергей попытался ее исправить, она только твердила «нет, нет», а затем проиграла пассаж на рояле. Ему ничего не оставалось, как со смехом сказать: «Ладно, раз тебе так нравится»[241]. Позже в гостиницу пришла еще одна группа учениц Гольденберг, которые принесли неправильный анализ марша из «Трех апельсинов».

В небольшом зале было холодно, и Лина весь экзамен просидела в шубе. Сергей настоял, чтобы она села на подоконник, откуда ей будет лучше видно, но выгнал ее после того, как она опозорила его перед Гольденберг. Внимание Лины привлекли три портрета, висевшие на стене. Она узнала строгие лица Ленина и Сталина, но третий был ей незнаком. «Кто это?» – спросила Лина. Гольденберг удивилась: «Разве вы не знаете? Это – Карл Маркс!»[242] Лина, пытаясь сгладить неловкость, заявила, что она, конечно, знает его имя, но не знала, что у него такая пышная борода. «Зачем ты это спросила?» – раздраженно прошептал муж. Лина, пожав плечами, ответила: «А как бы я узнала, кто это?»[243]

Из Киева Прокофьевы уехали в черноморский город Одессу. Сергей был почти незнаком с этим городом. Лина же помнила,

как в раннем детстве бывала здесь с дедушкой, Владиславом Немысским. Она узнала красивый фасад гостиницы «Бристоль», которая теперь называлась «Красная», и Государственный академический театр оперы и балета (современный Одесский национальный академический театр оперы и балета), недавно восстановленный после пожара[244].

Лина с Сергеем позировали профессиональным фотографам. Когда Сергей посетил Одесскую консерваторию, его сразу окружила толпа восторженных студентов. Еще в большее восхищение их привела игра композитора. Когда Прокофьев собрался уезжать, «вся консерватория, несколько сот человек, высыпала на улицу и провожала меня громкими выкриками; я же, отъезжая, раскланивался с ними. Словом, произошло целое народное волнение, очень симпатичное»[245]. В Одессе, как и в других городах СССР, тщательно отобранная благодарная публика пришлась Сергею по душе – он чувствовал себя популярным и востребованным.

Обратная поездка в Москву заняла два дня, с 16 по 18 марта, с двухчасовой остановкой в Киеве, которая потребовалась для смены локомотива. По приезде в Москву Сергей с Линой оказались в той же гостинице и в том же номере, из которого уезжали. Их сразу повели на экскурсию по Кремлю; на улице было холодно (минус 15 градусов по Цельсию). Реставратор показал, как идет работа по восстановлению фресок и других свидетельств царского прошлого, предварявшего просвещенное время. «Он с увлечением показывал мне рублевскую живопись, освобожденную из-под слоев краски, которую намазали сверху во время ремонтов соборов «в период некультурного царизма»[246]. Сергей решил, что нарушил правила, войдя в собор Успения Пресвятой Богородицы в шапке, но реставратор, «очень интересный человек, фанатик своего дела, культурный и тонкий, работавший за грошовое жалованье», увидев, что он хочет снять шапку, объяснил, что теперь церкви рассматриваются как музеи и находиться здесь без шапки невозможно, поскольку очень холодно. Они также нанесли визит троюродной сестре Сергея, Шуре Сержинской, которая с упоением рассказывала, какое хорошее воспитание получает ее сын в комсомоле. Сергей скептически отнесся к ее словам, сказав, что это напоминает промывание мозгов. В царское время тоже была пропаганда, парировала Шура[247].

Затем последовали два заключительных выступления с Персимфансом, и чиновники снова принялись засыпать Сергея вопросами о впечатлениях от пребывания в СССР. Даже Алексей Рыков, председатель Совета народных комиссаров, спросил,

оправдала ли поездка их надежды. «Мой приезд сюда – одно из самых сильных впечатлений моей жизни», – ответил Сергей. «В сущности, я совсем не похвалил Большевизию, и в то же время выглядело, что я высказался в предельно похвальных выражениях»[248]. Сергей не записал, что ответила Лина.

Последние два дня в Москве были заполнены хлопотами, связанными с получением германской визы и транзитной польской визы. Хотя Цуккер объяснял, что через Ригу ехать безопаснее, чем через враждебную Польшу, Прокофьев остался непреклонен. Пока Сергей занимался визами, Цуккер повел Лину в Госторг, где у него была возможность купить лучшие товары, предназначенные для продажи за границей, в том числе роскошные шубы. Госторг располагался на Мясницкой, в здании в стиле конструктивизма. Но на Лину большее впечатление произвело огромное здание Коминтерна, «нечто вроде банки с микробами, которые рассылаются отсюда по всему миру»[249]. Один из тысяч служащих Коминтерна позвонил по телефону и попросил Сергея выступить на концерте, организованном в честь предполагаемой победы Коммунистической партии Китая (КПК) в Шанхае, – событие, вызвавшее у Цуккера и его товарищей до нелепого бурную радость. Коминтерн, объяснили Сергею, оказывает финансовую поддержку Коммунистической партии Китая. Сергей отказался выступить, сославшись на то, что его слишком поздно предупредили. «Разве можно приглашать артиста чуть ли не за несколько минут до концерта? Что же это будет за вечер? Я совершенно не могу по такому важному случаю играть с бухты-барахты и как попало. Нет уж, передайте вашим организаторам, чтобы они в следующий раз организовывали вечер на более серьезных началах, – и тогда я буду к вашим услугам»[250].

Уезжали Прокофьевы с Белорусского вокзала в международном поезде, который, по словам Сергея, имел «нарядный вид». На перроне Прокофьев и Мясковский обменялись подарками: Мясковский принес в подарок Прокофьевым несколько коробок сладостей, а Прокофьев подарил Мясковскому рубашки и галстуки из Парижа. «Провожавшие глядели на нас не без зависти: еще бы, через 2–3 дня в Париже!» – написал в дневнике Сергей, но главное, что занимало его мысли, – несомненный успех турне[251]. Прием, оказанный Сергею в Москве, Ленинграде и на Украине, превзошел его ожидания – он еще никогда не чувствовал себя таким популярным, таким влиятельным, каким был в Советском Союзе. Единственной ложкой дегтя в бочке меда было то, что так и не удалось добиться освобождения двоюродного брата Шурика, который позже

пришлет Сергею письмо и попросит, чтобы тот перестал за него ходатайствовать. Вмешательство Сергея только усугубляло положение Шурика.

За время долгой дороги впечатления от поездки в СССР успели несколько сгладиться. Вернувшись в Париж, они занялись бытовыми вопросами – поиском меблированной квартиры и покупкой автомобиля. Еще до гастролей по Советскому Союзу Сергей планировал научиться водить, и, если верить предположениям друзей семьи, на машину были потрачены если не все гонорары за концерты в Советском Союзе, то, по крайней мере, значительная их часть. В январе Сергей получил carte rose (водительские права). Лина же сдала экзамен по вождению в июне, хотя сама была низкого мнения о своих способностях. Ей не понравилось посещение автомобильного салона, поскольку вместе с ними пошел Борис Башкиров, с недавних пор подрабатывающий ночным извозом. Лина мечтала об американском автомобиле, Buick («бьюик») или Lincoln («линкольн»), но Сергею нравились машины испанской компании Hispano-Suizas («Испано-Сюиза») и французской компании Delage («Делаж»). Но пришлось остановиться на подержанном автомобиле французской компании Ballot («Балло»), который стоил 27 тысяч франков – новая машина обошлась бы в 80 тысяч. Но не обошлось и без хлопот – автомобиль нуждался в покраске, и страховка оказалась намного дороже, чем они предполагали.

Как только все проблемы были улажены, Прокофьевы начали осваивать дороги Парижа и его окрестностей. Сергей все больше времени проводил за рулем, совсем забросив работу. Позже он возил друзей и приглашенных гостей из России в tournees gastronomiques (гастрономические поездки) на юг Франции, считающийся раем для гурманов. Сергей тщательно следил за пробегом, расходом бензина и скоростью движения (рекорд составил девяносто километров в час). От запаха бензина у Сергея начались головные боли, которые он пытался лечить с помощью рекомендаций Христианской науки. Отказываться от вождения Сергей не собирался. Лина считала, что за рулем мужу не место. После поездок по городу на машине каждый раз появлялись свежие вмятины, а в окрестностях Парижа жертвами его лихачеств становились ни о чем не подозревающие куры. Велосипедисты тоже сильно рисковали, встречаясь с ним на дороге. Весной 1929 года он столкнулся с автомобилем, когда возвращался в Париж из Монте-Карло. По словам Лины, муж заплатил 935 francs pour reparations de l’accident (935 франков компенсации за аварию)[252].

Спустя шесть месяцев в Кюлозе, городе во Французских

Альпах, на полном ходу отлетело заднее колесо и машина перевернулась. И водителя, и пассажиров выбросило на дорогу. Сергей сломал зуб, потянул мышцу левой руки и ободрал ягодицы. Лина, отделавшаяся кровоподтеками на лице, увидела, что вокруг все усыпано осколками стекла, а на земле сидит рыдающий Святослав. Лина испытала глубокое негодование, услышав, как находящийся в полубессознательном состоянии муж беспокоится о вылетевших из машины рукописях. Прокофьевы сняли на пять дней номер в Кюлозе, после чего Лина заверила друзей и почуявших сенсацию репортеров, что все живы. Газеты не пожалели черных красок для описания этого случая. Через год Сергей заменил старенький «балло» на хотя и подержанный, но находившийся в хорошем состоянии и более удобный «шевроле». Теперь Прокофьев водил намного аккуратнее, и Святослав запомнил отца как добропорядочного, осторожного водителя. В Москве у Прокофьевых будет голубой «форд» из Сент-Луиса, штат Миссури, – пример капиталистического изобилия, производивший сногсшибательное впечатление на окружающих.

7 апреля 1927 года Лина согласилась переехать в меблированную квартиру в доме номер 5 на авеню Фремье, в 16-м округе. До этого они жили в Париже в 17-м округе, на улице Труаен, 18. Лина жаловалась на неудобства, связанные с переездом, но была вынуждена признать, что новая квартира ей нравится. Два окна выходили в сад, а вдалеке виднелась Сена. Лина и Сергей забрали Святослава у нянь. Одна из них заплакала, прощаясь с малышом и глядя вслед отъезжающей машине.

Для Сергея возвращение из России совпало с началом подготовки к премьере балета «Стальной скок». В Париже балет был принят прохладно, но в Лондоне получил положительные, даже хвалебные отзывы; критики, левые и правые, тщательно изучали его представление об СССР на предмет признаков политической подрывной деятельности. Сергей не одобрял изменения в тщательно продуманном первоначальном замысле и новые кричаще безвкусные номера. Тем временем в Советском Союзе с успехом шла блестящая постановка оперы «Любовь к трем апельсинам». Сергей наслаждался льстивыми телеграммами и письмами из Москвы. Время от времени в советской прессе появлялись негативные отзывы о его творчестве, которые они с Линой приписывали завистливым второразрядным композиторам из Российской ассоциации пролетарских музыкантов – как отметил Сергей, оплаченной большевиками в долларах США. Шли разговоры о следующих гастролях.

А вот во Франции предстояло нелегкое дело: завершение

работы над оперой «Огненный ангел» для предполагаемой премьеры под руководством Бруно Вальтера в Берлине. Времени катастрофически не хватало, и Прокофьев работал над оперой с профессиональным оркестратором. Это был, как правило, небритый, неопрятный Георгий Горчаков, которому маленький Святослав дал прозвище Грогжи.

Горчакову было поручено записать оригинал партитуры «Огненного ангела», основываясь на сокращенных пометках, которые понимал только сам Прокофьев. Горчаков работал с композитором дома. Атмосфера царила гнетущая. Когда Сергей отправлялся в кабинет, особенно по утрам, Лина, Святослав и няни должны были соблюдать полную тишину. «Он буквально устроил музыкальный завод. Прокофьев начинал рано, самое позднее в девять утра, и работал до обеда… Горе тому, кто осмелится побеспокоить его, приоткрыв дверь! В эти моменты мы не могли приближаться к нему с какой-либо просьбой: он был настолько поглощен движением и логикой своей мысли, полностью сосредоточившись на лучшем и наиболее логичном музыкальном решении задачи момента, что любое вторжение внешнего мира провоцировало сильную, иногда жестокую реакцию», – вспоминал Горчаков[253]. И если малыш, которому было всего три года, «слишком шумел в детской, которая находилась далеко от кабинета, Прокофьев открывал дверь и кричал по-русски: «Грогжи, принеси мне зеленую линейку для хорошего шлепка по заду». Святослав вопил по-французски: «Нет, нет!» – и замолкал»[254].

Несмотря на непростой характер Прокофьева, Горчаков относился к нему с благоговением. Сохранились отдельные воспоминания Горчакова о жизни Прокофьевых на улице Труаен до переезда на авеню Фремье. Горчаков рассказывал о чудачествах Прокофьева и о его бешеной работоспособности, особенно когда поджимали сроки. Горчаков вспоминал, как Сергей записывал неожиданно пришедшие на ум мелодии на первых попавшихся клочках и обрывках. Сергей испытывал облегчение, перенося свою мысль на бумагу. В общественных местах он мог начать играть на воображаемом рояле. А бывало, что Сергей неожиданно терял нить разговора и устремлял вдаль пристальный взгляд[255].

В то время как остальные домочадцы соблюдали полную тишину, Сергей бесконечно повторял «блоки фантастических диссонансов», от которых дрожали стены. Прокофьевых давно бы выселили, но, по счастью, внизу жили русские, которые «могли терпеть все виды музыкальных пыток или были глухими».

Горчаков утверждал, что Сергей из-за перегруженности

работой иногда «терял чувство времени и пространства»[256]. Как-то он «прекратил работать, когда до священного времени файф-о-клока оставалось прилично времени, и, предупредив жену, что вернется к пяти, отправился прогуляться по набережной Пасси. Подошло время чая, но Прокофьев все не шел. Около десяти вечера открылась дверь, и появился Прокофьев – во время прогулки начал прокручивать в уме некоторые пассажи из «Огненного ангела» и незаметно дошел от Парижа до Версаля через Медонский лес»[257].

Грогжи время от времени приезжал к Прокофьевым в Сен-Пале-сюр-Мер. На лето они сняли дом на Атлантическом побережье, вблизи Руайана. Прокофьевы рассчитывали, что там будет спокойнее, чем на курортах, находившихся севернее, но погода не радовала. Дом был огромный, настоящая находка, с хорошей мебелью, чистыми стенами и полами и большим балконом, с которого Сергею очень удобно было любоваться звездным небом… С одной стороны раскинулось цветущее поле, с другой – океан. Сергей продолжал работать над «Огненным ангелом», решив положиться на волю судьбы. В конечном счете предварительная договоренность с Берлинской оперой была аннулирована; это был сокрушительный удар, но Сергей отказывался признавать поражение. Он работал над оперой восемь лет и хотел увидеть ее на сцене. Летом 1928 года в Париже Сергей услышал фрагменты второго акта в исполнении оркестра под управлением Сергея Кусевицкого, но разве этого он хотел? Нина Кошиц исполнила партию гадалки. На шестнадцатом году карьеры она не могла претендовать на роль главной героини, Ренаты, к тому же Кошиц слишком часто пела в кабаре, и это отразилось на ее голосе не в лучшую сторону. Пресса постановку проигнорировала, а люди, на которых Сергей хотел произвести впечатление, остались равнодушны.

Вечера в Сен-Пале-сюр-Мер протекали спокойно. Лина читала и вырезала статьи из газеты Christian Science Monitor[258]. Ее муж играл в шахматы по переписке и перечитывал дневниковые записи о своей юности в Санкт-Петербурге. Днем, когда Сергей работал, Лина наблюдала за тем, как сын учит французский и русский языки, и старалась подавить тревогу, связанную с приближающимся приездом родителей.

Прибыли они 26 июля. Ольга выглядела хорошо, а на Хуана было страшно смотреть – изможденное, болезненного цвета лицо больного стенокардией. Как только Хуан сошел на берег, у него начались сильные боли в груди. Родители провели с Линой и Сергеем оставшуюся часть лета. Основных проблем было две – слабое здоровье Хуана и необходимость присматривать за

ребенком. Ольга не соглашалась с дочерью, советовавшей прибегнуть к помощи Христианской науки, считая, что лекарства помогут мужу лучше, чем молитвы. Но и то и другое было бессильно. В августе состояние Хуана ухудшилось. Он задыхался, приступы участились. Ольга с Линой возобновили спор о методах лечения, но Ольга еще более укрепилась в скептическом отношении к Христианской науке. Один вид больного мужа опровергал утверждения дочери о ложной природе всех недугов.

Лина продолжала заниматься пением, пополнив свой репертуар главной партией из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка». В октябре, в день ее тридцатилетия, с подачи Сергея Лина приняла участие в концертном исполнении оперы. Но вечер был испорчен бесцеремонным заявлением Лины, что Сергей ничего не понимает в пении. Композитор, сочинивший четыре оперы, был оскорблен до глубины души. Ссора затянулась до глубокой ночи. Лина припомнила мужу всех былых любовниц, включая Марию Барановскую, Фру-Фру, – бывшую актрису, вышедшую замуж за пианиста Боровского. Та любила похвастаться перед Линой, рассказывая об элитных маникюрах и прочих прелестях роскошной жизни. Дошла очередь и до писем, недавно полученных Сергеем от еще одной поклонницы. Конфликт вышел нешуточный, и Лина решила спать в эту ночь одна, но не выдержала и вернулась к мужу, испугавшись каких-то непонятных звуков за окном.

Лине нелегко было вернуть прежнюю форму, но она планировала возобновить выступления с мужем. Иногда профессиональное сотрудничество было более обременительно, чем их личные отношения, иногда наоборот. Лина получила приглашение выступить с Сергеем в Лондоне. Она исполняла песни на стихи Бальмонта, переведенные с русского на английский. Сергей отметил, что у жены улучшился тембр голоса, но остались проблемы с дикцией, несмотря на то что ее разговорный английский был безупречен. Концерт записывался в студии радиостанции BBC Radio 1. В студии присутствовали тридцать слушателей. Сергей исполнил свои пьесы для фортепиано «Мимолетности».

* * *

Прокофьевы добирались до Англии на поезде и пароме и 3 декабря прибыли в Лондон, но в Париж решили вернуться на самолете. Авиакомпания Imperial Airlines обеспечивала полеты между лондонским аэропортом Кройдон и парижским Ле Бурже

на трехмоторных самолетах компании Armstrong Whitworth. Двадцать пассажиров находились в закрытом салоне, командир и второй пилот размещались в открытой кабине, оборудованной сразу за фюзеляжным двигателем. С 1 мая 1927 года авиакомпания впервые в мире ввела на линии фирменное обслуживание. Линия даже получила собственное название – Silver Wing. Самолеты, летавшие между двумя европейскими столицами, переоборудовали с большими удобствами для пассажиров. Количество мест в салоне снизили с двадцати до двенадцати, чтобы вместить буфет. Пассажиров стали обслуживать стюарды, одетые в белую форму. Впервые в практике авиапутешествий они подавали пассажирам чай и горячее питание, несмотря на трудности, связанные с турбулентностью. Рейсы выполнялись ежедневно и продолжались около 2 часов 15 минут.

Не считая покупки шерстяных пледов из шотландки, удобных в поездках, визит в Англию можно было считать неудачным. От лондонских туманов Лина простудилась и была вынуждена отменить выступление. От разочарования Лина расплакалась, поскольку напряженно готовилась к выступлению на протяжении нескольких недель. Сергей утешал, говоря, что лучше отменить выступление, чем спеть не на должном уровне. Отправляясь на студию, Прокофьев заверил жену, что они по-прежнему команда. Но он тоже был раздосадован, поскольку рассчитывал на нее, и в конце ноября – начале декабря даже прервал выступления, решив вплотную заняться творчеством. Когда после записи концерта он вернулся в их номер в отель Albemarle Court, то нашел жену в отчаянии: она упустила еще один шанс завоевать признание. Опять же из-за болезни Лина будет вынуждена отказаться от приглашения выступить вместе с мужем в Барселоне весной 1928 года.

Между тем карьера всех ее знакомых певиц шла в гору. Вера Янакопулос все еще выступала, а лирическое сопрано Зоя Лодий с удовольствием сообщала Сергею о своих успешных выступлениях по всему Советскому Союзу. Лодий исполняла «Гадкого утенка», камерное произведение для сопрано и фортепиано по сказке Ганса Христиана Андерсена. Среди зрителей были солдаты Красной армии и рабочие. Лина разучивала партии с Лодий, когда та была на гастролях в Париже. Попытки советских культурных представителей наладить отношения с Сергеем продолжались, добиться же расположения Лины они стремились по одной причине – она была его женой.

После успешных визитов в Москву, Ленинград и Украину в 1927 году советник советского посольства в Париже Иван (Иосиф)

Аренс должен был организовать новые гастроли по Советскому Союзу. Он увлекался музыкой, в юности брал уроки игры на фортепиано, а его способность к языкам позволила ему служить сталинскому режиму в Париже, а позже в Оттаве и Нью-Йорке. Однако судьба сыграла с Аренсом злую шутку – в 1937 году его отозвали в Москву, взяли под арест и расстреляли, обвинив в шпионаже и участии в контрреволюционной террористической организации. Аренс пригласил Сергея в свой кабинет в доме номер 79 по улице Гренель, показал груду партитур советских композиторов и попросил, чтобы Прокофьев выбрал лучшие для будущих парижских премьер. С Линой Аренс познакомился в русском ресторане и был с ней чрезвычайно любезен, даже льстив. Когда ему представили супругу Прокофьева, элегантно одетый Аренс низко поклонился и поцеловал ей руку. Аренс пригласил Прокофьевых на официальный прием – предложение, от которого они не могли отказаться. Полученные Сергеем документы на въезд в Советский Союз были просрочены, и он опасался, что это может иметь неприятные последствия. Аренс помог ему сделать новые документы за большие деньги – 900 франков – и посоветовал использовать рубли, заработанные во время гастролей, на то, чтобы получить квартиру в Москве.

Прокофьевы познакомились с Аренсом в конце лета 1928 года, когда были на отдыхе. Они поехали на «балло» во Французские Альпы, где сняли дом, понравившийся Сергею, но не Лине. Впрочем, через некоторое время супруги решили отдыхать отдельно – Сергей предпочитал активный отдых, Лина же не могла составить ему компанию, поскольку была беременна вторым ребенком и быстро уставала. Поездка запомнилась неприятным происшествием – машина застряла в канаве и, чтобы вытянуть ее оттуда, понадобилась лошадь.

Лина плохо спала, поскольку была в положении. К тому же грозы в горах вызывали ночные кошмары и заставляли просыпаться посреди ночи. Она воссоединилась с мужем в Шамони, в летнем доме Сергея Кусевицкого и его жены Наталии, которая обожала Лину и Святослава. Сохранилась фотография, на которой изображены все четверо: дамы в платьях с рисунком, знаменитый дирижер и Линин сын в шортах. Кроме Прокофьевых и Стравинского, к Кусевицким приехал коллега из Ленинграда, музыкальный критик и композитор Борис Асафьев. Гости пили вино и ели шашлык. Говорили об имперском прошлом России; у Стравинского была аллергия на все советское, поскольку он был православным христианином и поддерживал правое политическое крыло. Утром Наталия проснулась, услышав, что кого-то тошнит,

и решила, что Лина испытывает утреннее недомогание. Но это был Стравинский, получивший пищевое отравление.

Лина вспомнила, что в то лето познакомилась с двумя русскими композиторами-эмигрантами: Владимиром Дукельским, также известным под именем Вернон Дюк, и Николаем Набоковым, двоюродным братом известного писателя Владимира Набокова. Дукельский сочинял популярные песни и серьезную музыку, и Сергею нравилось подшучивать над ним, называя «продажным». Лина помнила, как Дюк мучился, сочиняя музыку к балету «Зефир и Флора», и как был благодарен Сергею за помощь. Дюк обладал своеобразным чувством юмора и часто отпускал шуточки в адрес ее мужа, хотя на самом деле боготворил Прокофьева.

Второго ребенка Лина родила в первую неделю декабря 1928 года, там же, где и Святослава, – в Париже, в госпитале Святого Антония. Они с мужем хотели девочку и даже придумали имена: два русских – Светлана и Людмила, а два более вненациональных – Лидия и Наталия. Имя Галина мать отклонила сразу – на итальянском «gallina» означает «курица». На случай, если опять родится мальчик, Сергей снова предложил имя Аскольд. Лина считала, что это имя может вызвать насмешку у англоговорящих, поскольку созвучно с двумя словами – «задница» и «холодный».

Лина почувствовала некоторый дискомфорт 3 декабря, но ей сказали, что еще слишком рано ложиться в больницу. Сергей предложил днем сходить в кинематограф, но они посмотрели афишу и не нашли интересного фильма. Лина почувствовала себя лучше; ее состояние то ухудшалось, то улучшалось. Наконец 13 декабря – в четвертую годовщину смерти матери Сергея – у Лины начались схватки. Утром она пришла в больницу, подозревая, что родит не раньше вечера. Сергей оставил ее на попечении Кэролайн Гетти, представительницы комитета Христианской науки. Он вернулся ближе к вечеру. Из комнаты, в которой лежала его жена, периодически доносились стоны. Лина родила 14 декабря в пять утра. Стоя под дверью, Сергей слышал, как доктор командовал: «Respirez tranquillement! Poussez! Ne poussez pas! Poussez encore! (Дышите ровно! Тужьтесь! Расслабьтесь! Тужьтесь!)» Его дочь в любой момент могла появиться на свет. И тут доктор объявил: «Un garçon! (Мальчик!)»[259].

Впрочем, разочарование было недолгим. Радостный Сергей позвонил матери Лины, затем зашел в кафе, гадая, кто еще бодрствует на рассвете, помимо почтальонов и страдающих бессонницей. Сергей встретил и тех и других. После двух часов беспокойных метаний он вернулся в больницу и увидел жену, которая пребывала в прекрасном настроении, но «странный» вид

ребенка потряс его. Он похож, грубо заявил Сергей, на еврейско-украинского скрипача «Мишу Эльмана – что может быть хуже!»[260]. Однако малыш был очаровательный, и отцовское сердце оттаяло. На следующий день Сергей привел Святослава, чтобы он повидался с матерью и братом; Святославу объяснили, что братика купили ему в подарок на Рождество. «Лучше бы купили младшую сестренку», – сказал Святослав, на что родители ответили, что братики стоили дешевле, чем сестренки.

Опять начались споры относительно имени ребенка. 17 декабря был крайний срок регистрации новорожденного. Сергей опять принялся настаивать на Аскольде; Лина была категорически против, и доктор поддержал ее, сказав, что с таким именем ребенка нельзя будет крестить. Отца Прокофьева тоже звали Сергей, поэтому новорожденному не могли дать это имя – решили, что три Сергея в одной семье – это уже слишком. В последнюю минуту вспомнили имя Олег. Это имя оставило след в истории: вещий Олег считается основателем Древнерусского государства. Александр Пушкин написал балладу о вещем Олеге.

Рождение ребенка означало, что Лина не сможет сопровождать мужа во время второй поездки в Советский Союз. Сначала они планировали отправиться туда вместе, но поездка была отложена по финансовым и политическим причинам. Держановский, в телеграмме от 19 декабря 1928 года, сообщил, что из-за проблемы с оплатой его выступлений в твердой валюте гастроли могут быть перенесены на февраль или март. Прокофьев был искренне огорчен: «Идя домой, думал о России, и меня страшно тянуло туда. И в самом деле, какого черта я здесь, а не там, где меня ждут и где мне самому гораздо интереснее? Христианская наука успокаивает. Ничто не делает вас счастливыми, ни место, ни окружение. Царство божие внутри вас»[261].

Глава 7

Переезд в Советский Союз был длительным процессом. Здесь Лина ощущала себя чужой. Жизнь в столице Советского Союза, Москве, казалась пугающей. Величественные памятники современной архитектуры подавляли, заставляя чувствовать себя неуютно. Жизнь в СССР протекала в группах: Всесоюзная пионерская организация, Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, профсоюзы, колхозы, рабочие бригады, трудовые лагеря. Улицы Москвы расширили и выровняли, чтобы устраивать парады. Повсюду виднелись красно-черные знамена в конструктивистском стиле, с угловатыми буквами. Саркофаг с телом Ленина поместили в центр города, исследование мозга при вскрытии доказало его колоссальный интеллект.

За несколько месяцев до переезда, с октября 1935 года по февраль 1936 года, Лина жила в гостинице в центре Москвы. Как ни парадоксально, но Сергей провел часть этого времени на гастролях в ее родной Испании. Ей пришлось самой пройти через бюрократический лабиринт сталинского режима и самостоятельно принимать важные решения относительно ее семьи и будущего детей. Бюрократические процедуры были трудны и неприятны, но теперь отступать было поздно. Притяжение Советского Союза сокрушило все прочие доводы. В конечном счете именно Лина, а не ее муж, поставила последнюю точку в этом деле.

Процесс, конечно, начал Сергей. Его турне по Советскому Союзу в 1927 году было успешным для всех заинтересованных лиц: администраторов театров и концертных залов, где он выступал; старых друзей по Санкт-Петербургской консерватории; пылких поклонников его очаровательной жены и чиновников на вершине сталинской властной структуры. Приятные впечатления от поездки, ностальгические воспоминания детства и недовольство карьерой на Западе стерли из памяти то, что он знал о темной стороне советской власти, – к тому же Сергей продолжал считать, что лично ему опасаться нечего.

Его обманывали, и недостаток информации позволил Сергею впасть в заблуждение. Доказательства можно найти в письмах, которыми он обменивался с Николаем Набоковым. Они познакомились при посредничестве Дягилева и продолжали регулярно общаться до начала 1930-х, до переезда Набокова из Франции в Соединенные Штаты.

Приятели частенько злословили о русских соперниках в Париже, особенно о Стравинском, которому завидовали больше всех. Но однажды они обменялись мнениями о Ленине и Сталине. В 1931 году Сергей предсказал неизбежный конец Российской ассоциации пролетарских музыкантов, своих главных советских противников в конце 1920-х. В предыдущем письме Набоков вкратце описал музыкальную жизнь в Советском Союзе начиная с прихода к власти Сталина и появления пятилетних планов, нацеленных на ускорение развития промышленности. Набоков с отчаянием говорил, что Россия «нуждается не в нашей музыке, а в какой-то более грубой, более примитивной». Конечно, они с Сергеем горячо одобряют «неизбежный политический процесс», но для композиторов переезжать в СССР неразумно – карьерные перспективы весьма сомнительны… «Если бы я не был музыкантом, – писал Набоков, – думаю, что поспешил бы в Советский Союз. И это не пустые слова, это серьезно; недавно я много думал об этом»[262]. Вместо этого Набоков умчался в Соединенные Штаты, где в итоге работал в подразделении ЦРУ.

В своем воображении Сергей окружил поездку в Советский Союз в 1927 году ореолом поэтичности и предсказывал, что при Сталине культурная сфера будет процветать. В отличие от Набокова он считал, что отношение Сталина к культуре становится более, а не менее либеральным. Вот почему он сказал Набокову: «Я думаю, что дела на музыкальном фронте не столь плохи, и если я и перееду в Москву, то как раз по той причине, что я музыкант»[263]. Декрет об организации возвращения эмигрантов ЦИК принял еще в 1925 году, но Прокофьева удалось склонить к переезду далеко не сразу. На Лину тоже пытались воздействовать, но обхаживать ее стали значительно позже. Она могла сопротивляться убеждению, Сергей же был гораздо податливее.

Однако он сомневался относительно окончательного переезда в Советский Союз. Но со временем стало ясно, что на постоянные заказы музыки для советских опер, балетов, кино и театра рассчитывать не приходится, пока Сергей не сменит местожительство. Тем не менее были основания усомниться в радужных надеждах. Второй приезд в Советский Союз охладил энтузиазм, особенно после враждебной критики в адрес балета «Стальной скок». Советам показалось, что во втором акте Сергей высмеял сталинскую политику индустриализации, представив советского рабочего рабом производства. Либо Сергей сделал это по незнанию, либо, что еще хуже, не смог оценить успехи, сделанные пролетариатом при Ленине и Сталине. После прослушивания балета в Большом театре представители

Российской ассоциации пролетарских музыкантов выступили с резкой критикой «Стального скока». Несправедливые упреки вызвали у Сергея страшное раздражение. Он подчеркнул, что его творчество не имеет ни малейшего отношения к политике. «Надо же было дойти до такого идиотизма: пролетарские музыканты искали в моих замыслах к «Стальному скоку» «правый уклон», прикрываемый тогой левых фраз». Но к этому времени ему бы уже следовало понять, что в СССР музыка – как и все искусство – являлась политическим инструментом.

Однако в 1934 году Сергей стал убеждать Лину, что единственный способ спасти его карьеру театрального композитора – переехать из Парижа в Москву. В СССР Лина сможет состояться как певица, уверял Сергей жену, и дети получат хорошее образование на русском и английском языке. Им обещали, что Святослава и Олега примут в специальную английскую школу для детей, чьи родители являются работниками Внешторга. Советская культура процветала. Изменения учебных планов консерваторий и репертуара театров привели к повышению музыкальных стандартов. Российская ассоциация пролетарских музыкантов, к счастью, была распущена, и ее место занял профсоюз. Сергей верил, что сумеет донести свою музыку и до широкой аудитории, и до партийного начальства. Он перешел на упрощенный мелодичный, гармоничный язык и не собирался возвращаться к музыке, подобной «Огненному ангелу»; он с удовольствием вернулся к русским традициям, которые хотели сохранить Советы.

Во Франции и Соединенных Штатах возможности для творческого роста, напротив, сокращались. Дягилев, импресарио «Русского балета», умер в 1929 году от осложнений сахарного диабета. Для всех, кто был в состоянии оценить его гений, потеря была невосполнима. К тому же Прокофьев на собственном горьком опыте убедился, что не может соперничать со Стравинским, хотя, как любил шутить Сергей, он был на восемь лет моложе конкурента. И хотя Прокофьев, возможно, превзошел Рахманинова как виртуоз, на Западе его музыка пользовалась меньшей популярностью. Стравинского на Западе также ставили на более высокую ступень. Таким образом, выбор Прокофьева определило честолюбие.

Агенты НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР) как в Париже, так и в Советском Союзе изо всех сил старались завербовать Прокофьева. Среди них особенно выделялся разбитной, жуликоватый Левон Атовмян, служивший одновременно и чиновником, и виолончелистом. В мемуарах, опубликованных после выхода в отставку, он написал, что в 1932

году его вызвали в НКВД и дали задание убедить Прокофьева и других известных деятелей культуры, живших за границей, «переехать в Советский Союз». Атовмян написал, что реакция Прокофьева на его советы была «весьма положительной, но с оговоркой, что он перегружен концертами, а потому немного отложит дату своего приезда»[264]. Последовала активная переписка, которая привела к ряду выступлений в СССР. Согласно Атовмяну, Прокофьеву даже предлагали собственный дом в Москве. Сергей сказал, что не может это себе позволить.

Между тем в Москве все чаще стала звучать музыка Прокофьева, в то время как на Западе интерес к его творчеству неуклонно снижался. В 1933 году Прокофьев впервые написал музыку к фильму. Это был фильм «Поручик Киже», снятый на студии художественных фильмов в Ленинграде[265]. В 1934 году советские театры завалили Сергея заказами. Радовали и обещания поставить на сцене его оперы и балеты, хотя друзья предупреждали Сергея, чтобы он не слишком воодушевлялся. Ситуация в московских и ленинградских театрах складывалась непростая. Во время своих визитов в Советский Союз в 1933 и 1934 годах Сергей, захлебываясь от восторга, писал Лине в Париж о том, каким окружен вниманием и каким пользуется успехом. Лина разделяла его восторги: «Твое письмо настолько интересное, что я перечитывала его много раз, меня тянет в Советский Союз; здесь все кажется таким скучным»[266]. Она написала мужу об удивительно радушном приеме, оказанном ей в советском посольстве в Париже Владимиром Потемкиным, новым послом.

Письма, в которых Лина и Сергей обсуждали конкретные вопросы, связанные с переездом, не сохранились. Супруги предпочитали разговаривать на эту тему при встрече или – насколько позволяла связь – по телефону. В 1934 году Сергей дважды звонил Лине из Ленинграда, и оба раза их беседу прерывали на полуслове. Операторы не вмешивались, когда связь была плохой, но, если на линии не было помех, создавали их сами. Хихиканье тех, кто подслушивал разговор, заглушало слова Сергея. Когда Лина поняла, в чем дело, она стала отвечать на вопросы уклончиво, избегать щекотливых тем и пересыпать речь метафорами. Но у нее мороз побежал по коже, когда 19 ноября Сергей неожиданно позвонил и сказал: «В.Ф. спрашивает, почему ты…» – «Плохо слышно!» – закричала она в трубку и услышала в ответ чужой голос: «Слышимость была прекрасная, я просто решил вас разъединить»[267].

Такие случаи вызывали у Лины тревогу, но Сергей не беспокоился о будущем. Прокофьев был даже слишком спокоен.

Возможно, с помощью музыки он сможет соединить Запад и Восток. Что, если известность в Советском Союзе, куда боялись ехать Стравинский и Рахманинов, сделает Прокофьева более популярным во Франции и Соединенных Штатах? До того как их разъединили, Сергей успел сказать Лине, что его чествовали в Кремле. Ему передали, что Сталин назвал его «наш Прокофьев», имея в виду, что Сергей поддерживает советскую власть, солидарен с советским народом[268].

Похвалы заставили утратить осторожность. Сергей сумеет убедить жену в том, в чем убедили его, и она начнет всерьез интересоваться советской политикой, читать расшифровки стенограмм речей Сталина, прочтет биографию правителя, опубликованную в 1931 году Сергеем Дмитриевским. Лина нашла книгу «живой и интересной, но местами автор противоречит сам себе»[269]. Она регулярно изучала раздел «Культура» в эмигрантской газете «Последние новости», на которую у них с Сергеем была подписка. Эти источники информации уравновешивались статьями в Nouvelle Revue Française[270] об угрозе со стороны Адольфа Гитлера и национал-социалистов. Лина воспринимала информацию критически, но быстро переняла советские взгляды, игнорируя зловещие новости из СССР. Лина считала все это западной пропагандой. Когда появилось сообщение об убийстве первого секретаря Ленинградского обкома партии Сергея Кирова и массовых арестах, последовавших за ним, у Лины эта информация вызвала скорее сочувствие, чем страх: «Как печально все происходящее в СССР. Здесь эмигрантские газеты пишут черт знает что. Если бы только все это быстро разрешилось к лучшему»[271].

Лина стала частым гостем в советском посольстве в Париже, приходила на концерты русской и советской музыки, лекции и показы фильмов. Она посмотрела музыкальную комедию «Веселые ребята», некоторые шутки в которой показались Лине слишком избитыми. Видела она и документальные фильмы, один о зимних видах спорта в Ленинграде, второй – о приеме Сталиным представителей Туркменской республики в честь 10-й годовщины ее вхождения в состав СССР. Приемы в честь годовщин революции поражали пышностью. Лина вращалась в блестящем обществе: промышленник Андре Гюстав Ситроен, французский социалист Пьер Кот, знаменитый писатель Андре Жид, английский племянник Зигмунда Фрейда Сэм и все видные американцы, придерживавшиеся левых взглядов. Приходили бунтующие против устоявшихся традиций французские артисты, а также советские театральные режиссеры Александр Таиров и Всеволод Мейерхольд. Сергей работал с обоими и высоко

оценивал их талант. Лина же заметила, что эти двое – непримиримые соперники. Сотни людей приходили на эти встречи, стремясь окунуться в атмосферу политических интриг.

Жена посла, Мария Потемкина, приглашала Лину то на чай, то на обед и усаживала на почетное место рядом со своим супругом. В доме Потемкиных Лина снова встретилась с Жаком Садулем, французским корреспондентом газеты «Правда», и новым директором ВОКСа Александром Аросевым. С последним Лина и Сергей познакомились в опере в Праге. Чиновники низшего уровня, которых Лине представили в посольстве, произвели на нее, в отличие от Аросева, не слишком приятное впечатление – у этих людей были тусклые глаза, бледные лица и чопорные манеры. Некоторые восхищались милой старомодностью Парижа, но большинство предпочитали демонстрировать несгибаемую преданность революционным идеалам. Говорили о глобальной реконструкции Москвы, победах коллективизма и необходимости защиты социализма от гитлеровской угрозы, об образовании Народного фронта в Испании. Лине нравились эти вечера.

Она была рада, что может отдохнуть от домашних дел, которые лишали ее жизнь изящества и блеска. Лина пыталась убедить себя, что карьера ее не сложилась именно потому, что она посвятила себя мужу и сыновьям. Успешные выступления в женском клубе в Париже не могли соперничать с достижениями Веры Янакопулос и Нины Кошиц, и Лина испытывала зависть, причем не только профессиональную. В 1931 году Лина совершила турне вместе с мужем, выступала в Париже, Вене, Будапеште и Бухаресте. 27 марта 1931 года, выступая в главном концертном зале Бухареста, румынском Атенеуме, она исполнила весь свой репертуар – от испанских народных песен, которым научил ее отец, до русских народных песен в аранжировке Сергея и избранных произведений Глинки, Мусоргского и Стравинского. К огорчению Лины, все положительные рецензии достались мужу. Ее выступление подверглось резкой критике. «То, что произошло на концерте прошлым вечером, выше всякого понимания, – возмущался один из критиков, – зачем знаменитый гость испортил столь содержательную программу жалким вокальным дивертисментом мадам Любера… она испортила десятки красивых мелодий, умудрившись спеть их не только без голоса, но и на четверть тона ниже». Рецензент сделал вывод, что известность Сергея такова, что он мог себе позволить «такой странный каприз»[272].

Лина не только сделала вид, что не было никакой критики в ее адрес, но, наоборот, вспоминала, что «концерт имел такой

успех», и ее пригласили на ужин в военный клуб. «Я имела такой успех у всех этих военных, что Сергей очень злился»[273]. В таких случаях, уточнила она, он мог сравниться по свирепости с мифическим трехголовым псом Цербером. Один из офицеров, танцевавших с Линой, обещал прислать в Париж несколько румынских народных песен. Сергей сразу запихнул ноты в чулан, отказавшись даже взглянуть на них. «Это от твоего поклонника-офицера», – раздраженно бросил он»[274].

Несмотря на ужасные рецензии и кокетливое поведение Лины, Сергей продолжал устраивать совместные выступления. Возможно, он стремился продемонстрировать ей свою преданность, а может, просто хотел занять жену делом. В программе часто звучала французская версия его поэмы «Гадкий утенок», написанная в 1914 году. В 1932 году Прокофьев сделал новую версию «Гадкого утенка», и Лина захотела первой исполнить ее в главных городах Европы. Долгое время непревзойденными исполнительницами вокально-фортепианных версий были Янакопулос, Кошиц, Лодий и др. Сергей устроил Лине премьеру в Париже с небольшим оркестром под названием La Serenade. Генеральная репетиция прошла хорошо, но во время премьеры, вечером 19 мая 1932 года, Лина испугалась, разнервничалась, и у нее пропал голос. В результате ее пение едва можно было расслышать из зала. До Сергея доносилось хихиканье парижских снобов. Единственное, что можно было похвалить в этом выступлении, – красоту исполнительницы: Лина изумительно смотрелась в белом платье, особенно когда в конце выступления ей поднесли такие же белоснежные лилии.

Выступления Лины транслировали по радио в Варшаве и Праге. Первое было успешным, несмотря на то что у пожилого аккомпаниатора иногда тряслись руки. Но второе оказалось неудачным. Лина надеялась, что его не слышали в СССР. Ее последний педагог по вокалу, баск Альберти де Горостьяго, хвалил технику Лины, но сомневался в прилежании ученицы и постоянно устраивал ей испытания на выдержку. Горостьяго задал Лине арию из оперы Пуччини «Богема» и в 1934 году в течение нескольких месяцев работал над ее дыханием и произношением. Ей надоела ария, хотя она признала, что перфекционизм Горостьяго сыграл свою роль при прослушивании в Бордо, где готовили постановку «Богемы». Но домашние дела и очередная простуда заставили Лину пропустить прослушивание. После этого она перестала регулярно заниматься, но, когда весной 1935 года Горостьяго уехал в Голливуд, почувствовала себя брошенной. В Голливуде он давал уроки удивительно талантливой французско-американской оперной певице с

потрясающим колоратурным сопрано, Лили Понс, снимавшейся в то время в фильме I Dream Too Much («Я слишком много мечтаю»). Позже Понс появилась в фильмах That Girl from Paris («Эта девушка из Парижа»), Hitting a New High («Новые высоты») и Carnegie Hall («Карнеги-Холл»). – *Пер.*). Она пела перед огромными аудиториями. В 1937 году в чикагском Грант-парке ее слушали 175 000 человек. Понс разбивала сердца богатых поклонников, а ее фотографии регулярно украшали страницы модных журналов. Когда-то Лина тоже мечтала о такой жизни.

Теперь она рассчитывала, что получит возможность выступать в Москве, и прилагала все усилия, разучивая народные песни в современной обработке, которые, по заверению Сергея, встретят одобрение со стороны сталинских чиновников в сфере культуры. Лина предпочла бы исполнять арии Мусоргского, Чайковского и Римского-Корсакова, но ей следовало отработать дикцию, чтобы петь на русском языке. Она попросила Сергея прислать советские арии, но он не слишком спешил с отправкой. Тогда, подчиняясь мужу, Лина начала разучивать народные песни, собранные в Киргизской Советской Социалистической Республике Александром Затаевичем, который получил известность как музыкант-этнограф, записавший пятнадцать тысяч мелодий в Киргизстане и Казахстане. Для исполнения некоторых музыкальных произведений использовались только отдельные гласные, текста у них не было. Лину это раздражало, но Сергей, думая о будущем, настаивал, чтобы она продолжала упорно заниматься. Но Лина продолжала жаловаться на бессловесные гармонии. В конце концов Лина решила, что взяла на себя слишком сложную задачу, и разучила только два самых легких произведения: «Песню грузинского пастуха» композитора Азмай-Парашвили и «Колыбельную» Леона Шварца, 22-летнего выпускника Московской консерватории. Сергей познакомился с этими композиторами осенью 1933 года в Москве и по просьбе декана композиторского факультета Московской консерватории, с которым был в дружеских отношениях, дал несколько уроков им и другим студентам. Сергею хотелось, чтобы жена прославила их сочинения. Дебют Лины как «народной певицы» состоялся в январе 1924 года в Риме на концерте в Национальной академии Санта-Чечилия; аккомпанировал муж. Песни на французском языке имели огромный успех, как и запись концерта, прозвучавшая спустя четыре месяца по радио. Впрочем, диктор, имя которого осталось неизвестным, как и название радиостанции, делал ошибки в названиях народных песен и неправильно произнес фамилию ее мужа – назвал его Протопьевым[275].

В марте 1935 года Сергей снова был приглашен в Советский Союз, где в течение восьми дней дал семь концертов по ту сторону Урала, в Сибири[276]. Он выступал на заводах – это входило в программу по повышению культурного уровня рабочих. График был «чересчур плотный», написал он в письме практику Христианской науки Лоренсу Аммонсу, хотя признался, что «там было много интересного, на что стоило посмотреть»[277]. Сергей восхищался огромными доменными печами и жилищным строительством, «большими домами, пытавшимися дотянуться до небес», которые вытесняли «убогие, приземистые» домишки[278]. В тот период Лина получала от него мало известий, а летом муж и вовсе перестал писать. Сергей отдыхал в Поленове, где проводили отпуска артисты Большого театра. Пожить в доме отдыха предложил Прокофьеву директор Большого театра Владимир Мутных[279], бывший офицер Красной армии, который заключил с Прокофьевым договор на постановку балета «Ромео и Джульетта». Окружающие поля, лес и река вдохновляли на сочинительство. Утреннее купание и катание на плотах по Оке, теннис и игра в горелки на свежем воздухе, шахматы и вечерние прогулки – все это расслабляло и успокаивало нервы.

Меню было скудное. Суп и мясо не внушали доверия, а салатов и овощей было слишком мало. Прокофьеву обеспечили все удобства, в то время как в других комнатах, рассчитанных на одного, жили по трое взрослых. Вокруг бегали дети, за которыми никто не присматривал. В письмах к Лине Сергей хвалил творог, молоко и ягоды, которые покупал у уборщицы. Он уверял Лину, что в сентябре, когда она приедет с детьми, основной поток отдыхающих схлынет. Сергей хвалил только что отремонтированную баню и сообщил, что познакомился с двумя аккомпаниаторами, которые будут рады работать с Линой.

Работа над «Ромео и Джульеттой» двигалась быстро. Сергей одновременно работал над третьим из четырех актов балета, скрипичным концертом, циклом фортепианных пьес для детей и олимпийским маршем для советских спортсменов. Сергей и сам не ожидал такого прилива вдохновения. Каждый день его муза находила композитора сидящим за роялем фирмы Bluthner в бревенчатом домике на краю леса с окнами, выходившими на реку. Среди соседей, помимо Мутных и артистов Большого театра, был Дмитрий Шостакович – ведущий советский композитор, виртуоз в смешении легких и высоких музыкальных стилей, а также блестящий музыкальный сатирик. У него было три пропагандистские симфонии и три балета на темы, позаимствованные из заголовков советских газет. Дерзкая

смелость музыкального языка двух законченных опер, «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда» – обе на весьма зловещие сюжеты – была сравнима со смелым музыкальным языком Рихарда Штрауса. У Шостаковича, возможно, не было мелодического дара Прокофьева, но он имел еще более богатое воображение, и ему было свойственно исключительное художественное своеобразие. Он пользовался большим влиянием, но Сергей не видел в нем соперника, поскольку они были из абсолютно разных миров и использовали разные творческие приемы – по крайней мере, в то время. По сравнению с 28-летним Шостаковичем, бунтарем, который инсценировал симфонии и экранизировал оперы, 44-летний Прокофьев был пленником традиций. В Поленове о работе они не говорили, зато вместе играли в волейбол.

Лина осталась в Париже с матерью и детьми. Продлила срок действия вида на жительство во Франции, carte d'identite; занималась поисками недорогой квартиры для матери, куда Прокофьевы могли бы приезжать после переезда в Москву; продала последнюю машину Сергея («шевроле»); расторгла арендный договор на гараж; заплатила все налоги. Она устала от друзей и знакомых, которые в то лето остались в городе и вели разговоры исключительно об ослабленной экономике и политической нестабильности. Дома действовали на нервы постоянные смены настроений матери. Лина осталась без духовного наставника, поскольку Аммонс уехал на лето в Лугано. Кроме того, переезд в Голливуд педагога и аккомпаниатора лишил ее возможности готовиться к обещанным выступлениям в Москве. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что Лину опять подвело здоровье. У нее постоянно закладывало уши и нос, и врач решил, что дело в воспаленных гландах и нездоровом питании. Он рекомендовал небольшую операцию, за которой следовал длительный восстановительный период. Лина подумала, но в итоге отказалась.

Лина волновалась, что Сергей до сих пор не объяснил, как добраться до Поленова. Если она отправится, как планировала, со «знакомыми знакомых» пароходом по Балтийскому морю, как попасть из Ленинграда в Москву?[280] Сможет ли Сергей договориться относительно отдельного купе в поезде для нее и детей? И как доехать из Москвы до Тарусы, расположенной на противоположном от Поленова берегу Оки? Вместо того чтобы прислать подробные инструкции, Сергей сообщил, что отправляется в очередное турне – на этот раз на Кавказ, в Баку и Тбилиси.

«Не могу выразить, как мне одиноко без тебя, – написала

Лина Сергею 25 июля 1935 года, и по-русски, и по-английски. – Не могу выразить, как хочу видеть тебя»[281]. По крайней мере, на этот раз ее мольбы были услышаны. Спустя два дня Сергей написал подробное письмо, содержавшее необходимую информацию, с вариантами проезда в СССР и через Финляндию, и через Польшу, с фамилиями и координатами тех, кто сможет в случае необходимости оказать помощь. Он посоветовал поехать в Москву поездом. Святослав, которому в то время было 11 лет, запомнил, как они с семилетним братом дрались подушками и играли в прятки в пустом вагоне первого класса. Затем Лина должна была отправиться в Большой театр, к администратору, за путевкой в Поленово. Она должна настоять, чтобы в Тарусу ее отвезли на легковой машине, а не на автобусе или грузовике.

Прежде чем заняться упаковкой вещей, Лина посетила последний прием в советском посольстве в Париже. Среди гостей супругов Потемкиных были режиссер Таиров, актриса Алиса Коонен (ведущая актриса Таирова и его жена), а также писатель и журналист Илья Эренбург. Все они давно и настойчиво уговаривали Прокофьевых переехать в Советский Союз. Лина уехала 31 июля, взяв с собой оперные арии, которые планировала исполнить на радио в Москве. Она также взяла оркестровую версию «Гадкого утенка». Когда Лина с детьми приехали в Поленово, им удалось побыть вместе с Сергеем всего три дня, прежде чем он уехал на трехнедельные гастроли на Кавказ. Лина, конечно, была разочарована; они не виделись три месяца, а теперь, приехав в Россию, она опять осталась одна. В телеграмме, отправленной мужу в Баку, Лина жаловалась: «Баня – как тюрьма. Дети не слушаются. Измучилась. Целую. Возвращайся скорее»[282].

Продержавшись в Поленове все лето, Лина осталась в России до самой зимы, рассчитывая, что ее пригласят выступать на радио. В конце октября в соответствии с гастрольным графиком Сергей поехал с детьми в Париж, а Лина поселилась в гостинице «Националь», расположенной в центре Москвы, и окунулась в водоворот советской жизни. Она написала Сергею, какие песни и когда будет петь по радио; первое выступление должно было состояться спустя месяц после ее 38-го дня рождения. 21 ноября в 20:20 народные песни в ее исполнении должна была транслировать радиостанция имени Коминтерна, одна из самых мощных и совершенных в мире. 30 ноября в 12:15 Лина должна была исполнять киргизские мелодии без текста. Этого она и боялась. Лина отказывалась, заявляя, что это недостаточно серьезная музыка – ниже ее голосовых возможностей, – но у нее не было выбора. Руководство Всесоюзного радиокомитета

ожидало, что она исполнит популярные народные песни, которые диктовало время, и тем самым покажет, что элегантная светская львица из Парижа может быть настоящей коммунисткой.

И в довершение всего программа, с которой она хотела выступить 23 ноября (трансляция должна была вестись через другую, менее мощную радиостанцию), подверглась уничижительной критике. Лина узнала, что выбранный ею репертуар, включавший арии из оперы Вагнера «Лоэнгрин» и «Турандот» Пуччини, был признан неинтересным – вернее, невыносимо скучным. Она предложила сделать программу более живой и яркой. Вагнера можно убрать, а Пуччини исполнить между ариями Мануэля де Фальи (композитора с ее испанской «родины») и Габриэля Форе. Нашлось место и для «Росянки» Стравинского. В преддверии выступлений на радио Лина дала частный концерт, выступив с отрывками из оперы Моцарта «Женитьба Фигаро» и мистерии Дебюсси «Мученичество святого Себастьяна». Последняя, сообщила она Сергею, «имела огромный успех у дам»[283].

А вот выступления на радио вызвали разочарование; серьезное профессиональное поражение заставило ее чувствовать себя неловко. С самого начала все шло наперекосяк. Не было четкой договоренности с радиокомитетом о материально-техническом обеспечении, все приходилось переигрывать на ходу; кроме того, контракт был заключен слишком поздно, и Лине выплатили только половину обещанной суммы, о чем она узнала, только когда пришла за деньгами в сберкассу. Рояль привезли в последнюю минуту, он не поместился в ее номере, и Лине пришлось переехать в другую комнату. Первый аккомпаниатор не явился, а второй, пришедший на замену, плохо умел играть с листа. У дирижера Александра Гаука не было ни желания, ни времени на репетиции.

В довершение всего Лина подхватила насморк, а гомеопатические средства (единственные лекарства, позволенные Христианской наукой) было не достать. Она постаралась взять себя в руки, поскольку концерт нельзя было откладывать. Но Лина и сама понимала, что спела неважно. Сочувствующие обвиняли в неудаче радиокомитет – «кому был нужен фольклор, особенно такой?», но смущенно признавали, что на репетиции она пела лучше[284]. Кроме того, Лина жалела, что так и не смогла спеть «Гадкого утенка».

Второе выступление прошло не лучше. Возможно, на ее счастье, был слабый сигнал, и даже те слушатели, у которых были хорошие приемники, с трудом могли расслышать ее пение из-за пронзительного писка. По понятным причинам передачу в конце

ноября поспешно отменили. Лине сказали, что, возможно, она выступит в январе. С того времени радиокомитет оборвал всякие контакты с певицей – Лине даже не выдали пропуск в здание радиокомитета на улице Горького, – а когда она столкнулась с Гауком, тот смущенно отвел глаза. Не сбылась ее надежда исполнить «Гадкого утенка» под его управлением. По телефону Лина рассказала Сергею о своем провале, но они быстро прервали беседу из-за плохой слышимости и любопытных телефонистов. Она написала ему горестное, полное жалоб письмо, в котором подробно рассказала о том, что разочаровалась в себе, Гауке и радиокомитете. «Ну, все, хватит, – заявила смертельно оскорбленная Лина, – баста!»[285]

Сергей ответил из Касабланки 5 декабря. «Ты так долго не писала, что я уже начал беспокоиться». Сергей сразу заподозрил, что выступления на радио прошли неудачно… В отношении отмены передачи 30 ноября и провального первого выступления он осторожно заметил, что «да, обидно, но так бывает»[286]. Досадно, написал он, что Лина не сумела продемонстрировать москвичам свою «великолепную вокальную технику»[287]. У нее действительно была хорошая техника, но вокальные данные были весьма средними. Кроме того, Лина так и не смогла избавиться от страха перед аудиторией. «Но что касаемо радио, то люди там в чем-то замечательные, доброжелательные, а в чем-то нелепые», – высказал он свое мнение[288]. Лина была поражена. «Они не замечательные, а отвратительные, – ответила она, – не нелепые, а неотесанные, и всем известно, что в этом сумасшедшем доме полная неразбериха»[289]. Она была права.

Сохранились ли записи с выступлениями Лины, неизвестно. Если они и были, то, скорее всего, подверглись уничтожению после ее ареста в 1948 году – как и другие свидетельства пребывания Лины в Советском Союзе.

Хотя Лина не смогла стать известной советской певицей, она решила сделать все возможное, чтобы помочь мужу. Он сочинял музыку, она налаживала выгодные связи. Лина гордилась своей проницательностью и обаянием, способным покорить представителей любой страны. Переживания из-за фиаско на радио скоро забылись – на дипломатических приемах Лина не только исполняла роль представительницы интересов супруга, но и успешно действовала от собственного имени.

Среди самых запоминающихся событий был коктейль, устроенный американцами[290], на котором, среди прочих гостей, были писатели Михаил Булгаков и Леонид Леонов. Последний вызывал у Сергея восхищение. Лина была посвящена в

закулисные интриги Большого театра. Она, к примеру, знала, что балет Шостаковича «Светлый ручей» разочаровал чиновников от культуры. Все ожидали от композитора большего, хотя, что означает это «большее», никто объяснить не мог. По мнению Лины, сюжет был примитивнейший – комедия о колхозной жизни, танцующая уборочная машина, неуклюжий инспектор, собака на велосипеде, любовные интрижки. Кроме того, Лина сочла, что в балете чересчур много реприз.

Лина также знала о напряженных отношениях между Мутных, директором Большого театра, который заказал Прокофьеву «Ромео и Джульетту», и Сергеем Радловым, режиссером-новатором, в сотрудничестве с которым Сергей создал драматическую основу балета. Жена Радлова, Анна, рассказывала о трениях, сопровождавших подписание контрактов. Мутных, однако, заверил Лину, что постановка балета Сергея будет иметь огромный успех.

Когда ее выступления отменили, у Лины появилось много свободного времени, даже слишком много, но она не сидела сложа руки и выполняла поручения мужа. В то время у него были утомительные гастроли по Испании, Португалии и Северной Африке вместе со скрипачом Робертом Сетенсом – тринадцать концертов за столько же дней. Студенты Московской консерватории обратились к Лине с просьбой выступить; она хотела отказаться, но Сергей объяснил, что среди профессионалов принято не отказывать в просьбе студентам. Кроме того, ей надо развеяться. Английские романы, которые Лине удалось раздобыть, могут составлять ей компанию по вечерам, но они не способны вернуть ей бодрость духа, мягко упрекнул Сергей жену.

Прислушавшись к совету Сергея, Лина продолжала настаивать, чтобы им дали квартиру, и ей пообещали, что в скором времени она сможет посмотреть разные варианты. Лина смутно помнила, что общалась с женой какого-то высокопоставленного чиновника в правительстве. У этой женщины был «завораживающий голос, с вкрадчивыми, мурлыкающими интонациями, заставляющими собеседника во всем с ней соглашаться»[291]. Она обещала обеспечить Прокофьевых жильем. В качестве благодарности Лина исполнила настойчивую просьбу этой женщины и дала ей коллекцию записей итальянских оперных арий. Позже Лина узнала, что записи забрал ее муж и отдал советскому лидеру, самому Сталину, по слухам, большому любителю оперы. Коллекцию записей так и не вернули, а муж этой женщины оказался в тюрьме.

Сначала Прокофьевым собирались дать квартиру на Арбате, но почти сразу же передумали. Один знакомый очень убедительно разрекламировал ей квартиру в строящемся доме, предназначавшемся для светил науки и искусства. Лина принялась ходить по мебельным магазинам и сразу столкнулась с распространенной среди советских граждан проблемой. Квартир не хватало, как не хватало и мебели, чтобы их обставить.

Но никто даже не думал экономить на мраморных колоннах и позолоченных украшениях станций Московского метрополитена, первые тринадцать из которых только что открылись. Правительство не экономило и на праздновании годовщины Октябрьской революции 7 ноября. Лина, жившая в гостинице «Националь», имела удовольствие наблюдать празднование вблизи. Центральную улицу Горького успели заасфальтировать перед самым праздником, и, так как гостиница «Националь» располагалась напротив Кремля и недавно замощенной Манежной площади, Лина не могла не окунуться в атмосферу праздника. «Я видела часть демонстрации, которая была намного скромнее, чем на 1 Мая. Но все равно, передо мной шагали бесконечные колонны демонстрантов. Они шли с двенадцати до пяти часов, каждая группа со своим знаменем, и мне было все хорошо видно. В том году было удивительное освещение, все новые здания с подсветкой, процессия к площади Свердлова – к Большому театру – как искрящийся водопад, звезды на кремлевских башнях, Красная площадь, вообще весь город был великолепно украшен»[292].

По окончании демонстрации, как только открыли улицы, к Лине в гости зашел Александр Афиногенов с женой, американской коммунисткой Дженни Марлинг, и Лина угостила их кофе. Они весь день простояли на улице и очень замерзли. Вечером Лина была на большом приеме, устроенном народным комиссаром по иностранным делам Максимом Литвиновым. Жена Литвинова, англичанка Айви Лоу, поинтересовалась делами Сергея; Лина подняла вопрос о квартире. Похоже, им собирались дать квартиру в конце февраля, и Сергей посоветовал Лине остаться в Москве и все проконтролировать. Он присоединился к жене в конце декабря, чтобы вместе встретить Новый год, а затем сразу отправился в очередное турне, на этот раз в Северную Европу. За январем последовал февраль, а квартиры так и не было. Лина вернулась в Париж, к детям и матери. Теперь у нее был советский паспорт, который ей выдали 26 января 1936 года.

Между тем весь советский музыкальный мир был взбудоражен парой неподписанных передовиц в «Правде», органе

Центрального комитета ВКП(б). В первой статье была подвергнута жестокой критике опера Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», имевшая огромный успех и в Советском Союзе и за границей, но не понравившаяся Сталину[293]. Вождь не одобрил насилие и убийства в сюжете, а также саму скандальную постановку в филиале Большого театра. Во второй передовице Шостаковича ругали за идеологическую слабость балета «Светлый ручей»[294]. Разразившийся скандал, ставший позорным эпизодом в истории советской музыки, не затрагивал непосредственно Сергея, но отбрасывал тень на музыкальную жизнь и служил тревожным сигналом, предупреждая, что карьерным планам Прокофьева не суждено сбыться. С этого момента было положено начало новой эпохи советского искусства, с более жестким идеологическим контролем и пропагандистскими схемами; усилился идеологический контроль руководства страны за творчеством писателей, поэтов, художников и композиторов. В музыке не должно быть диссонансов, композитору следует отдавать предпочтение мажорным гармониям и делать мелодию веселой и жизнерадостной. К русской классике надо относиться с уважением, а не высмеивать. До сих пор Сергей с пониманием относился к новым консервативным правилам, думая, что его «новая простота» – утонченная мелодичность, к которой он обратился в середине 1920-х годов, – будет соответствовать этим указаниям.

Реакция Сергея на скандальную историю с Шостаковичем остается неясной; Лина все рассказала Сергею в письмах, отправленных из Парижа. Прокофьев тогда выступал с концертами в Будапеште, Праге, Софии и Варшаве. Лина побледнела от ужаса, когда прочла эти статьи в «Правде», и выражала тревогу, хотя прекрасно понимала, что уже слишком поздно менять планы. В советской прессе продолжалась шумиха, и Лина заявила, что «музыкальные идиоты и кретины» в Москве «неожиданно использовали возможность высказать мнение, о чем их никто не просил… в то время как все остальные молчат»[295]. Противники всего современного и западного, чья критика балета «Стальной скок» так огорчила Сергея, сохранили управление в сфере культуры. Еще несколько месяцев казалось, что их поставили на место, но это впечатление было обманчивым. Профсоюз советских композиторов был бессилен против невежественных цензоров. Наоборот, эта организация предоставила им постоянную работу. Идеологи и второразрядные композиторы объявили войну культурной элите, и, по их мнению, ни один композитор не был таким ярким представителем элиты и

аристократии, как космополит Прокофьев. Борьба между посредственными московскими музыкантами «за право прокладывать новый путь» только продемонстрировала их невежество, писала Лина мужу[296]. Интриганы, которые когда-то нападали на Прокофьева – а теперь нацелились на молодого Шостаковича, – демонстрировали чудеса риторики. Чего стоили одни только передовицы в «Правде»! Однако до тонкого понимания музыки им было далеко.

Поскольку Лина не слишком доверяла статьям, напечатанным в газетах, она надеялась, что, вернувшись в Москву по окончании турне, муж составит собственное мнение о сложившейся ситуации. Однако, волнуясь, она предупреждала, чтобы он был «чуть более осторожным», и добавляла по-английски: «Наверное, тебе лучше уничтожить это письмо»[297]. И опять она оказалась права. У Лины была сильно развита интуиция, и она была невысокого мнения о людях, руководивших культурной жизнью, и не она одна. Ее друг, русский эмигрант, издатель Петр Сувчинский, ясно сформулировал свое отношение ко всему советскому, посоветовав ей пересмотреть решение об окончательном переезде в Советский Союз. «Не гоняйся за мебелью», – говорил он, когда Лина принялась лихорадочно бегать по магазинам[298]. Проблема заключалась в том, что Прокофьевы пытались решать жизненно важные вопросы по телефону и с помощью писем, вместо того чтобы обсудить все лицом к лицу.

Игнорируя предчувствия, Лина позволила советским агентам убедить себя, что кризис не затронет их ни в малейшей степени. Это просто вопрос сложной внутренней политики. Вечер, проведенный с Потемкиными, советским послом в Париже и его очаровательной женой, подействовал на нее умиротворяюще. Лина уехала с чувством, что, несмотря на чуть омрачившийся горизонт, впереди их ждет светлое будущее. Она даже вообразила, что скандал ничем не грозит Сергею, а, наоборот, даст ему шанс достичь карьерных высот. Теперь пришла ее очередь высказывать бредовые идеи. «Мне кажется, что в этой драме ты можешь сыграть очень важную роль, но, конечно, с большим тактом и не создавая ненужных врагов»[299]. Но Лина по собственному опыту знала, что при феноменальных музыкальных способностях ее муж страдает полным отсутствием такта.

События развивались с огромной быстротой. Истекал срок Лининого carte d’identite, закончился срок действия договора аренды квартиры в доме номер 5 по улице Валентина Гаюи (rue Valentin Hauy), и требовалось решить, где будут учиться

Святослав и Олег. Останется ли Святослав на все лето в Париже или поедет весной в Москву? И что делать с неожиданным предложением Сержа Моро принять участие в двух передачах на парижском Radio Cite? Кроме всего прочего, ей предлагали исполнить «Гадкого утенка». Если согласиться, то необходимо позаниматься с Альберти де Горостьяго, но как это сделать? И когда? У ее матери не прекращалась истерика, и дома у Лины не было ни минуты покоя. Чтобы хоть немного развеяться, она ходила с сыновьями в кино. В день рождения Святослава они посмотрели фильм «Дэвид Копперфильд» (оригинальное название The Personal History, Adventures, Experience, and Observation of David Copperf eld the Younger). Но история мальчика-сироты напугала Олега, и он, закрыв глаза, все спрашивал мать, когда закончится фильм[300].

Не в силах справиться с переживаниями, Лина обратилась за духовным наставлением к Аммонсу. А затем начала собирать вещи, составляя бесконечные списки дизайнерской одежды и косметики, которые хотела взять с собой в Москву, и мебели, которую Сергей должен был приобрести в Москве или во время гастролей. Надо было купить ткань на занавески, но она не знала, сколько окон в квартире и какая у них ширина и высота, ведь дом еще не был достроен.

Тем не менее она пыталась подготовить все заранее, надеясь, что хлопоты помогут отвлечься от тревог. Лина отправила мать с сыновьями на фильм L'Expedition Byrd au Pole Sud («Экспедиция Берда на Южный полюс») и принялась разбирать стопки книг и бумаг в гостиной, столовой и спальне, в «любовном углу», как она называла это место в квартире на улице Валентина Гаюи[301]. Лина никак не могла решить, оставить в Париже или отправить в Москву французские романы Сидони Габриель Колетт, Клода Фаррера и других писателей; английские детективы; старые детские учебники; карты городов и путеводители; открытки и фотографии и так далее, и так далее. Лина не смогла, как планировала, разобрать ящики в столе мужа, поскольку он забыл оставить ей ключ. «Сколько вечерних платьев я могу взять с собой?» – несколько раз спрашивала она Сергея по-английски[302].

Лина хотела отправить в Москву диван, но сначала решила сменить обивку. Таким образом, налицо было противоречие между деликатными запросами элегантной парижанки и гораздо более непритязательной жизнью, которая ее ожидала. Лине требовалось десять метров ткани style rustique – в деревенском стиле. Если выяснится, что смена обивки обойдется слишком дорого, придется купить новый диван. Впрочем, на самом деле Лину беспокоил вовсе не диван. Просто, занимаясь этой

пустяковой проблемой, Лина сосредоточила на ней все свои подавленные тревоги.

Во время турне по Восточной Европе Сергей совершенно не интересовался домашними проблемами и отмахивался от важных вопросов, связанных с переездом. Лина скучала по Сергею, нуждалась в его помощи, советах, да просто в том, чтобы муж был рядом. «Обидно, что я не думала об этом, когда ты был здесь. Насколько проще было бы спрашивать тебя, когда ты был рядом – но совсем не было времени. Обидно, что у меня нет никого, чтобы помочь в некоторых вопросах. Здесь, конечно, есть Meme (бабушка). Я не обращаю внимания на ее ворчание, но иногда она почти сводит меня с ума – приходится запасаться терпением»[303].

Затем, мимоходом упомянув совет Аммонса не поддаваться мрачному настроению, Лина добавила, что «каждый день какие-нибудь новости с детьми: то у них глисты, то истерики, то слабое зрение, то еще что-нибудь, так что не поддаваться очень трудно…»[304]. Сергей посоветовал Лине жить сегодняшним днем – цени каждый час, написал он, но она не могла не думать о будущем, особенно теперь, когда от нее зависела вся семья. Лина наносила визиты, завязывала дружеские отношения, наслаждалась вниманием, которому удостоилась благодаря мужу. Но раньше ей приходилось быть только гостьей, а не жительницей Советского Союза. Лина понимала, что одно дело быть зрительницей и совсем другое – находиться на сцене.

Перед смертью Хуана от удара весной 1935 года Ольга строила планы поехать в Советский Союз, навестить дочь и внуков и разыскать дальних родственников в других городах России и Украины. В течение многих месяцев Хуан был прикован к постели, частично парализован и беспомощен, как ребенок; его смерть не была неожиданной. Лине не упоминает о ней, рассказывая о событиях 1935 года, – впрочем, она вообще не любила говорить об этом периоде в своей жизни. Сергей считал, что Ольге будет «намного интереснее» приехать в Москву, чем вернуться к друзьям в Нью-Йорк или остаться в Париже[305]. На самом деле он исходил из личных интересов: детям в Москве нужна была нянька, особенно если Лина хотела заявить о себе как о певице. Он обещал, что устроит жене выступления через радиокомитет. Но идею с приездом Ольги не удалось осуществить. У нее был испанский паспорт, а Испания не установила дипломатические отношения с СССР.

Ольга оставалась в Париже, и, значит, дочь должна была найти для нее квартиру. Лина заботилась не только о матери, но и о своей семье, считая, что нужно иметь запасной вариант в Западной Европе, куда можно вернуться в любой момент. Она

договорилась с мужем, что, если ни один из них не добьется успеха в Москве или если, по какой-то причине, они будут недовольны жизнью в Советской стране, они вернутся во Францию. Сергей согласился. Итак, после напряженных поисков Лина нашла маленькую недорогую квартиру в доме номер 14 по улице Доктер-Ру, в том же 15-м округе, где располагалась улица Валентина Гаюи.

Сергей тем временем получал заказы один престижнее другого: балет «Ромео и Джульетта» для Большого театра; Кантата к 20-летию Октября для радиокомитета; симфоническая сказка «Петя и волк» для Детского музыкального театра; музыка к спектаклям «Борис Годунов» и «Евгений Онегин» и к частично цветному фильму «Пиковая дама». Эти проекты вызывали у Сергея чувство эйфории, он казался самому себе всесильным.

Но на жилищный вопрос это всесилие, видимо, не распространялось. Квартиры все не было, и Сергей, как и Лина, устал жить в гостинице «Националь». Ему предложили большую квартиру в центре Москвы в Доме композиторов, но ему не хотелось, чтобы его соседями по дому были второразрядные композиторы. Он узнал, что в доме не была предусмотрена звукоизоляция, и не мог представить, как будет сочинять музыку, когда со всех сторон будут звучать чужие мелодии. Он обратился с просьбой предоставить ему квартиру в доме рядом с Курским вокзалом, в котором часть квартир относилась к Комитету по делам искусств. Сергей полагал, что балет «Ромео и Джульетта» укрепит его международную репутацию и позволит получить определенные привилегии.

В почтовой открытке, отправленной теще 8 апреля 1936 года, Сергей сердито написал, что его продолжают потчевать обещаниями относительно квартиры. Интересно, что на открытке было изображено современное строение в стиле неоконструктивизма – как раз в таком и надеялся обосноваться Сергей. «Каждое утро я сижу у телефона в ожидании звонка, что мне дали квартиру, но каждый раз удовольствие откладывается»[306]. Ольга не ответила – единственными доступными ей формами протеста против переезда дочери в Советский Союз были молчание и периодические жалобы на тяжелые болезни.

Но все было решено, и Прокофьевы сообщили в префектуру полиции о намерении покинуть Париж. Лина со Святославом и Олегом приехала в Москву в середине мая, рассчитывая, что квартира готова. Но ее ждало разочарование. Сергей направил письменную жалобу председателю исполкома Моссовета. Наконец в конце июня семья получила квартиру по адресу улица Земляной

Вал, 14/16, в восьмиэтажном кирпичном доме с толстыми стенами, покрытыми штукатуркой, тринадцатью подъездами, внутренним двором, узкими окнами с широкими подоконниками и паркетными полами. В 1938 году улица была переименована в улицу Чкаловскую, в честь летчика Валерия Чкалова, совершившего первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Советского Союза в Соединенные Штаты, из Москвы в Ванкувер. На каждой лестничной площадке располагалось всего по две квартиры, одна больше, другая меньше. В те времена этот дом считался очень престижным. Лина запомнила, их соседями были известные советские актеры и писатели, люди, имевшие отношение к народным комиссариатам, иностранные инженеры, помогавшие в строительстве гидроэлектростанций. Лине сказали, что им дадут квартиру на четвертом этаже, но в результате ее получила дочь высокопоставленного военного, «какого-то известного героя»[307].

1 июля 1936 года Прокофьевы въехали квартиру номер 14 на третьем этаже в 10-м подъезде. В мае в газетах появилась информация об окончании реконструкции Белорусского вокзала; теперь расстояние между Москвой и Парижем поезда преодолевали за 43 часа вместо 57 часов. Заасфальтировали площадь перед вокзалом. Газеты сообщали о высоких темпах строительства жилых домов и школ и публиковали письма детей, радовавшихся открытию московского Дворца пионеров[308]. Новые аттракционы в парке Горького включали катание на американских горках и гонки на мотоциклах со скоростью 150 километров в час.

В квартире было четыре комнаты, общей площадью 60 квадратных метров; в двух самых больших устроили гостиную и детскую. Квартира была не такой большой, как в Париже, на улице Валентина Гаюи, 5, но достаточно просторная, чтобы произвести впечатление на туристов из Англии, которых Прокофьевы пригласили в гости. Поначалу из-за строительства, которое велось в районе Курского вокзала, в квартире было невыносимо шумно и пыльно. По счастью, дети опять провели лето в Поленове. Хлопоты по обустройству квартиры, занявшие несколько месяцев, заставили на время забыть об отправленном из Парижа диване. В июне Лина отослала в Москву одиннадцать ящиков с одеждой и мелкой домашней утварью и беспокоилась относительно размера таможенной пошлины на советской границе. Сергей получил в подарок рояль от немецкой фирмы August Furster. Владельцы рассчитывали, что знаменитый клиент разрекламирует их фирму в Советском Союзе. Лина была вынуждена заниматься вопросами перевозки вещей из Парижа в

Москву. Еще одна трудная задача.

Советские чиновники находили Лину весьма обаятельной, но чересчур требовательной. Они считали ее избалованной парижанкой, не готовой к простой советской жизни. Здесь не принято было уделять первостепенное внимание материальному комфорту. Лина не умела готовить и, разумеется, не собиралась заниматься домашними делами самостоятельно. А значит, требовалось срочно нанять домработницу из местного профсоюза. Лина рассказывала, как пригласила в дом незнакомую бездомную женщину, с которой познакомилась в поезде и которая была готова спать в коридоре.

В Советском Союзе само понятие «прислуга» было вне закона. Общество, по крайней мере на словах, стремилось покончить с классовыми различиями. Сбитый с толку удивительной запутанностью всего, что было связано с квартирой, Сергей договорился нанять домработницу по имени Устина Базан из Солнцовки, деревни, где он родился. Он запомнил ее со времен счастливого детства. Судя по всему, эта женщина жила у Прокофьевых около года, находясь на полулегальном положении – ее зарегистрировали как дальнюю родственницу. У них было несколько нянек, но их полных имен Лина не запомнила: одну звали Ника; другую, очень злую, Степановна. Была пожилая добродушная женщина из Сибири, которая во время войны вернулась в свою деревню, перед отъездом опустошив кладовую. Лина не стала поднимать шум. Олег запомнил, что его матери помогала молодая женщина из Смоленской области. Ее звали Фрося. Она работала на строительстве Московского метрополитена, но приходила убирать их квартиру. Олег запомнил, что Фрося никак не могла правильно произнести слово «композитор» – она говорила как-то в нос «кам-пан-зер»[309]. В школе учителям нравилось называть его не по имени, а композиторским сынком. Олег чувствовал, что к его «иностранной» семье относятся с пренебрежением.

Невероятно жарким, засушливым летом 1936 года (в августе был установлен температурный рекорд) Прокофьевы наконец обрели некое подобие дома в Москве. Семейство обзавелось почти всем, без чего немыслим домашний уют, и Прокофьевы зажили не намного хуже, чем в Париже, – впрочем, там у Сергея не было блестящих карьерных перспектив.

Теперь, когда супруги наконец воссоединились, возник серьезный вопрос – смогут ли они ужиться друг с другом? Чтобы ответить на него, понадобилось время, поскольку в течение первых двух лет проживания в Москве Сергей ездил с гастролями

в Европу и Соединенные Штаты и выступал по всему Советскому Союзу. Москва, как в свое время Париж, не стала для Сергея постоянным домом. Но выезды за границу становились все более проблематичными, и турне 1938 года оказалось последним. Теперь, когда супруги вынуждены были жить на одном месте, их отношения начали стремительно портиться.

Глава 8

Лина никогда не встречалась со Сталиным, но однажды видела его в Московской консерватории, на Первом Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей, на котором первое место занял 16-летний пианист Эмиль Гилельс – по воспоминаниям Лины, «рыжеволосый робкий мальчик»[310]. Конкурс проходил в Большом зале консерватории. Лина и Сергей сидели в пятом ряду, с левой стороны, рядом с ложей для официальных лиц. Обычно ложа пустовала, но в этот вечер, 25 мая 1933 года, она была заполнена до отказа. Соседка Лины шепнула, чтобы она не поворачивалась в сторону ложи, поскольку «там Сталин»[311]. Лина, конечно, посмотрела и, согласно дневнику Сергея, встретилась глазами со Сталиным. Его взгляд был настолько пронизывающим, что она вздрогнула[312]. Этот повергающий в трепет эпизод, произошедший за три года до переезда, заставил Лину лишний раз усомниться, разумно ли переселяться в Советский Союз, и вызвал немало нервных обсуждений. Лина понимала, что у нее нет иного выбора, кроме как согласиться; иначе Сергей обвинил бы жену в том, что она ставит под угрозу его карьеру. Она попала в ловушку его амбиций, именно они заставили Сергея позабыть о риске. «Ты не понимаешь, куда стремишься», – говорила она, надеясь убедить мужа, что карьера – не единственное, что следует принять в расчет в данной ситуации[313]. Если Сергею безразличны ее чувства, он должен хотя бы подумать о сыновьях. «Твои дети не смогут получить достойное образование», – предупреждала она[314].

Лина вспоминала эти подробности ближе к концу жизни и, возможно, сгустила краски, описывая свои тогдашние дурные предчувствия. Большая часть того, что происходило в советском посольстве в Париже и на вечной стройплощадке в московской квартире, стерлось из памяти, а многое выглядело слишком мрачным. Воспоминания о Париже и о театральной сцене, наоборот, кажутся приукрашенными. Лина не хотела признавать, что стремилась к переезду совершенно искренне и добровольно. Но страшные последствия этого решения вызвали искреннее желание забыть о предшествующих ему событиях, и Лина сознательно переписала историю своей жизни.

Репрессии, начавшиеся в 1936 году и достигшие апогея в 1938 году – год Большого террора, – напрямую не затронули жизнь Лины, но она знала об ужасах, творившихся в стране: арестах, черных списках, депортациях и расстрелах. Историки продолжают спорить об истинных причинах этого явления, но

параноидальная мания величия Сталина ни у кого не вызывает сомнений. Кремль развернул пропагандистскую кампанию, направленную против «врагов народа»; радио и газеты сообщали о признаниях, полученных во время истеричных показательных процессов над воображаемыми предателями. Лина читала отчеты в газетах и пыталась убедить себя, что репрессии оправданны. Слишком страшно было думать, что на самом деле все обстоит иначе.

Сергей не терял бдительности и соблюдал необходимые предосторожности, поскольку с самого начала понимал, что в Советском Союзе нет свободы и его семейство пользуется некоторыми вольностями исключительно благодаря привилегированному статусу. В Москве Сергей не вел дневник; единственное, что он заносил на бумагу, – списки дел и поручений, а письма и документы, которые могли вызвать вопросы, оставил в Париже и Нью-Йорке. На совещаниях в Союзе композиторов Сергей открыто высказывал мнения, связанные с музыкальными вопросами, а обязательные идеологические дискуссии вызывали у него досаду. Лина считала, что их семью надежно защищает особое положение, но к концу 1937 года она уже не чувствовала себя неуязвимой. Она подозревала, что люди, следившие за Прокофьевым, хотят, чтобы она занималась исключительно домашними делами и не появлялась в обществе, потому что «им не нравилось, что я говорю на нескольких языках и завоевываю популярность в дипломатических кругах»[315]. Сергей отказывался от приглашений на приемы во французском, британском и американском посольствах в Москве и советовал жене последовать его примеру.

В первые месяцы жизни в Москве супруги не чувствовали никакой угрозы – Лина находила новую жизнь сносной, Сергей же чувствовал себя как рыба в воде. Лина помнила, как Прокофьев радовался возвращению в Россию. От мрачных мыслей Лину отвлекало общение с представителями новаторских, бунтарских направлений. Именно в таких кругах вращался ее муж. Теперь эти люди пытались соответствовать аморфной творческой доктрине под названием социалистический реализм. Кроме того, Лину приглашали в директорские ложи в театрах и на дипломатические приемы. Тревоги относительно учебы Святослава и Олега оказались напрасными – мальчики получали хорошее образование. Святослав учился в английской школе, брал уроки русского языка и, по настоянию Лины, говорил дома по-французски; такие же планы у нее были в отношении Олега. Лина с головой погрузилась в домашние дела, поскольку найти и удержать домработниц было трудно. В первое время она

продолжала заниматься пением, но потом стало ясно, что рассчитывать на какие-либо предложения бессмысленно…

После переезда в Москву главным событием в ее музыкальной карьере было исполнение «Гадкого утенка» в Московской консерватории 20 ноября 1937 года; дирижировал Сергей. Спустя четыре месяца 21 марта 1938 года в Соединенных Штатах Лина выступила с концертом в советском посольстве в Вашингтоне; и снова аккомпанировал Прокофьев. В этот же период состоялись и другие выступления Лины, но эти два концерта имели для нее особое значение, поскольку положили конец мечтам о счастливом будущем и символизировали начало горького настоящего.

Весной 1938 года у Лины с Сергеем наступил творческий застой. Последний раз она выступила по Всесоюзному радио 20 апреля 1937 года; она исполнила три романса на стихи Пушкина для голоса и фортепиано. Этот заказ, приуроченный к столетию со дня смерти Пушкина, был самым малооплачиваемым из всех, когда-либо полученных Сергеем, однако он оказался весьма выгоден по политическим причинам. У Лины были сложные отношения с радиокомитетом, но оборвались они не по ее вине. Борис Гусман, чиновник, который организовывал ее выступления, лишился работы. Вернее, он был арестован, но об этом Лина не знала.

В Париже Лину раздражали бытовые проблемы; в Москве же все оказалось еще сложнее – Лина запуталась в бюрократических хитросплетениях и советской системе льгот. Номенклатура (люди, занимавшие руководящие посты в партии и правительстве) находилась в привилегированном положении, равно как и члены их семей – эти люди имели право выбирать себе квартиры и дачи, в их распоряжении были специальные больницы и лучшие курорты. Льготы существовали до, во время и после чисток, жертвами которых становились былые обладатели преимуществ. Поездки за границу были не только самой большой, но и самой опасной привилегией; НКВД контролировал, фиксировал и тщательно изучал контакты с иностранцами. Также номенклатуре предоставлялись автомобили с шоферами.

Для Сергея, заядлого автомобилиста, получение прав и покупка машины обернулись сложной бюрократической проблемой, которую он намеревался преодолеть во что бы то ни стало. Каким-то невероятным образом ему удалось договориться, чтобы из Соединенных Штатов в Москву доставили «форд» голубого цвета с 8-цилиндровым двигателем. В январе 1937 года Прокофьев получил разрешение Наркомвнешторга (Народный

комиссариат внешней торговли СССР). Позже, когда потребовалось заменить изношенные запчасти, он добился разрешения купить новые, заплатив за них долларами, заработанными во время зарубежных гастролей. Его водитель, Федор Михайлов, всегда получал талоны на бензин в необходимом количестве. Вдобавок к роскошной машине Сергей носил сшитые на заказ костюмы-тройки, разноцветные галстуки и дорогую обувь, всем своим видом демонстрируя расточительность. Прокофьев тщательно следил за гардеробом, стремясь выгодно смотреться на фоне небрежно одетых коллег. Лина, по его мнению, тоже должна была выглядеть лучше всех. Сергей организовал для жены подписку на парижский журнал Vogue, и она нашла портниху и меховщика для создания элегантного франко-русского образа.

Только немногие избранные имели возможность покупать импортные фрукты, мясо и вина в специальных распределителях. Лина покупала продукты в Елисеевском, гастрономе номер 1 на улице Горького, где делала заказы заранее. Ей говорили, что продукты из Елисеевского – лучший подарок. Деньги у Прокофьевых были – комиссионные Сергея, гонорары за советские и несоветские выступления и советские и несоветские авторские выплаты, – но, по совету домработницы, Лина закупала впрок крупу, муку, сахар и мыло, превратив пространство между входом в квартиру и кухней в забитую продуктами и товарами первой необходимости кладовую. Прокофьев считался одним из самых выдающихся культурных деятелей, и Лину как его жену приглашали на мероприятия творческих Союзов композиторов, киноматографистов, художников и писателей; в буфете всегда были деликатесы по сниженным ценам. Допуск в столовую Союза композиторов оказался величайшим благом во время Второй мировой войны, когда действовала карточная система рационирования продуктов и, как вспоминала Лина, «люди продавали бриллиантовые кольца за мешок муки»[316].

В клубе писателей, расположившемся в особняке, где когда-то собиралась самая влиятельная в России дворянская масонская ложа, устраивались интересные вечера и пышные банкеты, поскольку режим был крайне заинтересован, по меткому выражению писателя Юрия Олеши, в инженерах человеческих душ. Лина часто посещала танцевальные вечера – без мужа. Хотя Сергей не любил танцы и всячески избегал их в Париже, в Советском Союзе он пытался – впрочем, без особого успеха – обучиться фокстроту, танго и вальсу по самоучителю. Иногда Прокофьевы смотрели зарубежные фильмы в ВОКСе, но эти закрытые показы, недоступные широкой публике, устраивались

редко. Сергей был настолько занят работой, что Лина часто ходила на фильмы одна.

Также она получала приглашения в американское, британское и французское посольства. Приемы было принято устраивать на широкую ногу. Весной 1935 года Уильям К. Буллит, первый посол Соединенных Штатов в Советском Союзе, на собственные средства устроил бал на всю ночь, не пожалев семи тысяч долларов на организацию праздника. В резиденцию явились более четырехсот приглашенных, среди которых были Михаил Тухачевский, Маршал Советского Союза; деятель международного социал-демократического и коммунистического движения, бывший секретарь Исполкома Коминтерна Карл Радек и балерина Леля (Ольга) Лепешинская. Хотя Сталин считал необходимым поддерживать дружеские отношения с Буллитом, он не присутствовал на балу. Жена народного комиссара иностранных дел мадам Литвинова, присутствовавшая на приеме, пришла не в восхищение, а в ужас: в клетках пронзительно кричали фазаны с ярким оперением и длиннохвостые попугаи; сотня зебровых амадинов кружилась за сеткой в свете прожекторов; медвежата, козлята и ягнята были взяты «напрокат» в Московском зоопарке; белые петухи на рассвете начали кукарекать. Резиденцию украшал настоящий березовый лес; из Хельсинки доставили тысячу тюльпанов; для гостей играл оркестр из Стокгольма, а обеденный зал был в шутку превращен в колхозную ферму. Под аккомпанемент аккордеона исполняли грузинские народные танцы и русские народные песни. Радек напоил медведя шампанским из детской бутылочки. Сбежавший петух плюхнулся в гусиный паштет. Бездумное веселье полностью соответствовало духу дипломатических отношений между Советским Союзом и США, находившихся в подвешенном состоянии. В то время велось много сложных, деликатных переговоров – среди прочего, обсуждалось усилившееся вмешательство Коминтерна в политику США.

Советский писатель Михаил Булгаков увековечил это незабываемое зрелище в своем романе «Мастер и Маргарита», назвав его «весенним балом полнолуния». Позже Лина утверждала, что была на приеме, но на самом деле в то время она находилась в Париже. Вероятно, она прочла описание бала в романе Булгакова и представила себя его участницей. В 1936 году она действительно встречалась с американским послом сразу после того, как они с Сергеем переехали в квартиру на Земляном Валу. Буллит, любитель повеселиться и известный ловелас, оставался в Москве до октября 1936 года, после чего был отозван в США и назначен послом в Париж, где продолжал устраивать

грандиозные приемы, в программу которых входили конные скачки и теннисные турниры.

У Лины остались смутные воспоминания о приглашениях в Кремль и встречах с Литвиновым и его женой. На этих мероприятиях она находилась в исключительной компании, общаясь с членами советского правительства, большинство из которых внушало подчиненным страх. Сталин никогда не появлялся на официальных приемах, за исключением празднеств, устроенных в честь годовщины революции. Остальные мероприятия в качестве его представителя посещал председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов. В тот период, когда Молотов вел переговоры со своим коллегой Иоахимом фон Риббентропом о нацистско-советском договоре о ненападении, Лина присутствовала на приеме с представителями германского правительства. Один из помощников Риббентропа пригласил ее на танец. Сергей был рассержен ее неблагоразумием – он научился избегать опасного общества иностранцев – и настоял на отъезде домой. Однако до их ухода с приема помощник Риббентропа, великолепный танцор, попросил Лину о встрече, когда она будет в Берлине. Ее воспоминания об этом человеке наложились на воспоминания о военных в Бухаресте, с которыми она вальсировала в 1931 году.

У Сергея в Москве было несколько старых друзей, а Лина завела новых – некоторые были русскими, некоторые – иностранцами, бывавшими в Москве по работе. По понятным причинам немногие их знакомые из Нью-Йорка и Парижа приезжали в Советский Союз; исключение составила старая любовь Сергея, актриса Стелла Адлер. Она приехала в Москву в конце весны 1934 года, чтобы брать уроки у режиссера Константина Станиславского, создателя системы актерского искусства, получившей название «система Станиславского». Сергей согласился встретиться с ней, и она, как всегда, поддразнивала его – показала письмо от одного из своих поклонников, американского киноведа Джея Лейда, в надежде вызвать у Сергея ревность. В Москве Адлер много развлекалась: вечеринки, продолжавшиеся всю ночь, прогулки верхом, поездки по Москве в автомобиле «линкольн». Лейд, по крайней мере, был недоволен, что она проводит свободное от занятий время таким образом.

Одной из самых близких подруг Лины – и самой опасной, учитывая ее связь с режимом, – была энергичная молодая женщина по имени Дженни Марлинг (Шварц), которая родилась в Калифорнии и переехала в Советский Союз незадолго до Прокофьевых. Лина вспоминала о ней как о «преданной

коммунистке», чья «жизнь началась после того, как она прочла речи Ленина – вернее, его директивы»[317]. Они проводили вместе много времени, что, вероятно, было не слишком благоразумно. Дженни, по слухам, была агентом НКВД низшего звена, в задачу которого входило сообщать властям об антисоветском поведении людей, с которыми она общалась. В американском посольстве в Москве Лину предостерегали от встреч с этой женщиной. Дочь Дженни, Александра, впоследствии сомневалась, что ее мать занималась шпионажем. По мнению Александры, обязанности Дженни ограничивались обменом в сфере культуры. Сергей, со своей стороны, предпочитал компанию мужа Дженни, советского писателя Александра Афиногенова, с которым поддерживал дружеские отношения в Париже в 1932 году. Сергей подумывал сочинить музыку для пьесы Афиногенова «Страх», которой была уготована долгая и счастливая сценическая жизнь.

Афиногенов был не меньше жены связан с НКВД; он был среди тех, кому поручили уговорить Сергея вернуться на родину. Однако у Афиногенова складывались сложные отношения с режимом, и то, как ему удалось уладить все проблемы, послужило Сергею важным уроком. Лина же не обратила внимания на этот случай. В 1937 году Афиногенов ответил на критику пьесы «Ложь» сначала вялыми оправданиями, а затем искренним самокритичным анализом своих действий. Пьеса, посланная Афиногеновым на отзыв Сталину, была жестоко раскритикована и запрещена к постановке по идеологическим соображениям. Это привело к изгнанию Афиногенова из Союза писателей, из коммунистической партии и даже из квартиры. Однако Афиногенов был настолько предан советской власти, что справился с унижением и нашел здравый смысл в ее беспощадности. Он написал сценарий собственного идеологического возрождения, а позже принял красивую жертвенную смерть, погибнув во время бомбардировочного налета немецкой авиации на Москву в 1941 году.

Его жена Дженни тоже была готова к самопожертвованию. Известная русским как «американская большевичка», ставшая сторонницей идей Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, Дженни впервые посетила Советский Союз в 1930 году со своим первым мужем Джоном Бовингдоном. В Москве проходил театральный фестиваль, и приемом иностранных гостей занимался Александр Афиногенов. Бовингдон, закончив с отличием экономический факультет Гарварда, отказался от карьеры в финансовой сфере, «заболев» концептуальными танцами. Дженни разделяла его страсть и танцевала в стиле Айседоры Дункан, босиком и полуодетая. Именно увлечение танцами и свело будущих

супругов. Карьера Бовингдона достигла вершины в конце 1920-х, но он продолжал выступать еще полтора года после фестиваля в Москве и возвращения в Соединенные Штаты.

Дженни решила остаться в Москве. Брак с Бовингдоном распался, стоило Дженни увидеть Афиногенова, и у пары начался пылкий роман. Однако вскоре Дженни ушла от него, поскольку Афиногенов встречался с несколькими женщинами одновременно, и вернулась в Соединенные Штаты. Там она состояла в Танцевальной лиге рабочих и других культурных организациях левого толка, но в 1934 году решила вернуться в Москву и помириться с Афиногеновым. Они поженились. Дженни оставила танцы, выучила русский язык и принялась помогать Афиногенову в работе. Когда в 1937 году он подвергся критике, она написала Сталину английское письмо на восьми страницах, в котором защищала мужа и отказывалась от американского гражданства.

В 1932 году, путешествуя с Дженни по Италии и Франции, Афиногенов купил автомобиль «форд», и они решили вернуться на нем в Советский Союз. Поездка не обошлась без «особенностей», как Афиногенов написал в письме, адресованном Лине и Сергею в Париж[318]. Проливной дождь, ветер и ужасные латвийские дороги привели к длившемуся всю ночь ожиданию на советской границе. «Взволнованные латыши не позволяли нам въехать, – написал он, – говоря, что большевики будут в нас стрелять»[319]. Когда они наконец приехали в Ленинград, автомобиль нуждался в ремонте – впрочем, «ничего серьезного, просто затянули несколько гаек»[320]. Три дня они бездельничали в гостинице, поскольку на улице было жуткое пекло. Из-за жары супруги даже радовались, что отъезд пришлось отложить. Наконец машину починили, и они, проехав 700 километров, вернулись в столицу. Спустя год они въехали в четырехкомнатную квартиру в центре Москвы в Кривоколенном переулке, купленную за 20 тысяч рублей. Обстановка была роскошная – люстры, шелковые ковры… Это был престижный дом, находившийся в ведении НКВД.

Рассказ Дженни о переезде в Москву произвел на Лину впечатление еще и потому, что во многом их истории были схожи. Прокофьевы немного завидовали Афиногеновым. Лине тоже хотелось жить в центре и иметь такую же квартиру, а Сергею приглянулась машина. Именно тогда он и решил обзавестись «фордом».

Будучи на государственной службе, Джении имела право беспрепятственно входить в гостиницу «Метрополь», что было категорически запрещено простым москвичам, и посещать

ресторан. В конце 1930-х Лина и Дженни иногда встречались там, и Лина терпеливо слушала лицемерные речи Дженни о замечательной советской системе и жизни при Сталине. Ее подруга, казалось, была в восторге от запутанной бюрократической системы: Центральный комитет партии, Центральная контрольная комиссия партии, Коммунистический интернационал, Совет народных комиссаров – Лина устала от этих хитросплетений, зато Дженни была в восторге. Они говорили по-английски и однажды привлекли внимание иностранца, сидевшего за соседним столиком. «Наконец-то я могу поговорить на родном языке, – наклонившись к ним, прошептал он. – Боже мой, не могу дождаться, когда уеду из этого ужасного города»[321]. Он повернулся к Дженни, в которой с первого взгляда угадывалась уроженка Калифорнии, и спросил, что она делает в Москве. «Мне здесь нравится», – ответила Дженни. Бывший соотечественник был потрясен до глубины души. «Вам надо проверить голову», – растерянно пробормотал он[322].

Желая поскорее адаптироваться к жизни в Советском Союзе, Сергей больше всего доверял советам композитора Николая Мясковского, своего друга из Санкт-Петербургской (Ленинградской) консерватории. По совету Мясковского Сергей писал патриотические хоровые произведения и марши и соглашался на интервью иностранным корреспондентам, в которых дал высокую оценку советской музыке и с благодарностью рассказывал об оказываемой ему поддержке. Для зарубежных турне ВОКС выдал Прокофьеву примерные тексты для выступлений перед прессой. Композитор должен был говорить, что его главная цель – нести музыку в массы, «стекающиеся в концертные залы»[323]. New York Times озаглавила одно интервью Prokofieff Hails Life of Artist in Soviet («Прокофьев восхваляет жизнь творца в Советском Союзе»). Композитор рассказал, что имеет целых три источника дохода – комиссионные, исполнительские и издательские, не считая скромной помощи от Союза советских композиторов. Советские композиторы живут лучше, чем спекулянты на Уолл-стрит, заявлял он, умалчивая о том, что в Москве практически не на что было потратить лишние рубли.

Сергею и самому пришлось напоминать об этом младшему сыну, когда тот пришел домой в разорванных брюках. В Москве намного сложнее купить новую одежду, чем в Париже, объяснил он Олегу, и мальчик запомнил «этот неприятный серьезный разговор»[324]. В Париже главной проблемой была нехватка денег, здесь – нехватка товаров.

Будучи советским гражданином, приехавшим на Запад по советскому паспорту, Сергей говорил по бумажке, выданной ему в ВОКСе. Когда он возвращался в Россию, интервью, которые он давал журналистам, тщательно проверялись на благонадежность. Не должно было возникнуть никаких сомнений в преданности Прокофьева советским идеалам. Трудно сказать, насколько он верил или хотел верить в то, что говорил. Он привык высказывать свое мнение и возмущался, что ему приходится сдерживаться, особенно после того, как перестали выполнять данные ему обещания и урезали финансовые поступления из всех источников. Сначала уменьшили гонорары за спектакли, составлявшие основную часть дохода, и постепенно выплаты прекратились вовсе – теперь Прокофьеву платили только за премьеры. Если же до премьеры дело не доходило, композитор получал всего 25 процентов оговоренного аванса.

Сергей не боялся откровенно говорить с коллегами из Союза композиторов, но не хотел впустую тратить время на собрания, заседания, совещания и отказался от работы в комитете. Он появлялся на совещаниях, только когда обсуждалась его музыка, и недоуменно отрицал любые обвинения относительно антисоветских тенденций в его мелодиях и гармониях. Когда в 1938 году стало понятно, что он никогда не сможет выехать из Советского Союза – Комитет по делам искусств «отложил» подготовку к его зарубежному турне, – Сергей не стал возмущаться. Цензорам даже не пришлось исправлять его слова. Таким образом, Прокофьева вынудили подчиниться.

В течение первых нескольких месяцев все обещания, с помощью которых Прокофьевых заманили в Москву, неукоснительно выполнялись, но затем все изменилось. Неудача постигла его Кантату к 20-летию Октября, отправленную в мусорную корзину. Грандиозное сочинение в ознаменование большевистской революции, кантата была задумана в 1932 году во время отдыха на юге Франции в летнем доме Жака Садуля, парижского корреспондента советской газеты «Известия». В 1935 году был подписан контракт на крупную сумму. Сергей не жалел усилий, стремясь продемонстрировать преданность режиму. Сергей создал грандиозное произведение для двух смешанных хоров, симфонического и военного оркестров, оркестра аккордеонов и шумовых инструментов. Первоначальная версия кантаты была посвящена заслугам Ленина, но постепенно превратилась в состоявшее из десяти частей повествование о революции, Гражданской войне, обещании, данном Сталиным Ленину и написании советской конституции. Это была

неприкрытая попытка композитора упрочить свое положение, продемонстрировав лояльность власти.

Но работа с самого начала не имела шансов на успех – чтобы политические речи в либретто звучали музыкальнее, Сергей решил немного их переделать. Однако искажение слов Ленина было святотатством, сравнимым с сожжением Библии. Кроме того, композитор умудрился допустить фатальную ошибку, вставив речь, произнесенную Сталиным в 1936 году, «О проекте Конституции», которая показала, что вождь плохо владеет русской грамматикой.

Кантата была обречена, поскольку Сергей поставил на первое место музыку, а не политику. 19 июля 1937 года кантата рассматривалась в Комитете по делам искусств, представители которого фактически исполняли роль цензоров. Заседание обернулось катастрофой – даже если бы не проблемы с Лениным и Сталиным, кантату все равно бы не пропустили. Председатель Платон Керженцев набросился на Прокофьева с уничижительной критикой: «Вы хоть понимаете, что делаете, Сергей Сергеевич? <…> Берете тексты, принадлежащие народу, и перекладываете на такую невразумительную музыку?»[325] Кантату запретили[326]. Керженцев отменил обещанные другими чиновниками творческие свободы. С учетом новых условий и необходимости приспособиться Сергей за пустяковую сумму сочинил в 1939 году «Здравицу», хвалебную оду к шестидесятилетию Сталина. Это было одно из его самых прекрасных вокальных сочинений, особенно любимое Линой.

Неудача с «Кантатой к XX-летию Октября» расстроила Прокофьева не меньше, чем бесконечные требования переработать балет «Ромео и Джульетта». В конечном итоге эта постановка стала самым большим успехом в его советской карьере, но только после бесконечных изменений, вносившихся на протяжении пяти лет. Первый вариант, законченный в Поленове в 1935 году, был со счастливым концом, в отличие от финала знаменитой шекспировской трагедии. Вместо того чтобы совершить двойное самоубийство, любовники убегали в другой мир, полный прекрасных звезд, чтобы жить там в любви. Классический сюжет был переделан под влиянием Христианской науки, которая утверждает бессмертие духа. Сергей оставил последнюю часть балета без названия, поскольку, согласно Христианской науке, нет «формы и комбинации, соответствующей представлению бесконечной любви»[327]. Только музыка, а не танец или декорации, способна передать эту духовную энергию.

Однако еще до того, как музыка была готова, над «Ромео и Джульеттой» начали сгущаться тучи. 4 октября 1935 года

композитор исполнил свое произведение на рояле в Бетховенском зале Большого театра, и оно не произвело впечатления на аудиторию. Музыка подверглась жестокой критике за неровный ритм и антиромантический рационализм». Премьера была отложена с сезона 1935/36 года на сезон 1936/37 года, а затем на неопределенное время. Фрагменты из балета были исполнены 30 декабря 1938 года в чешском городе Брно, однако композитор не присутствовал; с этого момента выезд из Советского Союза был ему запрещен. Балетмейстер Леонид Лавровский получил разрешение поставить балет «Ромео и Джульетта» в Ленинграде в театральном сезоне 1939/40 года. Лавровский требовал от Прокофьева изменений и дополнений, и дело чуть не дошло до драки. Композитор, как мог, защищал свое творение, но проиграл. Счастливый конец принесли в жертву традициям, были добавлены новые сольные вариации и групповые танцы. Без разрешения Сергея была сокращена партитура и изменена оркестровка.

Если бы балет «Ромео и Джульетта» был написан в середине 1920-х, а не 1930-х, он, возможно, избежал бы корректировок. Но окончание работы совпало с началом усиления идеологического контроля над искусством. История с оперой Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» отозвалась на балете Сергея; власть осудила обоих композиторов. Выговор, полученный Шостаковичем, не сказался положительным образом на карьере Сергея, как предполагала Лина. Он не стал новым фаворитом Комитета по делам искусств. Вместо этого Прокофьев попал в список идеологически неустойчивых композиторов наравне с Шостаковичем. В то время как некоторые из коллег считали оправданным счастливый конец балета, остальные осмеяли Прокофьева. Афиногенов в своем дневнике язвительно отозвался о внесении изменений в знаменитую трагедию Шекспира, написав, что последние строки трагедии – «нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте» – в одинаковой мере относятся к сказанию о самом Сергее»[328].

На самом деле критика сюжета оказалась самой незначительной из всех проблем, и вскоре у Сергея возникли более серьезные поводы для волнений, чем жалобы артистов балета на «нетанцевальную» музыку[329]. 20 апреля 1937 года директор Большого театра Владимир Мутных, который заключил с Прокофьевым договор на постановку балета «Ромео и Джульетта», был взят под стражу в связи с проводимой чисткой в сфере культуры. Его фамилия появилась в списках арестованных и заключенных в тюрьму, подписанных Сталиным. В ноябре он был расстрелян.

Ужасная цепь событий, связанных с балетом, стала для Лины моментом откровения. Прокофьевых обманули; переезд был ошибкой. Досада Сергея сменилось отчаянием, затем опустошением. К моменту премьеры «Ромео и Джульетты», состоявшейся в Ленинграде в 1940 году, во время непродолжительной советско-финской войны, дух композитора был сломлен. Сергей продолжать творить, и произведения его были блестящи, однако теперь он ни на шаг не отступал от указаний партии. Лина понимала, что Сергей уже никогда не будет прежним, и отныне над их жизнью нависло облако страха. Теперь они все делали с оглядкой, стали боязливыми и подозрительными. Сергей раздумывал, стоит ли ему приезжать на премьеру в Ленинград, поскольку не хотел общаться с иностранными журналистами, тайно пробиравшимися в Советский Союз на борту грузовых судов. Чтобы не сойти с ума, он полностью ушел в работу.

Постепенно чистки начали входить и в жизнь Прокофьевых. Однажды забрали знакомых соседей, живших на первом этаже. Арест прошел тихо, если не считать звука шагов и приглушенного вскрика на лестнице. Потом захлопнулась дверца машины и наступила тишина. Лина страдала от бессонницы. «Почему ты не спишь?» – спросил Сергей. «Я боюсь», – прошептала она[330]. Аресты прекратятся, с наивным оптимизмом заверил он. Все образуется. Но когда исчез еще один сосед, Лина запаниковала: «Хочу назад, к маме»[331]. Сергей пытался успокоить ее, но она настаивала на отъезде. Лина напомнила мужу его обещание, что они уедут из Советского Союза, если что-то пойдет не так. «То, что я обещал тогда, нельзя сделать сейчас», – ответил Сергей[332].

Они сохранили право выезжать из страны в течение первых двух лет после окончательного переезда в Москву, но разрешение на выезд надо было получать через Комитет по делам искусств. Процесс был сложный и муторный. Приходилось переносить сроки турне, чтобы подладиться под намеренно тормозившую дело бюрократическую машину.

Сергей совершил две гастрольные поездки на Запад в период чисток; первая продолжалась с конца ноября 1936 года по февраль 1937 года. Он гастролировал в Бельгии, Франции и Соединенных Штатах. Лина хотела присоединиться к мужу, но не успела вовремя получить разрешение, и им удалось встретиться только в сочельник в Париже. В начале декабря она написала мужу отчаянное письмо, сообщив, что, несмотря на его заверения, его отъезд не ослабил «нервозную атмосферу» в московской

квартире[333].

На самом деле без Сергея Лине стало еще страшнее. Оставшись одна, она вновь была вынуждена взвалить все дела на себя. Лине приходилось не только заниматься детьми, но и следить за рабочими, которые перестраивали одну из стен в комнате Сергея – вероятно, с целью повышения звукоизоляции. Сначала работала одна бригада штукатуров, затем ее заменили другой, которая разводила в квартире жуткую грязь и заблокировала подход к роялю. Не успели разобраться с деревянными панелями и толем, как понадобилось смешивать и наносить известковый раствор. Лина с трудом сдерживалась: «С радостью выгнала бы их, но это не мне решать»[334]. Между тем рабочие не успевали закончить работу в срок, и Лине пришлось отложить запланированный отъезд.

Кроме того, она еще не получила разрешение на выезд и загранпаспорт. Лина впустую потратила целый день на телефонные разговоры: один чиновник заявил ей, что не получил распоряжений относительно ее отъезда, другой – что вообще ничего не знает о ее намерениях. В конечном итоге Лине велели подать письменное прошение о визе Керженцеву, председателю Комитета по делам искусств. Лине было понятно, что ее просто не хотят выпускать за границу, и она обратилась за помощью к мужу. Если бы Сергей до отъезда обратился в комитет с просьбой выдать ей визу, не было бы никаких проблем, заявила она. Но он в очередной раз не учел ее интересы и пренебрег женой, потому что был слишком занят собственными делами.

Теперь Лина вынуждена отказаться от возможного ангажемента во Франции. «Я прекрасно понимаю твое положение и знаю, что ты не виноват, – примирительно написала она, пытаясь смягчить гнев Сергея. – Тем не менее ты ничем не облегчил мое положение, а мне самой это трудно сделать, поскольку я не ты»[335]. Затем, чувствуя себя, словно загнанный зверь в ловушке, Лина взяла на себя тяжелую задачу сообщить Сергею о телеграмме, в которой ему приказывают немедленно прекратить работу над заказом для Московского камерного театра. Музыка предназначалась для инновационной сценической редакции романа Пушкина «Евгений Онегин», но инсценировка Сигизмунда Кржижановского, писателя-парадоксалиста и творца фантасмагорий, была запрещена. Очередное нарушенное обещание. В последних строках горестного письма Лина не сдержалась и выплеснула накопившуюся злобу: «…сегодня была демонстрация в честь принятия советской Конституции. Грандиозный праздник с церемониальной процессией!»[336]

Лина весь день была занята хлопотами и волнениями и за

письмо садилась урывками. Однако в конце концов Лина решила не отправлять его по почте – слишком «антисоветскими» были ее жалобы. Похоже, она через кого-то передала письмо мужу в Париж; возможно, Лина хотела, чтобы он понял, как сложно ей заботиться обо всем, когда он в отъезде, но главная причина такой осторожности была в телеграмме относительно «Евгения Онегина».

В декабре Лина встретилась с мужем в Париже, они вместе отправились в Соединенные Штаты, но Лина не сопровождала его в поездках по стране. Она вернулась в Москву одна, в знак протеста отказавшись писать Сергею письма, и погрузилась в домашние заботы.

О том, как Лина проводила время в Нью-Йорке с мужем и без мужа, написала в своих очаровательных мемуарах Алиса Березовская, жена американского скрипача и композитора русского происхождения Николая (Ники) Березовского. Она познакомилась с Линой 6 января 1937 года, в манхэттенском отеле Savoy-Plaza, куда пришла по приглашению Сергея Кусевицкого, остановившегося в этом отеле с женой и камердинером. Алиса ожидала увидеть строгую, бесцветную советскую женщину и была поражена роскошным нарядом Лины и отдельными подробностями ее роскошной жизни в Москве. О мрачных подробностях Лина предпочла не упоминать.

Напустив на себя важность, Лина упомянула, что Святослав ходит в английскую школу, и посетовала, как трудно было найти хорошую домработницу. Последняя повариха была расточительной, пожаловалась она. К тому же эта особа сохранила дореволюционные привычки, и шоферу Сергея приходилось возить ее в церковь. Алиса похвалила «великолепный» наряд Лины – бордовый костюм, туфли на каблуках, золотое колье с изумрудами, модную шляпку без полей, прозрачные чулки на стройных ножках, стильную укладку и роскошную шубу[337]. Конфликты с цензорами не слишком отразились на доходе Прокофьева, к тому же за выступления в Европе и Соединенных Штатах он получал гонорары в твердой валюте по высокому курсу. «Спасибо, мне очень приятно, – ответила Лина. – Я купила материал в Париже, но костюм заказала в Москве. У меня такая хорошая портниха, и кроме того, никто так хорошо не разбирается в мехах, как русский скорняк»[338].

Демонстрация мод продолжилась следующим вечером в Карнеги-Холл на выступлении Бостонского симфонического оркестра под управлением Кусевицкого; в программе были Брамс, Клементи и Равель. «Когда мадам Прокофьева вошла в ложу

Кусевицких, все взгляды устремились на нее, – рассказывала Алиса. – Когда она позволила накидке из соболя соскользнуть с плеч, открылось изящное переливающееся вечернее платье из ламе. В волосах, на шее, запястьях и пальцах огромные старинные топазы. Камни вставлены в массивные ультрасовременные золотые оправы, которые, как она сказала мне, созданы парижским ювелиром»[339]. В отличие от Лины Сергей не произвел на Березовскую впечатления. Ей не понравился ни наряд композитора, ни его манера держаться. Алиса находила непривлекательным его «бесстрастное лицо»[340].

Когда Сергей отправился в турне по Среднему Западу, Лина осталась в Нью-Йорке, и Алиса пригласила ее в гости. Они хорошо провели время, расслабились, и Лина сказала, что очень скучает по Святославу и Олегу; она переживала, что оставила детей на праздники. У Алисы и Ники тоже был сын. Когда зашел разговор о политике в культурной сфере, Лина подчеркнула преимущества, которые предоставляются советским художникам, и заявила, что история с обвинениями в адрес Шостаковича преувеличена. «Правительство ничего не сделало Шостаковичу, – твердила Лина. – Мы видели его перед отъездом из Москвы. Он упорно работает, спокойно живет и прекрасно себя чувствует. То, что его сочинение – опера «Леди Макбет Мценского уезда» – потерпело неудачу, не означает, что он впал в немилость… Вы еще увидите, что у Шостаковича будут новые сочинения, его ждет сокрушительный успех»[341].

Она много говорила о соболях и драгоценностях и только вскользь упомянула об общих знакомых, отправленных в трудовые лагеря. «Знаете, мне очень жаль, но, по-моему, ему надо было вести себя осмотрительнее. Я слышала, они оба в Сибири», – небрежно сказала она[342]. Лина ни словом не упомянула исчезнувших соседей, ничего не сказала о профессиональных проблемах, с которыми столкнулся муж, и не стала говорить, чего Прокофьевым стоило получить квартиру и добиться разрешения на выезд из страны.

В январе Сергей отправился в Чикаго, где был восторженно принят коллегами, критиками и публикой и где с горечью признал, что отрывки из балета «Ромео и Джульетта» прозвучали в исполнении Чикагского симфонического оркестра лучше, чем в Большом театре в Москве. Естественно, имел значение тот факт, что он дирижировал оркестром. Несмотря на эти обстоятельства, в интервью репортеру Chicago Tribune Сергей расхваливал советскую систему и подчеркивал преимущества, которые она дает композиторам; встреча состоялась в закусочной в центре города, и во время беседы Прокофьев с жадностью поедал

яблочный пирог. В феврале в Сент-Луисе он сделал паузу между выступлениями, чтобы купить автомобиль, который планировал отправить в Советский Союз. Здесь, как и в Чикаго, он был любезно принят благодаря стараниям его большого поклонника и неофициального представителя на Среднем Западе Эфраима Ф. Готтлиба. Готтлиб, по профессии страховой агент, был восторженным почитателем и активным защитником музыки Прокофьева. Они встретились в 1920 году и более 25 лет вели переписку на английском языке. Сергей полностью доверял Готтлибу, зная, что тот договорится о наиболее выгодных для него, Сергея, условиях. При первой встрече Готтлиб не понравился Лине – она нашла его скучным, – но он добился ее расположения, прислав ей настольные календари в кожаных переплетах, на которых было вытиснено ее имя. Сохранились переплеты календарей за 1937 и 1938 годы, но большинство страниц вырвано. Остались только чистые листы.

В Нью-Йорке, на обратном пути, Сергей встретился с еще одним русским композитором-эмигрантом, Верноном Дюком. Лина уже уехала в Москву. Дюк был близким другом, снискавшим успех на Бродвее; Сергей любил поддразнивать его, говоря, что он торгует собой на Великом Белом Пути[343]. Сергей навестил мать Дюка, Анну, большую его поклонницу, которая хотела услышать подробности о его жизни в Москве. Дюк описал эту встречу в своих мемуарах. «Сергей Сергеевич, вы хотите сказать, что коммунисты выпускают вас?» – «Совершенно верно, Анна Алексеевна. Как вы видите, это я, в целости и сохранности»[344].

Анна спросила, как дела у Лины. Сергей сказал, что в конце года она приедет вместе с ним в Соединенные Штаты, поскольку у него в это время запланированы гастроли. «А мальчики тоже поедут с вами?» – уточнила она[345]. Сергей, не ответив на этот вопрос, перевел разговор на другую тему. Дюк утверждает, что «позже узнал» – оказалось, Святославу и Олегу отказались выдать разрешение на выезд за границу, «другими словами, их оставили в России в качестве заложников»[346].

Даже в личной беседе Сергей опасался высказывать критические замечания относительно жизни в Советском Союзе, поэтому принялся восторженно рассказывать о многочисленных заказах, чудесной квартире, подмосковной даче, которую он снимал на лето, и об английской школе, в которую ходит Святослав. У Олега был частный учитель, англичанин, который занимался с ним английским и арифметикой. Платой за разрешение на выезд были похвалы Советскому Союзу, поэтому о запретах и ограничениях не было сказано ни слова. Сергей только пожаловался Дюку, что Лина «ноет время от времени – но ты ее

знаешь». А затем искренне признался: «Непросто быть женой композитора»[347].

Весной 1937 года Сергей и Лина провели некоторое время дома, но на лето опять разъехались. Ему нравились курорты в горах Северного Кавказа, где было не слишком жарко, а она предпочитала Крым с его морем и теплым климатом. Закончив Кантату к 20-летию Октября, Сергей уехал на месяц в Кисловодск, в располагавшийся в оазисе среди живописных гор санаторий имени 10-летия Октября. О Великой Октябрьской революции нельзя было забывать даже во время отдыха. Отдыхающие ежедневно пили воду из минеральных источников, для них устраивали экскурсии в горы, шахматные турниры, теннисные и волейбольные матчи. В номере у Сергея был рояль, благодаря чему он мог продолжать работу над новыми произведениями. Вечерние развлечения, или «культурная программа», состояли из танцев на открытом воздухе в сопровождении оркестра Кисловодской филармонии. Сергей освоил несколько танцевальных движений с помощью брошюры «Памятка по современным танцам для изучающих танцы на курортах Кавказских Минеральных Вод, с рисунками и диаграммами». Позже он пробовал танцевать с Линой, но жена нашла его неловким партнером – слишком неуклюжим, скованным и напряженным. Отсутствие координации у композитора, обладавшего таким чувством ритма, озадачило ее. К тому же он был очень плохим пловцом.

Сергей уговаривал Лину приехать к нему в Кисловодск, но отдыхать в санатории имени 10-летия Октября ей не разрешалось. Это право было дано только людям, обладавшим высоким положением и заслугами перед государством, на членов их семей привилегия не распространялась. В конце концов Лина решилась на 10-часовой перелет на трех самолетах до черноморского курорта Сочи, где вода была теплой, а волны высокими. Там в «культурную программу» входило исполнение гимнов, прославляющих Ленина и Сталина. Однако отдых не помог привести в порядок расшатанную нервную систему. Лина по-прежнему страдала от бессонницы и сильно скучала по мужу. Соседи по гостинице были «исключительно неинтересными» и не считались с остальными – в любое время суток хлопали дверьми, громко разговаривали и смеялись[348]. В ответ на ее жалобы Сергей предложил жене приехать в Кисловодск и поселиться в гостинице «Интурист». Лина так и сделала, но уже несколько дней спустя снова уехала. Сергей был недоволен «капризами» супруги: «Прекрасно представляю, что творится у тебя в голове…

Сначала тебе не понравился Кисловодск, потом понравился, но, следуя порыву, ты поехала в Москву. Однако, проехав Ростов и проснувшись в поезде, ты увидела пасмурную, дождливую Москву и снова передумала»[349]. Лина не знала, где ей хочется быть, не могла найти места, в котором чувствовала бы себя комфортно. Она снова оказалась брошенной, одинокой. Сергей, как обычно, был погружен в свои дела, хоть и старался устроить для Лины выступление в Харькове, чтобы осенью она спела там «Гадкого утенка».

Сергей обращался с женой примерно так же, как с детьми: главное – вовремя отвлечь и занять делом. Меньше всего Сергею хотелось, чтобы домочадцы лишний раз требовали к себе внимания. Вообще-то у него лучше получалось успокаивать возмущенных нянь, чем утешать жену. Ника и Степановна жаловались, что работают сверхурочно, и Сергею приходилось задабривать обеих женщин, чтобы присматривали за Святославом и Олегом все лето, пока родители в отъезде. Он предупредил Лину, что с нянями надо вести себя полюбезнее, иначе они попросту уволятся. Участие Сергея в воспитании детей было весьма незначительным – время от времени отец следил, чтобы мальчики все делали вовремя и не отлынивали от уроков. Сергею достаточно было знать, что Святослав и Олег встают в восемь, ложатся в девять или десять и большую часть дня занимаются арифметикой, а также английским, французским и русским языком. У мальчиков вошло в привычку привлекать внимание родителей, жалуясь на болезни. Однажды у Олега действительно поднялась температура, после того как он выпил слишком много молока и переел дыни. Сергей запаниковал и вызвал докторов. Врачи осмотрели мальчика и заявили, что необходимо соблюсти хотя бы однодневный карантин, на случай, если у ребенка дифтерия. Но через несколько часов жар спал сам собой…

Осенью 1937 года пришло время организовывать заграничное турне, и на этот раз Лина настояла, что будет сопровождать Сергея. Они еще не знали, что это будет их последняя совместная поездка на Запад. Дети опять остались в Москве, чтобы гарантировать возвращение родителей. Сольные концерты и выступления с оркестрами сопровождались официальными приемами, на которых присутствовал не только Прокофьев, но и Лина. Неофициальные Сергей посещал без жены. Он выступил в Праге, Париже, Лондоне и многих городах Соединенных Штатов, включая Бостон, Боулдер, Колорадо-Спрингс, Денвер, Детройт, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия. Регулярные отчеты о его действиях отправлялись в Москву из

советских посольств в Париже, Лондоне и Вашингтоне.

Они больше не были свободны, ни дома, ни за границей. Отчетами об их действиях обменивались разные отделения ВОКСа. Советский посол в Великобритании, Иван Майский, представил новому председателю Комитета по делам искусств отчет о том, как Сергей проводил время в Лондоне. А Борис Моррос (Мороз)[350], музыкальный директор на студии «Парамаунт», принимавший Сергея в Лос-Анджелесе, был советским агентом. Моррос встретил Прокофьева с большими почестями и провел по Tin Pan Alley[351], где, согласно газетной статье, «композитор услышал и увидел все, от тамтамов индейцев до джиттербага»[352]. Лина, путешествовавшая вместе с мужем, обижалась, когда все вокруг думали, что она не понимает по-английски. «Ну, наш сленг, возможно, не такой современный, но мы, конечно, говорим по-английски»[353]. Ей спели серенаду в виде песни ковбоя, которую она назвала «из фильма The Texans» («Техасцы»). Лина охарактеризовала это произведение как «колыбельную для коровы».

Атмосфера во время поездки была напряженная, и Лина с Сергеем понимали, что должны быть очень осмотрительны. В отличие от мужа, державшего все в себе, Лина изливала чувства в письмах матери. «Эти три дня в Лондоне были самыми утомительными. Во-первых, когда пересекали Ла-Манш, было сильное волнение, и почти все, кроме меня, страдали морской болезнью. Концерт в Лондоне имел большой успех у холодных англичан. На следующий вечер был концерт в советском посольстве, а вчера в ВОКС – обществе культурных отношений с СССР»[354].

Затем следовали мрачные новости из Москвы. «Мы получили письмо от детей. Кажется, неожиданно закрылась английская школа – это очень неприятно, и я сильно расстроена. Теперь им придется ходить в русскую…»[355] Хотя в письме Святослав не сообщил Лине подробностей, связанных с закрытием школы, в своих воспоминаниях он рассказал, что родителей нескольких его одноклассников объявили врагами народа. Некоторых арестовали, других выслали из страны. Школу закрыли, и учеников распределили по обычным школам, которые, по воспоминаниям Святослава, были страшно переполнены. Но в ситуации были и свои плюсы – школа номер 336, названная в честь подвергавшегося гонениям русского писателя Александра Радищева, находилась всего в пятнадцати минутах ходьбы от дома. Единственное, что запомнил Олег, – как его дразнили, особенно когда отец согласился выступить в школе «в связи с каким-то революционным праздником»[356]. Одна из нянек,

которая заботилась о детях в отсутствие родителей, Ника или Степановна, отправила Лине телеграмму, в которой написала, как трудно было найти новую школу для Святослава.

После турне по Среднему Западу Прокофьевы вернулись в Нью-Йорк. Лина осталась в городе, где продолжала общаться со старыми знакомыми, а Сергей отправился на запад, где должен был дать серию концертов. Советский композитор, путешествующий по местам, где не было агентов, должен был сам регулярно докладывать о своих действиях. Сергей отправлял отчеты Владимиру Потемкину, дипломату, сыгравшему важную роль в его возвращении в Москву в 1936 году. Год спустя, заняв должность первого заместителя народного комиссара иностранных дел, Потемкин помог Прокофьеву в организации последнего заграничного турне. Самый откровенный отчет пришел из Денвера, штат Колорадо, с Черри-стрит, 200 – по этому адресу находился дом известной филантропки Джин Кранмер. Сергей не понравился Кранмер, она нашла его неприятным гостем, слишком угрюмым и резким. Но потом они вместе пошли в кино на диснеевский мультфильм «Белоснежка и семь гномов». Сергей был в таком восторге, что предложил посмотреть его еще раз.

В отчете Потемкину, датированном 21 февраля 1938 года, Сергей старался выражаться осторожно и с преувеличенным энтузиазмом заверил дипломата, что, несмотря на замечательный прием, оказанный в Соединенных Штатах, «я не раздулся от самомнения и, между концертами, продолжаю работать над советскими темами»[357]. Одной из них была хоровая песня в честь народного комиссара обороны, маршала Климента Ворошилова. Прокофьев, возможно, не знал, что Ворошилов играл ведущую роль в кровавых чистках, а это значило, что композитор сочинял хвалебную оду в честь массового убийцы. Впрочем, это было не последнее задание такого рода, которое предстояло выполнить Прокофьеву.

Отчет заканчивался обменом любезностями: «Посылаю Вашей жене и Вам сердечные приветы, и, несомненно, Лина Ивановна тоже. Я говорю «несомненно», потому что ее нет рядом. Я в Денвере, в Скалистых горах, а она осталась в Нью-Йорке»[358].

Из Нью-Йорка Лина отправилась в Лос-Анджелес, но поезд задержался в пути; из-за наводнения в Колорадо было затоплено железнодорожное полотно, и потребовалось время, чтобы движение восстановилось. Она приехала 7 марта и провела ночь в доме Кариты Дэниел (урожденной Спенсер), одной из тех хорошо образованных, много путешествовавших дам, которые приглядывали за ней в Париже, когда Лина была молодой

девушкой.

Между тем на студии «Парамаунт» Сергей получил предложение сочинить музыку к фильму. Ожидая приезда Лины, он поделился этой новостью с тещей. Предложение было соблазнительным, но Сергей не мог его принять. Он объяснил Ольге, что в таком случае придется задержаться в Калифорнии до 1 июня, а это «неудобно»[359]. Другими словами, он не мог нарушить свой «комендантский час» – 15 марта заканчивался срок его пребывания в Калифорнии, – и Сергей был вынужден сказать «нет».

Вне всякого сомнения, Лина была недовольна, особенно после великолепного голливудского приема, на котором побывала 13 марта. Лина могла только мечтать о чем-то подобном, но для Лили Понс и ее бывшего педагога по вокалу Альберти де Горостьяго такие приглашения теперь были обычным делом. 13 марта режиссер Рубен Мамулян[360] дал в их честь обед в ресторане в Лагуна-Бич, а после обеда все отправились в особняк Мамуляна, где устроили импровизированный концерт. Лина познакомилась со звездами, среди которых были Мэри Пикфорд, Марлен Дитрих, Глория Свенсон и Дуглас Фербенкс-младший. С некоторыми она встретилась на приеме, устроенном Мамуляном, с другими – на церемонии вручения «Оскара» 10 марта в отеле Biltmore.

Но Сергей отклонил предложение Голливуда, и супруги отправились обратно в Москву.

Перед тем как сесть на пароход, идущий в Европу, Сергей еще раз встретился в Нью-Йорке с Верноном Дюком. Тот попытался уговорить Прокофьевых остаться. Он получил телеграмму от музыкального агента Рудольфа Полка. Уолт Дисней выразил желание приобрести права на экранизацию «Пети и волка» за 1500 долларов. Дюк забыл детали предложения, но разговор с другом запомнил во всех трогательных подробностях. «На какую-то секунду во взгляде промелькнуло оживление, но он тут же взял себя в руки… и грубовато произнес: «Хорошая приманка, но я не попадусь на удочку. Я должен вернуться в Москву, к своей музыке и своим детям. А теперь, когда все решено, поехали в Масу's (универмаг Мэйси). Мне надо купить уйму вещей – только посмотри на список, который составила Лина»[361].

Затем, отмечает Дюк, Сергей как-то расслабился, сделавшись непривычно сентиментальным. «Знаешь, Дима, мне пришло в голову, что я, возможно, не скоро вернусь сюда… Думаю, тебе не стоит приезжать в Россию, не так ли?» – «Пожалуй, ты прав», – ответил Дюк[362]. Хотя Дюк умер в 1969 году, а Прокофьев – в

1953-м, в тот день в универмаге Мэйси они виделись в последний раз.

В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе Лина обращалась за поддержкой к друзьям и знакомым. Перед возвращением в Москву, 3 апреля 1938 года, она отправила короткое письмо с выражением благодарности Уоррену Чарльзу Клейну, практику Христианской науки, у которого был офис в Манхэттене: «Хочу еще раз сказать Вам, что значило для меня повидаться с Вами после стольких лет и выслушать Ваши добрые слова, которые так важны для меня теперь. Когда вернусь, буду постоянно вспоминать их, особенно в самые трудные моменты». Затем Лина с горечью пишет: «Какое облегчение знать, что Вы поняли некоторые мои проблемы»[363]. Она поддерживала связь с Лоренсом Аммонсом, практиком Христианской науки, с которым она и Сергей советовались в Париже. Она получила от него письмо в Мартовские иды. Аммонс перечислил книги, которые должны были помочь Лине снять напряжение, и советовал видеть во всем только хорошее – рекомендация касалась и повседневной, и духовной жизни»[364]. Однако выполнить рекомендации было трудно, и Лина позволила себе предаться фантазиям. Воображала, как уедет из Москвы в Лос-Анджелес, по крайней мере на несколько лет, с мужем или без него. Аммонс одобрил эту идею. «У Голливуда большие перспективы, – написал он, – и, если сбудется Ваша надежда, я думаю, в течение нескольких лет Вам и детям будет обеспечена спокойная жизнь… В этом месте, которое возникло только потому, что было угодно Богу, можно сохранить приверженность истинной Науке, пусть даже в мире кинематографа много искусственного. Идеальная обстановка для воспитания детей!»[365]

Однако вскоре за Прокофьевыми захлопнулась дверца клетки. Приехав вместе в Москву, супруги вскоре начали отдаляться друг от друга, в одиночку справляясь с трудностями жизни в Советском Союзе. При встрече они всякий раз спорили и ругались, и Лина часто плакала. В своих мемуарах Дюк хладнокровно перечисляет признаки угнетенного состояния Лины – она часто плакала, и переживания сказались на ее вокальных данных.

Последний след пребывания Сергея на Западе – в префектуре полиции Парижа, где он зарегистрировал пребывание в городе с 6 апреля по 7 мая 1938 года. Они с Линой договаривались вместе провести этот месяц в Париже. Однако Сергей уехал в Советский Союз один намного раньше намеченного срока. После пересечения границы в Негорелом и прибытия в Москву он

обменял заграничный паспорт на внутренний. Композитора, завоевавшего международное признание, НКВД объявил невыездным – не имеющим права выезжать за пределы Советского Союза. Это относилось и к его жене. Запланированные на 1939 и 1940 годы заграничные турне были отложены, а затем отменены. Оправданием послужила война. На концерте в Нью-Йорке вместо Прокофьева выступил Стравинский. Сергей, мучительно переживавший перемены в своем положении, никогда не обращался с просьбой разрешить ему выезд. «Он не просил, потому что боялся услышать отказ», – вспоминала Лина[366].

Предчувствуя, что скоро окажется в ловушке, Лина как могла растянула свое пребывание на Западе в 1938 году. С 6 апреля по 8 мая она жила в отеле Astor Saint-Honore в престижной части Парижа, между Елисейскими Полями и Гранд-опера. Ее мать переехала из квартиры в доме номер 14 по улице Доктер-Ру в комнату в доме рядом с Люксембургским садом. Ольга чувствовала себя брошенной, и Лина переживала за мать, но о собственной судьбе тревожилась не меньше.

Глава 9

Пакт о ненападении между Советским Союзом и нацистской Германией, результат тайного сговора между Сталиным и Гитлером, поделил Восточную Европу на сферы. Вторая мировая война началась с опустошения Польши советскими и немецкими войсками в сентябре 1939 года, практически сразу после подписания договора. Затем Гитлер вторгся в Данию и Норвегию, а оттуда двинулся в Бельгию и Нидерланды. В ответ Сталин превратил три государства Прибалтики, Эстонию, Латвию и Литву, в Советские Социалистические Республики – вынужденные друзья народов других одиннадцати советских республик. Бессарабия (Молдавия) была следующей разменной фигурой в тоталитарной шахматной партии; в августе 1940 года появилась Молдавская Советская Социалистическая Республика.

В июне 1940 года капитулировала Франция. Ранним утром 23 июня Гитлер прокрался по закрытому ставнями Парижу, настояв на том, что хочет увидеть Оперу и сфотографироваться у Эйфелевой башни. Но ходили слухи, что французские рабочие перерезали провода лифтов, и Гитлер передумал[367]. Гитлеровские войска оккупировали север Франции, и был установлен коллаборационистский режим в Южной Франции, режим Виши.

Несмотря на многомесячные налеты люфтваффе, Великобритания сопротивлялась захватчикам. Но неудача не помешала Гитлеру в июне 1941 года начать операцию «Барбаросса», крупномасштабное многостороннее вторжение в Советский Союз при поддержке Муссолини и антибольшевистских сил в Европе и Азии. Сталин ожидал такого исхода, но Гитлер атаковал раньше, чем предполагали, – раньше, чем была проведена полная мобилизация Красной армии, и раньше, чем Сталин мог позволить себе разорвать договор с Гитлером.

Советский Союз освещал разворачивающийся катаклизм в газете «Правда», выразителе мнения Центрального комитета. Прокофьевы следили и за сообщениями, передаваемыми по радио и печатавшимися в газетах, и за обрывками информации, просачивавшимися из буржуазного капиталистического мира. Между тем отношения супругов ухудшались с каждым днем. По мнению Лины, брак окончательно распался в начале войны, когда Сергея эвакуировали из Москвы.

В действительности Сергей ушел от Лины в марте 1941 года, за три месяца до вторжения. Лина слегла от расстройства, и с

Ленинградского вокзала Сергей вызвал для нее врача. Прокофьев сказал старшему сыну, что когда-нибудь он поймет решение отца уйти из семьи. Но Святослав так никогда и не понял, и слова отца преследовали его до конца жизни. Сергей ошибочно полагал, что маленький Олег попросту забудет его. Причина была очевидной – Сергей влюбился в другую женщину, намного моложе его, – и Лина пришла к выводу, что после переезда ее муж пережил нравственное падение, которое заставило его пойти против учений их общей веры.

В Москве супруги начали отдаляться друг от друга. Хотя они и раньше проводили много времени вдали друг от друга, Лина всегда знала график мужа и его примерное местонахождение в данный момент, даже когда он был в длительной гастрольной поездке. Но теперь ситуация начала меняться – впрочем, вины Прокофьевых в этом не было, по крайней мере поначалу. К тому времени, когда Сергей ушел, они уже давно не разговаривали друг с другом, за исключением стаккато ссор.

Она пыталась вернуть прежние отношения, оставаться частью его жизни, но на пути ее встали непредвиденные препятствия. Весной 1938 года Лина планировала посетить в Ленинграде премьеру Сергея и услышать музыку к «Гамлету». Однако сработал бюрократический аппарат, и ей не позволили сесть в ночной поезд, шедший из Москвы в Ленинград. Это происшествие лучше всяких слов говорило о том, что она больше не находилась на особом положении в Советском Союзе. Она сталкивалась с теми же бюрократическими препятствиями и ограничениями, что и обычные советские граждане. О зарубежной поездке вопрос уже не стоял, но теперь возникли проблемы и с передвижениями внутри страны. 14 мая, когда Лина пошла в НКВД, чтобы обменять заграничный паспорт на внутренний, ей сказали, что она нарушила паспортный режим, поскольку срок действия истек 5 мая. Она должна получить новый паспорт в паспортном столе местного отделения милиции. Там ей сказали, что оформление паспорта займет несколько дней, и, будто нарочно издеваясь, заявили, что фотографии для паспорта не того размера.

Лина чувствовала себя униженной, многочисленные правила выводили ее из себя. Свое раздражение она сорвала на муже. «Завтра я должна бог знает сколько времени стоять в очереди с жителями Москвы и пройти через все процедуры, – жаловалась Лина. – И вдобавок оправдываться за то, что у меня просрочен паспорт, хотя моей вины в этом нет».[368] Сразу же вслед за этим Лина дает понять, что соскучилась. «Целую и обнимаю тебя и жалею, что лишена возможности быть на премьере. Передавай приветы всем нашим друзьям. Если поедешь на гастроли в июне,

отправлюсь с тобой в Ленинград. Может, удастся посмотреть «Гамлета»?»[369]

В том же году Сергей получил важный заказ на сочинение музыки к фильму «Александр Невский», пропагандистскому фильму о героических деяниях русского воина XIII века, одержавшего победу над тевтонцами. В фильме было много батальных сцен, в том числе битва на льду Чудского озера, наряду со сценами патриотического самопожертвования и эпизодами, пронизанными народным юмором.

Этот заказ давал композитору возможность улучшить отношения с чиновниками, отвечавшими за культуру. Фильм предназначался для того, чтобы подготовить советский народ к возможной войне с нацистами; Александр Невский рассматривался как исторический прототип Сталина, целеустремленный и решительный. В образе тевтонцев, соответственно, был изображен вермахт – вооруженные силы нацистской Германии. Режиссер-новатор Сергей Эйзенштейн не меньше Прокофьева стремился восстановить репутацию, поскольку цензоры запретили его предыдущий фильм[370]. У Эйзенштейна с Сергеем установились гармоничные рабочие отношения, но по техническим причинам монтаж фильма шел тяжело. Сергея могли в любое время вызвать на студию «Мосфильм», где он с секундомером в руках отсматривал сцены битвы, которую снимали жарким летом на картонном льду[371]. Лина никогда не знала, в котором часу муж вернется домой, и переживала, что он не успевает нормально поесть. У Прокофьевых была замечательная домработница, которая очень хорошо готовила.

Сергей сочинил потрясающую музыку для сцены сражения и трогательную песню «Я пойду по полю», которая прозвучала, когда оплакивали погибших русских воинов. Спустя несколько лет, находясь в тюрьме, Лина попросила сыновей прислать ей эту песню.

В перерыве между съемками и монтажом фильма «Александр Невский» Сергей уехал отдыхать на Северный Кавказ – без Лины. Прокофьев отдыхал там уже во второй раз после переезда в Советский Союз. Сначала он остановился в новом доме отдыха в Теберде, а затем перебрался в санаторий имени Горького в Кисловодске. Там, в конце августа 1938 года, он заметил, что у него появилась новая поклонница, скромная и непривлекательная молодая женщина по имени Мира.

У Лины на лето были другие планы, поскольку она, Святослав и Олег не могли отдыхать в санатории; это было

позволено только родственникам высокопоставленных деятелей. Тем не менее после двухнедельного отдыха в Крыму Лине удалось провести несколько августовских дней в Кисловодске с мужем. Она не имела права отдыхать в санатории имени Горького – возможно, Сергей мог бы все устроить, но предпочел этого не делать, – и Лине пришлось остановиться во второразрядном санатории «Батилиман» с грубым обслуживающим персоналом. Она была раздосадована – такой отдых никак не мог успокоить нервы. На приятное времяпрепровождение не стоило и рассчитывать, а от грязелечения и обследований нервной и дыхательной системы Лина отказалась. Ради детей она раньше времени вернулась домой в жарком, душном поезде, который пришел в Москву с большим опозданием. Но впоследствии Лина горько жалела о своем решении уехать из Кисловодска раньше времени. То, что случилось после ее отъезда, подтвердило растущее подозрение Лины, что в отношениях с женщинами Сергей начал позволять себе вольности, laissez-aller.

После отъезда Лины у Сергея были развязаны руки. Трудно сказать, было ли его знакомство с Мирой случайным или тщательно просчитанным – на этот счет существуют разные версии. По словам Миры, это была случайная встреча. Как следует из ее воспоминаний, впервые Мира увидела Сергея 26 августа 1938 года в столовой санатория и, будучи большой почитательницей композитора, подошла познакомиться. Они подружились и проводили вместе много времени. Потом решили вместе отправиться к ущелью Адыр-Су, знаменитому чуду природы. От знакомых Лина узнала, что Мира хотела прийти в комнату Сергея во время тихого часа. Набралась храбрости, незаметно проскользнула на его этаж, но план не увенчался успехом – Мира столкнулась со старшей медсестрой.

В 1941 году в дипломатических кругах ходили слухи, что советские власти подослали к Сергею обольстительную агентессу. Но это всего лишь ничем не подкрепленные слухи. Роман Миры и Сергея не имел никакого отношения к политике. Сергей не рассказал жене ни о путешествии в Адыр-Су, ни о других встречах с Мирой, заполняя письма праздной болтовней о погоде, режиме дня, приездах и отъездах отдыхающих и работе над полученными заказами.

Мире (Марии) Абрамовне Мендельсон было всего 23 года, когда она познакомилась с сорокасемилетним Сергеем. Мира была студенткой Литературного института имени А. М. Горького, при поддержке высокопоставленных родителей стремившейся стать писателем и переводчиком. В то лето она получила путевку благодаря заслугам родителей. Абрам Соломонович Мендельсон,

ученый-экономист, прежде чем перейти на преподавательскую работу, занимал должность в Госплане. Преданный слуга режима, он избежал ареста во время чисток. Мать Миры, Вера (Дора) Натановна, была активным членом коммунистической партии, дважды награждалась за вклад в строительство социализма и за активное участие в успешном выполнении заданий сталинских пятилетних планов. Семья Мендельсон занимала две комнаты в коммунальной квартире в доме, расположенном напротив Московского Художественного театра. После окончания школы Мира поступила в Московский энергетический институт, затем перевелась в Московский институт философии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского, а оттуда в Литературный институт имени А. М. Горького. Мира была плохой поэтессой и отдавала себе в этом отчет, поэтому решила стать либреттистом. В последующие годы она, несомненно, оказывала влияние на творчество Сергея и помогала ему работать над скучными политическими статьями, которые он должен был писать для советской прессы. Мира была комсомолкой, членом Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, и собиралась вступить в коммунистическую партию, куда принимали далеко не всех. Мира даже сама не предполагала, насколько честолюбива; в своем стремлении добиться желаемого она не останавливалась ни перед чем. По крайней мере, такое представление составила о ней Лина, когда узнала от своей массажистки, дочь которой училась вместе с Мирой, что та заявила о своем намерении поймать «крупную рыбу» – или, как по-французски выразилась Лина, grand legume («большая шишка»)[372]. После возвращения из Кисловодска в Москву Мира хвасталась однокурсникам, что ей удалось завоевать Прокофьева. «Ты сошла с ума, он семейный человек, у него красавица жена и дети», – упрекали ее подруги. «Ну и что с того? У нее красивая жизнь, и я тоже хочу так жить»[373].

Мира была типичным продуктом советской системы, ее представления о жизни ограничивались взглядами убежденных коммунистов-родителей и политической пропагандой в школе и институтах. Впереди ее ждало однообразно-унылое существование на государственной службе, пока в ее жизнь не вошел красочный мир Сергея. Мира была полной противоположностью Лины, и в своих воспоминаниях она, по понятным причинам, не сказала о сопернице ни единого доброго слова, неоднократно подчеркивая, что Мира была совершенно лишена изящества. Она была неженственной, ходила не сгибая коленей, хмурилась, говорила монотонным, гнусавым голосом, собирала волосы в скучный пучок и носила платья, которые ей

совсем не шли. Мира не любила появляться на публике – неподходящая черта характера для будущей спутницы знаменитого композитора. Но больше всего Лине не давала покоя национальность Миры; Лина так и не смогла избавиться от антисемитизма, унаследованного от отца.

Лина, ради мужа пожертвовавшая юностью, здоровьем и спокойной жизнью, считала, что не заслуживает такого пренебрежения, не говоря уже о предательстве. Она сразу догадалась, что дело не в привлекательности Миры, но была совершенно уничтожена, когда поняла, в чем причина – Сергей надеялся, что Мира, в отличие от жены, сможет помочь ему в карьере – а работа была для него важнее всего.

Одни отзывались о Мире весьма нелестно, на других эта женщина, наоборот, произвела хорошее впечатление. Невозможно дать объективную оценку ее характеру и ситуации в целом, поскольку разные источники противоречат друг другу. К примеру, виолончелист Мстислав Ростропович нашел Миру обаятельной, говорил о ее приятном голосе с милой картавостью и изящной, стройной фигуре. Отказ Миры следовать моде ставился ей в заслугу. Однако самое сильное впечатление производила ее самоотверженная преданность Сергею. Она с самого начала жила для него, и только для него одного. В отличие от Лины, которая требовала внимания, и особенно со стороны мужа, Мира прежде всего стремилась быть полезной, служить ему. Подтверждением ее скромности служат скромные черные платья со строгими воротничками и скучные стихи.

Мира описывала зарождающиеся отношения словами, в которых звучали нежность и простодушие. Они побывали у Медовых водопадов, получивших свое название благодаря аромату жимолости на горных лугах, посетили Долину роз и «Замок коварства и любви». Когда-то здесь жил богатый и очень жестокий князь, который не позволил влюбленной дочери выйти замуж за сына пастуха. В отчаянии жених бросился со скалы. Сначала девушка хотела последовать за ним, но потом передумала, за что впоследствии была вознаграждена еще более сильной любовью. Поблизости был открыт оформленный в средневековом стиле ресторан для желающих погрузиться в атмосферу тех времен.

Помимо местных достопримечательностей они посетили другие курортные места в составе группы отдыхающих. Таким образом, пара даже не пыталась скрываться. В Москве Сергей гулял с Мирой по набережной и дарил подарки, среди которых были букеты цветов и фотография с подписью: «Преуспевающему

поэту от скромного поклонника»[374]. Сергей немного преуспел в освоении танцев, и они вместе ходили на вечера в Союзе советских писателей. В своих воспоминаниях Мира не дает повода думать, что ее встреча с композитором была спланирована заранее, хотя Лина была убеждена именно в этой версии. Мира только пишет, что робела в присутствии Сергея, у которого был мрачный, неприступный вид. По ее словам, она сразу поняла, что понравиться такому человеку непросто.

Как бы то ни было, роман развивался в один из самых тяжелых периодов в карьере Прокофьева. Очередное его сочинение, безобидная 25-минутная «Музыка для спортсменов», была запрещена. Тогда же Сергею сказали, что его первую оперу на советский сюжет, «Семен Котко», следует переработать, чтобы она отражала текущие политические события. Министры иностранных дел Советского Союза и нацистской Германии, Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп, недавно подписали пакт о ненападении. Сразу после ратификации договора были запрещены к показу произведения антигерманской направленности. В опере «Семен Котко», как и в пропагандистском фильме «Александр Невский», были показаны добросердечные, любящие народные песни славяне, воюющие против неотесанных, жестоких немцев. В 1938 году подобные сюжеты считались подходящими для советских зрителей, но в 1939 году, после подписания договора о ненападении, произведения такого рода оказались под запретом.

Молотов лично посоветовал Сергею внести коррективы в либретто оперы, предупреждение повторил один из заместителей министра в Народном комиссариате иностранных дел. По сюжету украинский свиновод Семен Котко поднимал сельскую бедноту на борьбу против нацистов. Наградой герою были женитьба на любимой девушке и приглашение на первомайскую демонстрацию на Красной площади. В новом же варианте герой оперы вступал в борьбу с безобидными австрийцами. Затем враги превратились в антисоветских украинских националистов, и немецкая маршевая музыка неожиданно оказалась совершенно неуместной[375].

Большинство исправлений было внесено после того, как была закончена работа над оперой. Сергей быстро сочинил музыку – всего за четыре с половиной месяца, – поскольку над знаменитым режиссером, с которым он работал, Всеволодом Мейерхольдом, сгустились тучи. Сергей, как мог, старался спасти коллегу, но все его усилия оказались тщетны. Мейерхольд исчез летом 1939 года, сразу после приезда в Ленинград для подготовки парада физкультурников, призванного продемонстрировать

выносливость и спортивную подготовку советских людей. Как раз для этого парада Сергей сочинил музыку, которую запретили сразу же после ареста Мейерхольда. Выдающегося режиссера, гордость культурной революции 1920-х, били на протяжении многих месяцев резиновым жгутом по ногам и спине. Дошло до того, что он был не в состоянии стоять[376]. Мейерхольд не выдержал и подписал признание в измене, но спустя какое-то время отказался от признаний, сделанных под пытками. Теперь мы знаем, что 1 февраля 1940 года состоялось закрытое заседание Военной коллегии Верховного суда СССР, и, хотя Мейерхольд виновным себя не признал, суд приговорил его к расстрелу; 2 февраля приговор был приведен в исполнение. Сергей так никогда и не узнал, какая судьба его постигла.

У Прокофьева не было иного выхода, как продолжать работу над «Семеном Котко». Он свысока относился к Серафиме Бирман, новому режиссеру, которой была поручена постановка оперы, но заставлял себя соблюдать коллегиальность при решении вопросов. Однако не успел он уладить все спорные вопросы, как из НКВД потребовали внести новые изменения. Пришлось подчиниться, но результат был неудовлетворительным. В июне 1940 года наконец состоялась премьера оперы, которая подверглась резкой критике музыкальных рецензентов при поддержке чиновников.

Сергей оказался в трудном положении, но все его проблемы носили чисто профессиональный характер. Личные и бытовые проблемы, как всегда, легли на хрупкие плечи Лины. В начале лета 1939 года, когда Сергея не было в городе, она занялась проблемой обмена их жилплощади на квартиру с бóльшим числом комнат. Кроме того, Лина хотела снять дачу в пригороде Москвы, на Николиной Горе, где проводили выходные и отпуска некоторые ведущие деятели советской культуры, включая друга Сергея, Николая Мясковского.

26 декабря 1938 года Сергей направил письмо в Комитет по жилищному строительству с просьбой предоставить ему квартиру большей площади – 80-метровую вместо 60-метровой – в новостройке, расположенной неподалеку от дома Прокофьевых, в Большом Казенном переулке. Он написал, что они с женой оба музыканты и нуждаются в большой студии. Понимая, как сложно в Москве с жильем, он тем не менее надеялся убедить власти в необходимости предоставить ему новую квартиру. Лишняя комната, доказывал он, ускорит работу над «созданием новых произведений советской музыки»[377].

И снова проблемы. В отсутствие мужа Лина сделала много телефонных звонков, встречалась с нужными людьми. Ее

раздражали не только трудности, связанные с предполагаемым переездом, но и явное нежелание Сергея осесть на одном месте. Разве они переехали в Москву не для того, чтобы создать крепкий дом? Разве не собирались отказаться от разъездов? Зажить одной дружной семьей? Лина неохотно поддержала план мужа относительно дополнительных 20 метров, которые она тоже могла использовать для занятий вокалом. Но Лина чувствовала – от нее что-то скрывают, и дело вовсе не в студии. Лина еще не знала о Мире, но чувствовала, что муж подумывает об уходе из семьи.

Предполагаемый обмен не закончился ничем, кроме огорчения. «Увы, у меня нет никаких возможностей, чтобы повлиять на исход дела», – раздраженно написала она по-английски, а затем, перейдя на русский, сообщила, что «квартирный вопрос зашел в тупик»[378]. Она отправила Сергею телеграмму с просьбой принять участие в решении проблемы, но он заявил, что не получал от нее никаких писем. Неприятности сыпались одна за другой. Испорченные отношения с руководством Всесоюзного радио в 1935 году лишили ее надежды на будущие выступления. Лина похудела, у нее пропал аппетит, и врач в этом случае оказался бессилен. Даже инструктор по теннису куда-то пропал. До болезни Лина успела позаниматься с ним всего один раз.

Летом 1939 года Сергей отправился в Кисловодск, чтобы закончить работу над оперой «Семен Котко», постановка которой была намечена в Театре имени К. С. Станиславского. Он уговаривал Лину приехать к нему, но проездные документы не были готовы к нужному времени, и, вероятно, по этой причине она подумывала о поездке в Крым. Еще можно было навестить сыновей, которые в это время находились в лагере где-то между Москвой и Ленинградом. Мальчики купались, ловили рыбу и играли в волейбол. Но Лину охватила такая апатия, что ей трудно было заставить себя сдвинуться с места.

В письме мужу, которое она начала утром 16 июля, а закончила днем, Лина жаловалась, что совсем обессилела. В это время она узнала нечто ужасное. Погибла Зинаида Райх, театральная актриса родом из Одессы, любимая жена Всеволода Мейерхольда. В ее квартиру влезли воры, которые напали на хозяйку; Райх скончалась по дороге в больницу. Они с Линой переписывались в конце 1929 – начале 1930 года и встречались в Париже и в Москве. Близкими подругами они не были, но поддерживали добрые отношения.

Лина узнала страшную новость от директора Театра имени Станиславского, когда пришла туда днем за авансом Сергея за

«Семена Котко». Лина сразу написала мужу. «Два дня назад грабители ворвались в квартиру З. Райх, сначала избили ее домработницу, а затем нанесли ей – актрисе – двенадцать ударов. Спустя полтора часа она умерла в больнице – какая трагедия!»[379] Лина не могла искренне выразить свои чувства, поскольку письма, даже те, которые передавались из рук в руки, просматривались. «У меня голова идет кругом», – призналась она и добавила, что не будет говорить об этом домработнице, «поскольку она и так напугана»[380]. Лине, возможно, не пришло в голову, что к смерти Зинаиды имеет отношение НКВД. Согласно официальной версии, ее убили воры, которые влезли в квартиру за драгоценностями. Соседи слышали крики, доносившиеся из квартиры актрисы, но никто не пришел на помощь. Ей нанесли ножевые ранения в область сердца, выкололи глаза и изуродовали лицо. Если бы она была жертвой разбойного нападения, ей бы, вероятно, устроили официальные похороны, а соседей не сослали бы на север, в трудовые лагеря.

Быстро сменив тему, Лина сообщила неутешительные новости о попытках организовать свои выступления. Георгий Крейтнер, художественный руководитель Московской филармонии, напомнила она Сергею, обещал устроить ей ангажемент – Лина планировала исполнить французские и итальянские песни. Однако для выступления требовалось членство в Рабисе (профессиональный союз работников искусств), но раньше Лина не считала нужным вступать в него, поскольку выходит на сцену «нерегулярно»[381]. Без членства в профсоюзе было невозможно установить сумму гонорара за ее выступление. Надеяться, что ее пригласят на радио, не приходилось. Директор музыкальных программ объяснил Лине, что ее выступление в 1935 году получило исключительно негативные отзывы, и, хотя предложение выступить с песнями французских и итальянских композиторов на языке оригинала, безусловно, представляет интерес, он вынужден ответить отказом. Лина обратилась к Крейтнеру, пыталась объяснить, что в 1935 году проблема была не в ее певческих данных, а в помехах, отразившихся на качестве звука. В ноябре 1937 года Лина выступала вместе с мужем, и тогда ее пение не вызвало никаких нареканий. Крейтнер сочувствовал Лине, но руководство радиокомитета сменилось, и он посоветовал «реабилитироваться» перед новым начальством, но при этом действовать осмотрительно[382].

Спустя три дня Лине из Кисловодска передали письмо от Сергея. «Какой ужас с Зинаидой!» – отреагировал он. О том, что домработница осталась жива, Прокофьеву уже было известно. «Бедный В. Э.!» – добавил он, имея в виду арест Мейерхольда[383].

Сергей потерял одного из ближайших друзей, наставника, который вдохновил его на сочинение трех опер, однако даже не написал полного имени Мейерхольда, ограничившись инициалами. Критика со стороны властей, предшествовавшая аресту режиссера, сделала его персоной нон грата среди коллег, и теперь его имя нельзя было даже упоминать. Что касается Райх, то ее страшную смерть связали с «трагической женской судьбой», намекая на таинственную смерть ее первого мужа[384]. Мейерхольд был вторым мужем Райх; ее первый муж, поэт Сергей Есенин, в 1925 году покончил жизнь самоубийством, находясь в состоянии депрессии. Он, предположительно, повесился на трубе центрального отопления, после того как написал стихотворение собственной кровью. Мейерхольд усыновил двух детей Райх и воспитал их как родных. Теперь они лишились всех троих родителей. Позже Сергей подвел итог череде событий одним словом: «дикость»[385].

Чувствуя себя брошенной и отягощенной грузом проблем, Лина искала возможности отвлечься. В начале августа она надеялась уехать в Крым, в поселок Гаспра, и, воспользовавшись связями мужа, отдохнуть в санатории под Ялтой. В этом бывшем дворце открыли дом отдыха для советских граждан, занимавших высокое положение, и Лина надеялась, что там ей удастся восстановить силы. Однако пришлось отложить отъезд до 8 августа, и Лине пришлось упрашивать, чтобы за ней сохранили бронь.

Находясь в Гаспре, она поддерживала постоянную связь с мужем, но редко получала известия от детей из Москвы, что было еще одной причиной для беспокойства. В санатории Лина общалась только с соседями по столу. Главным среди них был некий «металлург», который постоянно острил[386]. Другая отдыхающая, знакомая Лины из Киева, заметила, что Лина напрасно так сильно похудела. Теперь она весила всего 51,5 килограмма, но за время пребывания в санатории Лине удалось прибавить полкило благодаря простой и вкусной пище. В отличие от Кисловодска сахара здесь хватало на всех. Сергей, который был сладкоежкой, посоветовал жене взять с собой сахару из дома. Однако она никак не могла прийти в норму. Все выводило Лину из себя. Ей дали хорошую комнату с видом на прибрежные скалы, и Лина могла плавать в море, когда хватало сил. Однако погода была неважная, не по сезону ветреная и дождливая. Болтовня отдыхающих раздражала ее больше, чем комариный писк, а на танцы, устроенные в один из вечеров, пришли всего две пары, так что на другие мероприятия такого рода можно было не надеяться.

Фильм «Александр Невский», который шел по всему Советскому Союзу, был показан и в санатории, но из-за низкого качества звука музыку было почти не слышно.

Лина спрашивала мужа, как идет работа в Кисловодске, и выражала искреннюю надежду, что красивая природа вдохновляет его на творчество. Она полагала, что у него нет времени на отдых; он шутливо писал, что его пригласили судить конкурс бальных танцев, устроенный в центральном корпусе санатория[387]. Эта обязанность и вечера в жаркой бане были его главными развлечениями. Знаменитые минеральные воды, одна из главных достопримечательностей Кисловодска, не лучшим образом сказались на его пищеварении, и он на горьком опыте узнал, что бактериям требуется десять дней, чтобы погибнуть. Многие, как и он, заболели после посещения Нарзанной галереи. Сергей мог бы заранее предвидеть, что жидкость, пузырящаяся в фонтанчиках в зале с мраморным полом и канделябрами, станет причиной кишечного расстройства. У нее был какой-то тухлый запах, заметил он. Тем не менее грубоватый санаторный врач заверил его, что Прокофьев «еще долго протянет»[388].

Сергей ничего не говорил о Мире, но Лина не могла не спросить: твоя поклонница, маленькая «поэтесса», опять приехала в Кисловодск с родителями?[389] Он ничего не ответил. Лина и не подозревала, насколько стремительно развивался роман.

Мира действительно приехала. Более того, получить путевку ей помогал Сергей – в первый раз он изменял жене настолько открыто. В июле Сергей отправил Мире шутливое письмо, прося ее «оставить дом и очаг» и приехать в Кисловодск на «10 дней» раньше родителей[390]. Он убедил ее заказать билет на поезд и посоветовал взять номер в «Гранд-отеле». Там все переполнено – «страшный базар», – как выразился Сергей и посоветовал Мире произвести хорошее впечатление на директрису, чтобы получить приличный номер[391]. Однако план сорвался; она приехала в Кисловодск вместе с родителями.

Мира тоже интересовалась, как Сергей проводит время. Его сентиментальный ответ сильно отличался от письма, которое получила Лина. Сергей написал Мире, что вспоминал, как они вместе проводили время, и с нетерпением ждет новой встречи, однако это не мешает ему работать целыми днями. С утра до шести вечера он не вставал из-за стола, прерываясь только на «баню, обед и примерно на сто шагов по комнате»[392]. Почти каждый день он позволял себе двухчасовой отдых, с шести до восьми вечера, во время которого играл в теннис или в шахматы с коллегами из соседнего санатория имени 10-летия Октября. Нисколько не стесняясь своего семейного статуса, Прокофьев

писал, что присутствие Миры позволит ему отвлечься от праведных трудов, пусть даже она приедет вместе с родителями. «Еще ни разу не танцевал, – шутил Прокофьев. – И виновата в этом ты». Он закончил письмо в несвойственном ему романтическом стиле. «Даже небеса сегодня плакали от горя, что тебя нет рядом. Доброго пути!»[393]

Мира с таким же нетерпением ждала следующей встречи: «Каждый день приближает меня к солнечному Кисловодску. Только бы время бежало быстрее!»[394] Но при этом Мира рассуждала об их огромной разнице в возрасте. В то время как единственными трудностями в ее жизни были сессия и чтение книг на иностранных языках, он трудился над государственными заказами в непростой обстановке.

Переписка с Мирой была веселой, озорной и нежной, Лина же делилась с мужем мрачными новостями и беспокоилась, как зловещие события отразятся на их жизни. Привычка Сергея отделываться общими фразами тревожила Лину, как никогда прежде. Казалось, связь между ними становится все более непрочной. С женой Сергей избегал искренних проявлений чувств – касалось ли это ее или общих знакомых. Из Кисловодска он прислал только одно серьезное письмо, в котором перечислил события последнего времени: внезапное исчезновение Мейерхольда, убийство Райх, реабилитация композитора Левона Атовмяна после необъяснимого ареста и приговор, вынесенный одному знакомому писателю, – тот получил шесть лет тюремного заключения за то, что якобы изнасиловал 12-летнюю девочку.

Сергей также писал о Гитлере и о войне, которая пока что гремела где-то далеко, в Европе. Однако при этом он сохранял тон равнодушного обозревателя, просто перечисляющего происходящие события. Он отметил мобилизацию в Великобритании, выразив удивление, что «британский лев не уследил за собственным хвостом», упомянул о вторжении нацистов в Польшу и разрушении городов, в которых когда-то побывал[395]. Мимоходом поинтересовавшись состоянием Лины, он справился о ее матери. Ольга все еще отдыхает на даче в пригороде Парижа? Далее Сергей вернулся к собственным делам и проблемам. Какой настрой во французской столице и будет ли мобилизован его французский представитель? Работает ли еще его издатель? Что с рукописью его концерта для виолончели?

Далее Сергей просто повторял то, что прочел в «Правде», не высказывая при этом собственного мнения. Вслед за журналистами он выражал надежду, что Италия не вступит в военные действия. Кроме того, он высказывал «уверенность», что «англичане уже сидят у ворот Рима с мешками золота»[396]. Вряд

ли Сергей искренне верил всем этим прогнозам – скорее всего, он просто решил дистанцироваться от проблем.

Наконец, в постскриптуме к новостям дня, Сергей затронул очень серьезный вопрос. Он упомянул о новом советском законе, по которому Святослава призовут в армию уже через два года, в 17 лет. В Красной армии сын будет служить два года, в офицерском корпусе – три.

В сентябре Сергей вернулся в Москву раньше Лины; их переписка ограничивалась односложными телеграммами, в которых не было ничего, кроме времени прибытия поездов. Скоро стало ясно, что Сергей собирается продолжать отношения с Мирой. Поиск нового либретто стал поводом для встреч. Сергей, чтобы забыть о неприятностях, связанных с «Семеном Котко», под влиянием порыва решил сочинить другую оперу – юмористическую, безобидную и не связанную с политикой. Мира поддержала Прокофьева, предложив себя в качестве соавтора либретто.

Сергей всегда гордился, что пишет либретто своих опер сам, поэтому Лина была удивлена, когда он решил взять в соавторы ту, с которой случайно познакомился в Кисловодске. Мира предложила адаптировать «Дуэнью», написанную в XVIII веке пьесу Ричарда Бринсли Шеридана, и Сергей сразу согласился. Веселая история о любовных перипетиях подходила идеально. «Да ведь это – шампанское, из этого может выйти опера в стиле Моцарта, Россини!» – воскликнул он. Однако Лина сразу поняла, в чем дело, особенно когда прочла бездарные стихи Миры. Чем дальше продвигалась работа над оперой, тем чаще Мира звонила Сергею домой. Лина всякий раз отвечала, что мужа нет дома, и тогда Мира стала оставлять для него письма в почтовом ящике. Сергей отвечал, притворяясь, будто ничего особенного не происходит. «Она всего лишь девушка безобидная, которая хочет показать мне свои плохие стихи», – объяснял он Лине[397]. Когда поведение Миры угрожало выйти за рамки приличий, он, притворяясь расстроенным, неискренне просил, чтобы Лина помогла «избавиться от нее»[398].

Лина, не обсуждая впрямую его отношения с Мирой, позволила себе резкое замечание. «Что ж, действуй, встречайся с ней, – язвительно произнесла она. – Я не буду возражать; но это не значит, что ты должен жить с ней!»[399] Роман стал достоянием общественности, темой для сплетен. Лина чувствовала себя униженной и понимала, что не в состоянии контролировать собственную жизнь. В 1982 году в интервью Харви Саксу она сказала, что узнала о подробностях через знакомых. «Я рассказываю это не потому, что хочу причинить тебе боль, а

чтобы ты успела что-то предпринять, пока не поздно», – сказала одна женщина. Лина печально ответила: «Я не знаю, что мне делать, – я же не могу избить ее или запретить ему встречаться с ней»[400]. Поняв, какими последствиями угрожает уход Сергея, Лина впала в депрессию.

Между тем ситуация усугублялась. Зима 1939/40 года была лютой, в январе в Москве была достигнута рекордно низкая температура – минус 42,2 градуса по Цельсию. Сергей Прокофьев не остался в стороне от масштабного празднования 60-летия Сталина, внеся, как и его коллеги, свою дань. Он не мог отказаться и за ничтожную плату сочинил великолепную тринадцатиминутную кантату «Здравица». 21 декабря 1939 года, в день зимнего солнцестояния, Сталин отпраздновал свой день рождения за закрытыми дверями в обществе избранных. Тем не менее «Правда» отметила лавину поздравлений, которые мудрый вождь и учитель советского народа получил из Берлина, Рима и от пролетариев всего мира. На этот раз чиновники от культуры проявили снисходительность, и «Здравица» благополучно прошла цензуру. Журналисты, освещавшие юбилейные празднества, упомянули кантату мимоходом, но отозвались о ней положительно. Прокофьевская «Здравица» звучала из всех громкоговорителей, установленных на улицах Москвы. Олег вспоминал, как испытал невероятное одиночество на «опустевшей Чкаловской… зима, ветер гонит снег по черному асфальту, и хор выводит эти странные гармонии. Я привык к ним, и они успокоили меня. Я вбежал домой и крикнул: «Папа! Тебя играют на улице!»[401] Но отец не ответил.

Лина могла найти только два объяснения угрюмой молчаливости мужа, создававшей в квартире мрачную атмосферу начиная с зимы. Обе причины не внушали оптимизма. Курортный роман с Мирой определенно перерос в нечто более серьезное. Если верить слухам, Мира хотела изменить свою серую жизнь, заполучив в мужья знаменитого композитора. Обязательства Прокофьева перед женой-иностранкой и детьми ничуть не смущали эту особу. Но, правдивы сплетни или нет, несомненным было одно – Лина понимала, что вся семья находится под наблюдением. Лина думала, что родители Миры против ее романа с Прокофьевым. Однако в обществе, в котором легко вмешивались в личные дела знаменитых людей, никто не положил конец этим отношениям. У Лины не было союзников.

В 1940 году в дождливый летний вечер Лина увидела Миру на концерте. Возможно, это было 23 июня, на премьере оперы «Семен Котко». Мира сидела вместе с отцом в том же ряду, что и

Лина. Сергей тоже был там и сидел рядом с Линой, но не на соседнем кресле. В результате на них оглядывались все собравшиеся. Мира старалась не пропускать ни концертов, ни театральных постановок и явно попросила Сергея достать для нее билеты. Лина искоса поглядывала на любовницу мужа, «маленькую девочку с папой», но Мира сидела не поднимая головы[402]. В антракте Лина резко потребовала у Сергея представить ее Мире, но он растерялся и повел себя странно, заявив, что они уже встречались. Однако после спектакля все ждали личных шоферов, и Сергею пришлось нехотя познакомить жену с любовницей. Отец Миры куда-то исчез – возможно, боялся скандала. Между тем дождь усилился. Лина попыталась вести себя уверенно и сохранить лицо; она испытывала одновременно страх, гнев и раздражение. Возможно, чтобы поставить мужа в неловкое положение, она предложила подвезти Миру до дома. «Она живет совсем рядом с театром, а у нас есть машина. Почему бы и нет?» Но Сергей не согласился[403].

После спектакля Лина хотела устроить мужу праздничный вечер с шампанским, водкой, икрой и изысканными закусками. Но он не хотел никаких вечеринок, не желал принимать гостей и выслушивать хвалебные речи. «Вероятно, до некоторых уже дошли слухи, и он думал, что я делаю это для того, чтобы доказать, что у нас все благополучно, – вспоминала Лина. – Но я не хотела никому ничего доказывать»[404]. Это был грустный вечер, в течение которого Сергей, казалось, был полон решимости начать ссору.

Лина упорно переводила разговор на Миру, чтобы муж почувствовал неловкость. Зная, что они договорились о совместной работе над либретто, Лина предложила пригласить Миру к ним домой. Она подаст чай, сказала Лина, и незаметно уйдет, а они будут спокойно работать. Сергей был взбешен. Как она может предлагать такое? Реакция разгневанного мужа подтвердила все подозрения Лины. Она поняла, какую незначительную роль играет в его жизни. Некогда прекрасная муза превратилась теперь в бывшую певицу и нелюбимую жену. Лина чувствовала себя безропотной жертвой обстоятельств.

Сергей начал без объяснений уходить из дома, и Лина терпеливо дожидалась его возвращения. Чувствуя свою вину, но не испытывая раскаяния, он стал вести себя несколько иначе и начал оказывать жене небольшие знаки внимания, будто надеясь с их помощью заслужить прощение. Как-то принес коробку с десятью грейпфрутами – в то время этот фрукт в Москве считался редким деликатесом. Лина пыталась больше узнать об

отношениях мужа с Мирой. Расспросила шофера, Федора Михайлова, пользовался ли Сергей автомобилем для встреч с Мирой. Михайлов, казалось, пришел в недоумение и заверил Лину, что «он никогда не ездил в машине с кем-нибудь, кроме вас»[405]. Лина подумывала о том, чтобы проследить за мужем или за Мирой, но вскоре необходимость в таких ухищрениях отпала. До Лины постепенно дошли все подробности их романа.

Муж понял, что она раздавлена горем. Его поведение, по мнению Лины, было ребяческим, поскольку, с одной стороны, он не мог выносить ее страданий, но, с другой стороны, попросту их игнорировал, ничего не предпринимая. Мясковский принял сторону Сергея, напомнив, что в подобных ситуациях всегда есть пострадавшие – хотя сам мало понимал в таких делах, поскольку никогда не был женат, жил с сестрой и все жизненные проблемы решал с помощью коньяка. В результате для Лины Мясковский стал предателем – как и кузены Сергея. Вместо того чтобы встать на защиту законной жены, они предпочли остаться в стороне, ожидая, какая из женщин одержит победу в этом омерзительном конфликте.

Сергей колебался. Он пытался отгородиться от неприятных соображений, но не мог не понимать, какими серьезными последствиями грозит его уход из семьи. Разрешить ситуацию безболезненно не удастся. Мира забеспокоилась; она напомнила Сергею о его собственных словах – они с Линой давно живут как чужие люди, а жена вечно недовольна и мужем и собой. Сергей нервничал, никак не мог сделать выбор, и наконец совесть одержала верх – он решил помириться с женой. Идиллия, продолжавшаяся десять дней, была прервана из-за эгоистичного поведения Миры, которая стала в завуалированной форме угрожать, что покончит жизнь самоубийством. Лина понимала, что это всего лишь шантаж, но Сергей поверил в угрозы и даже использовал их в качестве предлога для окончательного ухода из семьи. «От этого зависит жизнь другого человека», – сказал он Святославу. «А как же мамина жизнь?» – спросил в ответ Святослав[406].

15 марта 1941 года, спустя почти три года после первой встречи Прокофьева с Мирой, он вышел из дверей квартиры с небольшим чемоданчиком. Сергей и Мира договорились встретиться в Ленинграде, где остановились на несколько дней у его друга детства, чтобы решить, как быть дальше. В течение нескольких месяцев они жили с родителями Миры, с которыми у Сергея установились ровные отношения, а летом некоторое время отдыхали на даче Мендельсонов. Серей считал, что сделал

достаточно для своей жены, вызвав ей врача, который позаботится о ней.

Перед окончательным уходом Сергея из семьи они с Линой обменялись последними просьбами: она хотела помириться, он – расстаться окончательно и бесповоротно. В июне 1940 года супруги общались в основном по переписке, хотя и жили под одной крышей. На лето Сергей снял для семьи дачу на Николиной Горе, но, по словам Святослава, проводил там мало времени. Лина оставила для Сергея длинное письмо, в котором ссылалась и на принципы Христианской науки, и на тексты Толстого. Сверху она положила записку: «Пожалуйста, прочти до конца, не откладывай в сторону»[407]. Удивительно, но она не столько сердилась на мужа, сколько жалела его, однако написала, что не заслужила тех мучений, которые вынесла за «последние восемь месяцев, в частности за последние пять»[408]. По ее мнению, Сергей ожесточился и стал более замкнутым. Он слонялся по квартире в халате и в течение последних восьми месяцев сидел в своей комнате, не общаясь с женой и детьми. Добровольный разрыв с семьей равносилен «духовному самоубийству»[409].

Как и в исполненных нежности письмах, которые писала ему в молодости, Лина использует и благоразумный русский, и эмоциональный французский, и прагматичный английский. Она говорит о разочаровании и предательстве. Сергей стал холодным, даже враждебным, хотя она всегда думала, что он будет ее лучшим другом. Лина призналась, что находится на грани отчаяния, лишилась душевных сил и выглядит развалиной. Хотя она оскорблена в лучших чувствах и пережила жестокое разочарование, больше всего она волнуется за детей. Святослав все понимает, и Лина не представляла, как он будет жить без поддержки отца. Вот-вот должна была прийти повестка в армию. Лина боялась, что уход отца оставит неизгладимый след в душе Олега. И ее волнует будущее сыновей. Почему он не позволил ей уехать с детьми к матери и друзьям во Францию? «Даже если там сейчас трудно, – написала она, имея в виду оккупацию, – это все же лучше, чем жить в невыносимых условиях, которые ты мне создал»[410]. Без него в Москве она станет беззащитной.

В ответ он обвинил ее в том, что она манипулировала им самым унизительным образом, что с помощью «махинаций» пыталась все эти годы сохранить их неблагополучный брак[411]. У них давно были проблемы, они слишком разные люди, чтобы жить вместе, заявил он. Лина была потрясена его обвинениями и задала простой вопрос: «Может, ты думаешь, что я приехала сюда с детьми, чтобы сохранить гордость?»[412] Под гордостью Лина

понимала чувство собственного достоинства. Она не придавала значения его прошлым увлечениям, простила былые ссоры и сохранила твердость духа, в то время как его подкосили профессиональные неудачи – самым ярким примером служила опера «Семен Котко». И если он давно планировал и заранее обдумал свой уход, то почему же он не предупредил ее заранее, пока не поздно?

Однако, несмотря на то что он так безжалостно отверг ее, Лина боролась за мужа, пыталась помочь ему – притом не ради личных интересов. Она понимала, что, идеализируя Миру, Сергей заблуждается; он не догадывался о мотивах амбициозной молодой женщины, поймавшей его в свои сети в Кисловодске. Попав под влияние Миры и поверив, что встретил романтическую любовь, будто в романе XVIII века, Сергей выставил себя на посмешище в глазах друзей и коллег. Сергей должен был понять, что впал в заблуждение, ему необходимо взглянуть на ситуацию трезвым взглядом. Лина пыталась открыть мужу правду, по крайней мере как она ее понимала. Она хотела спасти Сергея, помочь ему стать прежним, каким он был до переезда в Советский Союз. Помочь снова стать собой.

Разумеется, Лина не могла не испытывать предубеждения по отношению к Мире, но ради Сергея она должна была объяснить вероятные мотивы молодой женщины и высказать сомнения в том, что это действительно настоящая любовь. «Вспомни, что ты написал мне, когда впервые встретил ее: не ты выбрал их – Миру и тех, кто, по-видимому, руководил ею, – это они «выбрали» тебя. И на летнем курорте было то же самое. Ты – не какая-то песчинка на берегу, ты Сергей Сергеевич Прокофьев, ведущий композитор, известная личность, семейный человек, и ты вдвое старше ее. К тому же ты отдыхал вовсе не инкогнито. Ты можешь рассуждать о любви с первого взгляда, но кто тебе поверит? В Кисловодске было достаточно свидетелей того, что она ходила за тобой повсюду»[413]. Когда-то давно Сергей обвинил Лину в желании выйти замуж за известного композитора, чтобы «покрасоваться»; однако за годы брака Лина доказала, что это неправда – она никогда не гналась за славой и всеобщим вниманием. Но Мира совсем другой человек – и более чувствительная, и более расчетливая одновременно.

Лина напомнила Сергею расхожую советскую фразу: «Никогда не езди отдыхать на юг в одиночку» – опрометчивое поведение может иметь серьезные последствия, а потому лучше ехать с другом, который будет присматривать за тобой[414]. Лина пыталась выступить в роли этого самого друга, но у нее больше не осталось сил бороться. Перефразируя идеи Христианской

науки, она закончила четырехстраничное послание фразой на английском о том, что ее муж попал под «деспотизм» Мириного «гипноза», а любой самообман бесплоден и ни к чему не ведет[415]. Лина не может заставить Сергея изменить жизнь, задуматься о недостатках своего собственного характера и научиться отвечать за них вместо того, чтобы винить окружающих. Лина не сумела спасти ни Сергея, ни их брак.

Сергей видел, что жена страдает, – да и как он мог этого не заметить? – но утверждал, что она не понимает всей глубины его чувств к Мире. «Только сейчас, – заявил он с неоправданной жестокостью, – я понял, насколько пуста была моя жизнь последние нескольких лет – не считая, конечно, работы»[416]. Сергей утверждал, что у них с Линой тоже были хорошие времена, однако он их уже не помнит. Желая оправдать свой уход, Сергей обвинил Лину в том же, в чем она обвиняла его, – во враждебности, холодности, равнодушии. Они отдалились друг от друга, заявил Сергей. Когда Лина, делая над собой усилие, целует его, он чувствует себя неверным супругом, изменившим человеку, который искренно любит его, – Мире. Он скрывал свои чувства к другой женщине, потому что боялся насмешек – ведь он намного старше Миры и гораздо выше ее по статусу. В течение двух лет Сергей обдумывал сложную ситуацию, и теперь пришло время принять решение. Мира не может всегда оставаться в тени. Он сделал свой выбор.

Вот и все, что написал Сергей, – всего триста слов в ответ на Линины пятнадцать тысяч. Сергей считал, что Святослав забудет его через год-два, а у младшего, которому всего десять, эти события вообще выветрятся из памяти. Он ошибся – Олегу было в то время одиннадцать, и он будет помнить об этом всю жизнь. Заблуждался Сергей и относительно чувств Лины, безосновательно обвиняя жену в равнодушии – она всегда была беззаветно предана ему. Сергей оказался прав только в одном: его связь с Линой было невозможно разорвать. Она останется навсегда, предсказал Сергей, «а иначе и быть не может»[417].

22 июня 1941 года Гитлер осуществил свое давно запланированное вторжение в Советский Союз. Сталина обманули, и Вячеславу Молотову, подписавшему договор с Германией, было поручено выступить по радио и объявить советскому народу о нападении без объявления войны. Началась беспорядочная эвакуация высокопоставленных чиновников и других государственных служащих – в том числе известных деятелей культуры – на юго-восток. На московских вокзалах царил хаос, мужья и любовницы ехали в одном направлении,

жены и дети – в другом.

Сергей тоже уезжал в эвакуацию, вернуться ему предстояло только через два года. В 1943 году, приехав в Москву вместе с Мирой, он выглядел подавленным и несчастным. Пара, жившая в гражданском браке, поселилась в гостинице в центре города – «стыд», по мнению Лины, – и Сергей погрузился в работу над патриотической оперой «Война и мир» по роману Льва Толстого[418]. Ему почти нечего было сказать жене, а еще меньше сыновьям, которые, по совету матери, не требовали и не ожидали от отца объяснений. Во время войны Святослав и Олег оставались с Линой в московской квартире, заботясь о матери так же, как она заботилась о них.

Глава 10

Святослав не служил в Красной армии; сначала он был освобожден из-за плохого зрения, а позже из-за туберкулеза. В его военном билете было написано, что он не годен к военной службе[419]. Несмотря на это, Святослав принимал участие в обороне Москвы в период с осени 1941 года до весны 1942 года. Святослав, как и тысячи москвичей, дежурил на крышах домов во время ночных воздушных налетов. Сотни зажигательных бомб дождем сыпались с неба, вспыхивая и загораясь от удара. Они, конечно, сильно уступали по мощности пятисот– и тысячефунтовым бомбам, имевшимся в арсенале люфтваффе, однако могли вызвать серьезный пожар. От них загорались крыши и чердаки домов. Жильцы в асбестовых рукавицах хватали зажигательные бомбы и сбрасывали их с крыш на мостовую, где их тушили при помощи песка и воды. Сохранился репортаж тех лет, в котором женщины в защитных масках бросают пылающие «зажигалки» в ведра. Лина всего один раз была на крыше во время налета, но не успела подняться наверх, как прозвучал сигнал тревоги, призывающий всех идти в укрытие. На всю жизнь она запомнила зарево пожаров, орудия на крышах, прожектора, освещающие небо над четырехмиллионным городом, и опустевший, затихший центр. Рассказывая о войне, Лина часто вспоминала эту гнетущую тишину.

Когда в июле 1941 года начались массированные бомбардировки Москвы, Лина с сыновьями нашли убежище на ближайшей к их дому станции метро «Курская». В первом, самом страшном массированном налете, участвовало двести немецких бомбардировщиков, которые в течение пяти часов бомбили город, сбрасывая снаряды каждые полчаса. Репродукторы, висевшие на столбах и стенах домов, передавали приказ спускаться в убежище – те же самые репродукторы, которые играли прокофьевскую «Здравицу» Сталину в декабре 1939 года. Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан скорбным размеренным голосом зачитывал сводки Информбюро и приказы Верховного главнокомандующего. Даже сообщая об успехах Советской армии, Левитан сохранял торжественную мрачность. В промежуток между 23:00 и полуночью тысячи людей, главным образом женщины и дети, с теплой одеждой и постельными принадлежностями спускались по длинным эскалаторам на станции метрополитена. Люди спали на скамейках вдоль стен, на полу, на деревянных настилах, установленных на рельсах, – движение поездов было прекращено. Медицинские сестры в форме Красного Креста патрулировали

зал, раздавая бинты, воду и витамины. Взрослые играли в настольные игры, а дети бегали по туннелям между станциями. Бомбоубежища стали вторым домом; на одной станции продавали молоко, на другой устроили временную библиотеку.

Оставшись без мужа, Лина делала все, чтобы защитить себя и детей. Она создала целую сеть взаимопомощи, состоящую из друзей, знакомых – добрых и не очень, – а также сердобольных соседей и иностранцев, с которыми Лина познакомилась в посольствах. Лина выказала не больше, но и не меньше героизма, чем другие москвички, однако она не регистрировалась, чтобы получить медаль, которую вручали тем, кто пережил войну в столице. Медалью «За оборону Москвы» наградили более миллиона военнослужащих и гражданских лиц, принимавших участие в защите города. Благородство Лины проявлялось не только в больших, но и в малых, повседневных делах. Узнав, что у соседа бывают приступы головокружения, из-за которых он не может выходить из квартиры, Лина предложила ему обучать на дому Олега и вызвалась заменить его на трудовом фронте. Она работала вместе с сотнями москвичей на строительстве оборонительных рубежей вокруг города и в самом городе.

В первую военную осень бригада, в которой работала Лина, рыла противотанковые рвы и окопы, устанавливала проволочные заграждения и надолбы. Осенняя распутица замедлила темп наступления германской армии, намеревавшейся захватить город в «клещи», но Гитлер рассчитывал, что к середине ноября наступят холода, земля промерзнет и к концу года удастся взять Москву и закончить войну. Десятки тысяч мужчин и женщин из армий Резервного фронта разбивали ломами, топорами и лопатами промерзшую землю, чтобы остановить наступление Гитлера на город, и тысячи же устанавливали на дорогах, ведущих в город, ряды металлических ежей. Перестраивались на военный лад промышленные предприятия, даже такие сугубо мирные, как кондитерские фабрики и молочные заводы. Многие предприятия эвакуировались на юго-восток. 2-й Московский часовой завод был эвакуирован в город Чистополь и работал на нужды фронта, делал мины и детонаторы[420]. Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» осталась в Москве; производство было переориентировано на выпуск военной продукции – производились концентраты каш, специальный шоколад «Кола» и «Гвардейский» для летчиков и подводников, чтобы те сохраняли бодрость и бдительность. Советские войска несли большие потери, но войска вермахта были слишком растянуты, и поставок не хватало. В результате наступление переросло в четырехмесячную войну на истощение.

Лина вспоминала, как Святослав просил, чтобы ее освободили от работ по сооружению оборонительных укреплений по состоянию здоровья. Ей предложили поехать в один из колхозов, расположенных в Подмосковье, чтобы работать на скотном дворе, но она отказалась. Сергей посоветовал ей эвакуироваться с детьми в колхоз, но в этом случае она теряла квартиру на Чкаловской улице. Отчасти из чувства вины, отчасти потому, что искренне тревожился за нее и детей, Сергей предложил договориться об эвакуации специальным поездом на Кавказ, где они с Мирой пережидали войну. В июле 1941 года, когда начались массированные налеты, Лина в какой-то момент решила принять это унизительное предложение. Как-то ночью, напуганная бомбардировками и измученная бессонницей, она начала судорожно складывать в коробку те вещи, которые особенно хотела сохранить. Но у нее не было сил, чтобы вытащить и спрятать коробку в надежном месте, как, впрочем, не было и надежного места.

Лина пыталась понять, как развиваются события на фронтах. Она внимательно слушала сводки по радио, так как газеты в это время не выходили. Лина повесила на стену карту и отмечала флажками положение советских и немецких вооруженных сил на Восточном фронте. Иногда радио замолкало – или трансляция прерывалась, или раздавался звук метронома и сообщали об очередном налете. Ни Лина, ни ее соседи не могли предсказать, как будут развиваться события, и не знали, насколько близко немцы подошли к Москве. Но даже после того, как в декабре 1941 года советским войскам удалось отбросить немцев от Москвы, воздушные налеты продолжались.

Москвичам было почти ничего не известно о положении их города, но еще меньше они знали о ситуации на других фронтах. Информацию о печально известной 872-дневной Ленинградской блокаде, Курской и Сталинградской битвах Лина получила из неофициальных источников. Сообщения были «ужасные, ужасные – волосы вставали дыбом», вспоминала она. Массовый голод; людоедство; на фронт отправляли людей, вооруженных одними вилами; солдаты от холода превращались в ледяные статуи[421]. От страха некоторые соседи потеряли способность здраво рассуждать и ополчились на Лину. Пошли разговоры о ее знании немецкого языка, а некоторые поговаривали, что Лина – шпионка, задача которой – подготовиться к прибытию немецких войск.

Сначала она обратилась за помощью к старым друзьям, с большинством из которых познакомилась через Сергея. Американская коммунистка Дженни Марлинг со свойственным ей оптимизмом попыталась убедить Лину, что на самом деле ей

повезло. Большинство людей живет в маленьких комнатах, в коммунальных квартирах, с трудом сводя концы с концами, сказала Дженни, а у Лины большая квартира, в которой могли бы жить несколько семей, и у нее есть ценные вещи, которые можно продавать на черном рынке. Муж Дженни, Александр Афиногенов, предложил Лине работу переводчика в Совинформбюро и даже обещал вывезти ее из Советского Союза. Трудно было не заметить иронии – ведь десятью годами раньше именно они с женой сделали все, чтобы Прокофьевы приехали в Москву.

Афиногенов рассказал Лине, что по распоряжению Центрального комитета должен отправиться в Англию и Соединенные Штаты, чтобы способствовать усилению просоветских настроений. Дженни не могла сопровождать мужа, поскольку была беременна их второй дочерью. Афиногенов предложил Лине поехать с ним в качестве переводчика, а потом просто остаться на Западе. Чиновники, с которыми Афиногенову было необходимо проконсультироваться и у которых он получал дорожные документы и паспорт, остались в столице, хотя большая часть советского правительства была эвакуирована в Куйбышев. Центральный комитет располагался в центре Москвы, недалеко от Кремля, в доме номер 4 на Старой площади, и явно служил целью для немецких бомбардировщиков. 29 октября 1941 года Афиногенов пришел в Центральный комитет за проездными документами. Чиновник, к которому он должен был обратиться, буквально за несколько минут до его прихода вышел в туалет. Послышался звук приближающегося немецкого бомбардировщика. Он сбросил 1000-фунтовую бомбу, упавшую во внутреннем дворе здания. Раздался оглушительный взрыв. Афиногенов погиб на месте, раненный в грудь шрапнелью. Ему было всего 37 лет. Чиновник, вышедший в туалет, остался жив.

Лина лишилась возможности покинуть Советский Союз. Известие о бомбежке вызвало у нее истерику.

Советское информационное бюро (Совинформбюро, СИБ), в котором Лина работала во время войны, было создано при Совете народных комиссаров и ЦК; в это время авторский коллектив состоял примерно из восьмидесяти человек. Сов-информбюро вело пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и за рубежом через 1171 газету, 523 журнала и 18 радиостанций в 23 странах мира; информировало о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла, о необыкновенных подвигах советских солдат. Англоговорящие читатели буквально проглатывали захватывающие истории о

чудесных избавлениях. Например, о юной советской медсестре, которая спаслась от страшной судьбы узницы концлагеря благодаря тому, что красиво пела. Рассказывало Совинформбюро и о солдате, которого от верной гибели спасли… сапоги. По блиндажу, где он находился, проехал танк, и солдата погребло под землей. Однако другие заметили торчащие снаружи сапоги и в последний момент вытащили товарища. В госпитале ему передали эти сапоги вместе с запиской, описывающей невероятное спасение. В следующий раз солдат надел их только в День победы.

В Совинформбюро Лина работала переводчицей с английского и французского языков. По словам Святослава, в первые годы войны она выполняла какую-то секретарскую работу; сама же Лина утверждала, что занималась переводами в 1944–1945 годах. Однако, судя по письму, написанному весной 1942 года, она приступила к работе в начале 1942 года, если не раньше. Лина брала тексты и бумагу, на которой необходимо было выполнить задание, в приемной на улице Станиславского, 10. До войны в этом доме размещалось посольство Германии. Дома у Лины было две пишущие машинки с английской клавиатурой, Smith Corona и Underwood («ундервуд»), но она сдавала переводы в рукописном виде. Владение такими машинками было противозаконно.

Несмотря на то что Афиногенов поручился за благонадежность Лины, ее арест в 1948 году частично был связан с этой работой. Лину обвинили в краже секретного документа и в качестве доказательства предъявили его фотографию. Лина отрицала обвинение в краже, но вспомнила, что на обратной стороне одного из листов бумаги, которые она использовала для перевода, было напечатано несколько фраз. Это воспоминание оказалось роковым.

Большую часть времени Лина проводила дома, боясь, что в ее отсутствие в квартиру проникнут воры. Грабежи случались все чаще и чаще; жильцы по очереди дежурили у входа в подъезд. Президиум Верховного Совета издал указ, согласно которому военным властям предоставлялось право «производить изъятие транспортных средств и иного необходимого для нужд обороны имущества как у государственных, общественных и кооперативных предприятий и организаций, так и у отдельных граждан». Для Лины стало неожиданностью, что автомобиль Сергея, голубой «форд», привезенный в 1937 году, необходим на фронте. В ноябре 1941 года к ней пришли солдаты во главе с лейтенантом, который потребовал документы на машину, зарегистрированную в Куйбышеве, и Линины водительские права.

Понимая, к чему идет дело, Лина попросила шофера Федора Михайлова снять с машины колеса, карбюратор и систему зажигания. Разумеется, без всего этого автомобиль был совершенно бесполезен. Однако 9 ноября, когда Лины не было дома, лейтенант опять пришел и попытался уговорить Святослава с Олегом отдать недостающие запчасти. Мальчики отказались. Когда Лина вернулась домой, лейтенант опять пришел с тем же требованием. Лина потребовала предъявить официальный приказ из Куйбышева.

В 21:00, почти одновременно с сигналом воздушной тревоги, во двор въехал грузовик. Из него вылезли восемь солдат и принялись грузить в кузов «форд». Лина в гневе потребовала объяснений от лейтенанта и получила в ответ «тираду нецензурной брани» и сомнительного вида рукописное «распоряжение» об изъятии машины[422]. Приказ пришел из Красногвардейска, а не из Куйбышева. Запчасти остались у Лины, но на следующий день опять пришел все тот же лейтенант, на этот раз с генерал-майором, и Лине ничего не оставалось, как подчиниться.

Разгневанная и возмущенная Лина решила не сдаваться и обратилась за объяснениями в Красногвардейск, но ей ответили, что ничего не знают ни о какой конфискации. «Требуйте объяснение у тех, кто это сделал» – прозвучал неутешительный ответ[423]. Она обратилась за помощью в Союз композиторов; вопрос дошел до военного коменданта Москвы генерал-майора Синилова. Но «форд» так и не вернули.

Под невнятным предлогом реквизировали велосипед Святослава, а рояль August Forster забрали для одного из клубов, находившихся в ведении Красной армии. Взбешенная Лина позвонила в клуб и прокричала в трубку: «Почему бы вам не забрать все и не оставить меня в квартире голой?»[424] Человек на другом конце провода попытался успокоить ее. У нее осталась официальная справка с подписью и печатью об изъятии рояля; со временем инструмент вернут. Хотя у Лины были сомнения, подкрепленные тем, что машина исчезла бесследно, однако рояль действительно вернули; он был поцарапан и расстроен, но, по крайней мере, цел. Много лет спустя Лина утверждала, что рояль не вернули, но на самом деле она перепутала этот эпизод с событиями 1948 года, когда агенты МГБ (Министерство государственной безопасности) забрали инструмент насовсем после ее ареста.

В начале войны в Москве, столице тогдашнего полицейского государства, царило полнейшее беззаконие. Дача, которую Прокофьев снял летом 1940 года для своей семьи, была

ограблена. Олег, приехавший проверить, все ли в порядке, обнаружил, что дом пуст. Кровати, матрасы, столы, утварь, даже книги – украли абсолютно все. В этом не было ничего странного – в городе царила паника и неразбериха. В воспоминаниях Лины начало войны было связано с потоками людей, бегущих из города, и тяжелым запахом гари от горящих документов.

В октябре 1941 года закрылись так называемые коммерческие магазины, в которых можно было купить продукты лучшего качества по более высокой цене. Полки в государственных и кооперативных магазинах на улице Горького опустели – исчезло все за исключением продуктов длительного срока хранения, например банок варенья из розовых лепестков, сушеных грибов и круп. В поисках продуктов Лина с мальчиками объезжала рынки; сыновья возвращались домой с гирляндами из сушек на шее, а Лина несла в сумках все, что удавалось найти. Продуктов было мало. Толпы людей собирались перед входом задолго до открытия и хватали все, что попадалось под руку. Молоко продавалось по заоблачным ценам, в десять раз выше обычной цены, а затем перепродавалось спекулянтами и жуликами. Цена на масло увеличилась в сто раз. Мясо и вовсе исчезло с прилавков – днем с огнем не найти…[425]

Дачники тщательно охраняли свои огороды и обменивали морковь, лук и картошку на одежду и предметы домашнего обихода. Некоторые из этих людей, вспоминала Лина, поразили ее своей жадностью – эти люди были готовы на все, лишь бы заполучить побольше вещей. «Они говорили: «Ваша одежда слишком заношенная» или «не очень хорошего качества», в надежде взять за мешок моркови или лука лишнюю пару обуви»[426]. Особую ценность представлял свиной шпик, или сало, любимый украинский продукт, который солдаты часто вспоминали добрым словом. Соленое сало ели в сыром виде, им заправляли суп, на нем жарили овощи и даже смазывали им зимой кожаную обувь. Домработница Лины использовала затвердевший кусок сала в качестве мыла.

Карточная система, существовавшая в СССР в тридцатых годах, во времена голода, была восстановлена. Теперь продукты питания и некоторые промышленные товары официально распределялись по государственным каналам. Товары можно было приобрести только в определенное время по специальным талонам. Лине и ее сыновьям выдали карточки разного формата в соответствии с категорией. Лина получала свои карточки по месту работы, в Совинформбюро; Святослав – в учебных заведениях, которые посещал после получения первоначального образования. Ради продовольственных карточек он поступил в

музыкальную школу; позже ездил в область валить лес и одновременно учился в Московском энергетическом институте – и все ради того, чтобы обеспечить семью продовольствием. В конце войны по совету соседа, известного архитектора Ильи Вайнштейна, Святослав поступил в Московский архитектурный институт, который окончил в 1949 году. В ноябре 1943 года Святослав заболел дизентерией и больше не мог ездить на лесозаготовки. Но не успел он поправиться, как заразился легочным туберкулезом. Святослав слег и кашлял кровью.

Лина, не имея необходимых антибиотиков и возможности госпитализировать больного сына, стала лечить его народными средствами, включая смесь лимонного сока с медом и солью, чтобы убить опасные бактерии, и растертой яичной скорлупой для повышения содержания кальция в организме. Наконец, по требованию Лины, Сергей договорился отправить Святослава в туберкулезный санаторий на Черное море, в Гагры. После санатория он прибавил в весе. Святослав рассказал матери, что для аппетита ему давали водку.

Несмотря на то что попытка немцев окружить Москву потерпела неудачу, весной 1942 года положение в городе оставалось тяжелым. Лина обменяла на продукты все, кроме самого необходимого, и была вынуждена обратиться за помощью к мужу, хотя понимала, что «причиняет ему беспокойство и нарушает его покой». В этой фразе не было ни малейшего намека на сарказм, только уважение[427].

Первое, самое подробное письмо к мужу датировано 9 мая, но Сергей получил его только 16 июня. В то время их еда состояла из жидкого супа и нескольких ложек овсянки, и Лина переживала, глядя на своих «хронически голодных» детей[428]. Большую часть времени она проводила в городе в поисках еды; в конце концов Лине пришлось сокращать и без того скудные порции – она делила кусочки сахара, которые с каждым днем становились все меньше, и давала их мальчикам. Сахар составлял значительную часть их рациона. Лина похудела на 10 килограммов – серьезная потеря веса при ее миниатюрной фигуре. Постоянный поиск средств к существованию подорвал ее силы и даже притупил волю. От отчаяния Лина готова была биться головой об стену. «Я продаю и обмениваю, кручусь и верчусь и не могу выбраться из этого замкнутого круга, – написала она Сергею. – Нельзя же отдавать хорошие вещи за бесценок. Мебель никому не нужна, а больше у меня ничего ценного не осталось»[429]. Однако это было не совсем так. Мужская одежда пользовалась спросом, но Лина заверила мужа, что не трогала его вещи. Однако пришло время, когда у нее не оставалось иного выхода, как продать некоторые из

них.

Письмо на восьми страницах было доставлено Сергею в Алма-Ату – их с Мирой перевезли туда из Тбилиси по приказу правительства. Если бы Лина отправила письмо по почте, оно подверглось бы военной цензуре, поскольку было слишком мрачным и откровенным, со всеми ужасными подробностями. Лина написала о гиперинфляции, которая съедает зарплаты. Теперь даже большие деньги ничего не стоили. Лине полагалось 400 граммов хлеба в день, зато всего остального они с мальчиками практически не видели – по 200 граммов масла и сахара на человека, 600 граммов мяса и 500 граммов рыбы – и все это за месяц. Лина пыталась получить доступ в столовую Дома ученых или Центрального дома работников искусств. Она знала, что в Союзе композиторов тоже есть столовая, но туда не пускали членов семей композиторов. Однажды она отдала карточки за целый месяц за то, чтобы привести Святослава с Олегом на «так называемый обед» в Союз, но еда была «скудной и по количеству и по качеству»[430]. К сожалению, дело не стоило таких жертв.

Лина просила Сергея написать письмо куда следует, чтобы ей с детьми разрешили ходить в столовую. Мальчики растут, им необходимо нормально питаться, последствия недоедания могут быть страшными, у Святослава и Олега возникнут проблемы со здоровьем и с учебой. Лина ожидала, что Сергей издевательски поинтересуется, почему же она не поехала в колхоз, и она опередила его. Если в Союзе композиторов с нами обращаются подобным образом, страшно представить, что будет в колхозе, возразила Лина. Там у нее не будет ни поддержки друзей, ни возможности заработать на жизнь. К тому же в Москве условия гораздо лучше. Не говоря уже о том, что покидать столицу нельзя, иначе существует риск, что потом ей не позволят вернуться.

Выступая в роли просителя, Лина тем не менее не могла сдержать гнев. Даже ради соблюдения приличий она не стала называть Святослава и Олега «наши дети». Сергей бросил их на произвол судьбы, теперь о мальчиках некому позаботиться, кроме Лины. Сыновья – ее единственная надежда и утешение. Лина напомнила Сергею обо всех хороших качествах мальчиков и подчеркнула, что сейчас как никогда им требуется помощь отца. Какие бы драмы ни разыгрывались в семье, сейчас не время отступать в сторону. «Ты должен согласиться, что для детей было бы лучше во всех отношениях, если бы они росли «в темной Америке», – написала она, передразнивая антиамериканскую пропаганду в СССР[431]. «Сейчас пытаться уехать бессмысленно, иначе я бы сделала все, чтобы вернуться туда, где мой дом… Америка стала бы домом и для моих детей, им не пришлось бы

страдать от голода, холода и нищеты… кроме того, у меня там есть близкие друзья»[432]. Под «близкими друзьями» она, похоже, подразумевала Кариту Дэниел и Гасси Гарвин, двух дам, которые заботились о ней в юности. В последний раз Лина виделась с ними в 1938 году, в Санта-Барбаре, в Калифорнии. Обе пытались убедить Лину вернуться, пока Сергей вел переговоры со студией «Парамаунт». Мать Лины жила в оккупированной немцами Франции и была отрезана от внешнего мира.

Лина видела будущее для себя и своих детей за пределами Советского Союза – она планировала жить на Западе. По окончании войны Лина энергично добивалась возможности уехать из СССР.

На последней странице письма Лина сообщила, что одна из двоюродных сестер Сергея, Катя, «в течение нескольких месяцев находилась в психиатрической больнице, частично по причине истощения, и ее там никто не навещал»[433]. С искренней печалью Лина написала о смерти филолога Бориса Демчинского, их давнего друга. Демчинский и Прокофьев познакомились в юности, и Борис оказал большое влияние на творчество Прокофьева, включая «Огненного ангела» и Кантату к 20-летию Октября. Для Лины этот человек был источником эмоциональной и духовной поддержки – «настоящий друг, – говорила она, – своего рода оазис… теперь его больше нет среди нас»[434].

Зимой Лина попыталась отправить Демчинскому в Ленинград посылку с лекарствами, но он ее так и не получил. Город был отрезан от внешнего мира. В Ленинград можно было добраться только по дороге, проложенной по льду Ладожского озера. На санях и тракторах в город привозили продовольствие и топливо, когда позволяла толщина льда и не было обстрелов. По этой же дороге из Ленинграда вывозили больных женщин и детей. Через сына Демчинского Лина узнала, что его отец умер от голода; когда его принесли в гостиницу «Астория», было уже слишком поздно. В 1941 году в «Астории» разместился госпиталь, однако попасть туда можно было только по блату – благодаря связям в высших кругах. Власти города не стали регистрировать смерть Демчинского, таким образом позволив вдове и сыну покойного получать карточки и на его имя тоже.

«Таковы печальные и очень тяжелые события последних месяцев. Да хранит тебя Господь», – закончила Лина письмо мужу, бросившему ее и детей[435].

Сергей, вероятно, понимал, в каком отчаянном положении находятся его жена и дети, и все же был потрясен подробностями, изложенными в письме. Сергей немедленно принял меры, чтобы помочь им. Он написал письма председателю Комитета по делам

искусств и секретарю Союза композиторов, считая, что способен добиться разрешения для Лины и детей питаться в столовой Союза композиторов. Письма в Москву были отправлены из Алма-Аты, где Сергей вносил свой вклад в победу над врагом, сочиняя музыку к патриотическим фильмам. Киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм» были эвакуированы в Алма-Ату. Несмотря на все его усилия, Лине под разными предлогами по-прежнему не разрешали посещать столовую. То заявляли, что ее нет в списке, то ссылались на отсутствие у нее карточек нужного образца. Не помогали ни обаяние, ни упрямство, ни напор. Добиться своего удалось только со скандалом. В сентябре Лина получила разрешение для мальчиков – теперь они могли дважды в день питаться в столовой; никто из членов семей других композиторов не пользовался такими привилегиями, но Лина пристыдила Левона Атовмяна, занимавшего высокое положение в Союзе композиторов, и заставила дать ее детям разрешение ходить в столовую Союза. Появилась возможность экономить карточки, в том числе и от Союза композиторов. Однажды Лина по особому разрешению получила 25 килограммов картошки, а в другой раз – сливочное масло и яйца. Зная, в каком отчаянном положении находятся другие семьи, Лина рассказывала, как ей удалось добиться разрешения посещать столовую. Таким образом, она значительно прибавила хлопот Атовмяну. Лина не любила этого человека и не доверяла ему – как выяснилось позже, у нее для этого были все основания.

Сергей всегда старался передать посылки с коллегами, которые ехали по делам в Москву. Финансовая помощь, которую он оказывал семье, складывалась из комиссионных, авторских гонораров, официальных и за издания в обход Союза – в этом случае пригодилась, как говорила Лина, «увертливость» Атовмяна[436]. Прокофьев нарочно брал дополнительную работу, чтобы поддержать Лину и детей. В ноябре 1942 года появилась возможность присылать больше денег. Доставляли их курьеры, но иногда Лине нужно было прийти в определенное место, чтобы забрать денежную сумму. Впрочем, и он, и Лина понимали, что в военное время от наличных мало проку. Лина писала мужу, что лучше присылать рис и сухофрукты. Сергей делал все что мог, но продуктов на рынках было очень мало. Впрочем, сам Сергей покупками не занимался – эта обязанность лежала на плечах Миры. «Не думай, что здесь Эльдорадо – потерянный золотой город, – объяснял Сергей Лине. – Нет никакой еды, кроме холодных, недоваренных макарон, от которых желудок сводит»[437]. Правда, Сергею все-таки удалось послать ей немного местного меда.

Сергей не писал Лине, что у него начались серьезные проблемы со здоровьем; его мучили сильнейшие головные боли, он начал терять сознание из-за высокого давления. Гипертония станет причиной его преждевременного ухода из жизни. Впервые он потерял сознание в 1943 году в Алма-Ате, когда ходил за продуктами.

Лина продолжала задействовать все имевшиеся в ее распоряжении контакты в Москве. Она получала помощь от Красного Креста, главным образом благодаря пожилому американцу, прибывшему в составе американской миссии в Москву. В сентябре 1941 года состоялась конференция представителей трех держав, на которой было принято решение «о снабжении Советского Союза Великобританией и Соединенными Штатами Америки». К июню 1942 года объем поставок, среди которых были лекарства и одежда, увеличился с первоначальных 500 тысяч долларов до 4 миллионов 100 тысяч долларов.

Упомянутый делегат работал в историческом здании на улице Веснина, где располагались дипломатические миссии. Американец, несмотря на довольно невзрачную внешность, воображал, будто неотразим для женщин. Поначалу Лина поощряла его ухаживания, писала вежливые благодарственные письма и даже подарила свою фотографию, подписав «с любовью»[438]. Он снабдил ее лекарствами, кожаной обувью и шерстяными нижними солдатскими рубашками. «Отдайте соседям то, что вам не нужно», – посоветовал он[439].

Лине было неловко, что она отправила Святослава и Олега к нему в гости, чтобы мальчики поели и помылись – в то время у них дома не было горячей воды. Между тем ухаживания американца становились все настойчивее. В конце концов Лине пришлось поставить его на место, хотя она понимала, что может лишиться важнейшего источника материальной помощи. Француз, тоже решивший поухаживать за Линой и подаривший ей букет, только усугубил ситуацию. Американец, увидев цветы, стал ревновать.

Только после его отъезда Лина поняла, насколько была ему обязана. Молодой человек, который занял его место в миссии, действовал строго по протоколу, разжалобить его было невозможно. В какой-то момент – Лина не помнила, в каком году это было, – ей пришлось обратиться к нему, когда у нее началась сильная зубная боль, и потребовалась срочная медицинская помощь. В миссии был дантист, американский военврач, который извлек из зуба ватку, советский врач попросту забыл вынуть ее, когда ставил пломбу. Ей пришлось несколько раз приходить на

прием, чтобы поставить на поврежденный зуб коронку, и каждый раз агенты НКВД сообщали, что она посетила американскую миссию и общалась с иностранцами – то есть совершала преступное деяние.

Кроме того, Лина извлекла пользу из дружбы с Варварой Массалитиновой, известной актрисой, которой тогда было около шестидесяти пяти. Лина познакомилась с Массалитиновой во время съемок фильма «Александр Невский», в котором актриса играла роль пухленькой, добродушной матери новгородского богатыря Василия Буслаева. Народная артистка, лауреат Сталинской премии Массалитинова, работавшая в Малом театре с 1901 года, имела возможность получать через театр не только продукты, но даже вино. На Пасху она накрыла богатый стол для Святослава с Олегом и уговаривала их хорошо поесть и выпить, радуясь тому, что может «сплетничать, сплетничать, сплетничать с Линой целый день»[440].

* * *

Сергею хотелось верить, что даже в самых тяжелых, самых немыслимых обстоятельствах его жена и особенно дети продолжают вести более или менее достойную жизнь. Даже находясь в эвакуации, он не менял привычный распорядок дня. В марте 1943 года Сергей прислал Святославу на девятнадцатый день рождения 200 рублей; он интересовался успехами Олега в школе, хотел посмотреть его рисунки и играл с ним в шахматы по переписке.

И все же собственные нужды всегда стояли для Сергея на первом месте. Он попросил Лину прислать кое-что из его одежды и постельные принадлежности. Его просьба не была связана с тем, что он оказывал материальную поддержку семье и хотел что-то получить взамен, просто в Алма-Ате было трудно купить многие вещи. Сергею была нужна меховая шапка, костюм, пара нарядных ботинок и несколько галстуков. Она выполнила просьбу, но, в свою очередь, попросила, чтобы он разрешил детям носить его вещи. Старые лакированные ботинки достались Святославу, но Сергей отказался отдавать синий костюм, предложив Лине заказать Святославу новый. Ткань у Лины есть, а он оплатит пошив при условии, что цена будет не слишком велика.

Шла мировая война, Сергей был в эвакуации, а Лина жила в нужде, но, несмотря на все обстоятельства и то, что их брак фактически распался, они были вынуждены наладить между собой отношения ради детей. В мае 1943 года Олег серьезно

заболел: у мальчика была высокая температура, болела грудь, а шея распухла так, что больно было дышать и глотать. Олег заразился дифтерией, выпив молока, в котором содержался возбудитель. Требовалась срочная госпитализация. Через знакомых в Союзе композиторов Лине удалось договориться, чтобы его положили в Кремлевскую больницу, которая в то время находилась в центре Москвы напротив Библиотеки имени Ленина. Сергей передал из Алма-Аты через знакомого 3 тысячи рублей для оплаты лечения. Олег пошел на поправку, но весь июнь оставался в больнице из-за нарушения сердечного ритма. Однако перенесенная в 1943 году болезнь не прошла бесследно, отчасти из-за ее последствий Олег скончался от сердечной недостаточности в 1998 году в возрасте 69 лет.

А в конце июля, когда сын уже выздоравливал, Лину тоже поразила инфекция – видимо, передающаяся воздушно-капельным путем. Хроническая усталость, которая и без того была ее обычным состоянием, усилилась. У Лины постоянно была небольшая температура, мучительно болела голова. Она решила, что у нее тиф. Тогда в Москве бушевала настоящая эпидемия этой болезни. Как бы там ни было, лечили Лину весьма странным образом. Она запомнила, что обращалась в Кремлевскую больницу до и после болезни Олега. Но вместо лекарств ей давали еду: утром кашу, днем яйцо, сваренное всмятку или вкрутую, – настоящая роскошь, которую оставляли для молодых кормящих матерей.

Лина запомнила медсестер, тайком уносивших еду своим детям; палату с больными детьми, которые казались всеми брошенными. У Лины был сильный жар, ее лихорадило. Женщина-врач из Грузии, осмотрев Лину, пришла к заключению, что у нее не тиф, а правосторонняя пневмония, для лечения которой необходимы антибиотики. Кроме того, требовалась особая диета.

Лину отправили домой, и за ней стала ухаживать новая соседка, 39-летняя француженка Анн-Мари Лотт, мать двух девочек. Лина считала ее ангелом, посланным с небес, но на самом деле Анн-Мари оказалась в доме на Чкаловской улице после череды страшных событий. Склонившись к Лине, она рассказывала подробности своей жизни. Их истории имели много общего.

Подобно Лине, Анн-Мари переехала в Москву не ради политических убеждений, а вслед за мужчиной. В Париже, учась в лицее, она влюбилась в скульптора, уроженца Одессы Саула Рабиновича, и вышла за него замуж. Он рассчитывал остаться в

Париже, но вернулся в Москву. Ему посулили выгодный заказ на создание бюста народного комиссара Серго Орджоникидзе, соратника Сталина, умершего при загадочных обстоятельствах в феврале 1937 года. Рабинович стал преподавать в Строгановском училище. Он хотел, чтобы Анн-Мари оставалась в Париже, но та забросала его телеграммами и в конце концов объявила о решении переехать в Советский Союз. Летом 1937 года Анн-Мари получила советский вид на жительство, попрощалась с матерью и поехала на поезде в Москву. Ее первыми впечатлениями от города после двухдневного путешествия на поезде были жара, грязь, босые дети и мужчины, которые сидели прямо на вокзальном полу, матерились и лузгали семечки. Рабинович встретил ее на вокзале, но не захотел даже поцеловать и почти сразу расторг брак. Анн-Мари осталась с 20 рублями в кишащей клопами коммунальной квартире.

Ее положение изменилось, когда на вечере, устроенном журналистом Ильей Эренбургом и его женой, она познакомилась с недавно овдовевшим архитектором Ильей Вайнштейном. По его проекту были построены многоэтажные жилые дома на Чкаловской улице, в одном из которых у него была квартира. Его дом располагался практически напротив дома, в котором жила Лина. Вайнштейн приютил напуганную, измученную Анн-Мари. Их отношения быстро переросли в романтические, и за время войны она родила двух дочерей, старшая из которых появилась на свет в бомбоубежище.

Похожие истории сблизили Лину и Анн-Мари. Обе надеялись, что смогут уехать из Советского Союза. В июле 1944 года, после бесславного марша пленных немцев по улицам Москвы, Анн-Мари обратилась во французское консульство с просьбой установить контакт с ее семьей через дипломатическую почту. Лина тоже пошла в посольство и договорилась об отправке и получении зарубежной корреспонденции. Однажды они присутствовали на приеме в честь Мориса Тореза, секретаря Французской коммунистической партии, который всю войну провел в СССР. Вместе с Коминтерном он был эвакуирован в Уфу. Сохранилась фотография, на которой изображены две дамы, стоящие на балконе второго этажа, – блондинка и брюнетка. Высокая блондинка Анн-Мари прислонилась к изящной угловой колонне, чуть прищурившись от яркого весеннего солнца. Лина стоит в тени, повернувшись лицом к подруге. Поза изящная, макияж изысканный, некогда модную французскую шляпку украшает вуаль, а в волосах цветок.

Лина вспоминала, что из них двоих Анн-Мари была гораздо более кокетливой и любила пофлиртовать на посольских

приемах. Анн-Мари нашла серьезную поддержку в лице Ролана де ла Пуапа[441], летчика-героя из полка «Нормандия-Неман», воевавшей с нацистами на советско-германском фронте. Благодаря его помощи Анн-Мари разрешили связаться с семьей, и в июне 1946 года с французским паспортом и билетом она поднялась на борт самолета, вылетевшего в Париж. Ее муж, Вайнштейн, посоветовал ей покинуть Советский Союз, хотя понимал, что уже никогда не увидит ее и дочерей. Лина навестила Анн-Мари за месяц до отлета и сказала: «Итак, моя милая Аннет, через месяц я получу визу, и мы встретимся в Париже!»[442]

Для Лины роль Ролана де ла Пуапа должен был сыграть Станислав Жюльен, французский дипломат или, возможно, военный офицер, работавший в Москве до июля 1945 года. Не исключено, что это был тот самый француз, который вызвал ревность американца из Красного Креста, прислав Лине розы. Жюльен обещал помочь ей уехать из Советского Союза, но не сдержал обещания. Разочарование было жестоким. По возвращении во Францию он тут же прервал с ней отношения, правда, перед этим выполнив одну ее просьбу: навестил ее мать и отдал фотографии, которые Лина попросила передать. Сохранились несколько снимков, сделанных Станиславом в 1944 году, – на них Лина и Жюльен запечатлены в квартире на Чкаловской улице. На фотографии неулыбчивый, седовласый мужчина среднего возраста, в очках в тонкой проволочной оправе и в мятой белой рубашке. Взгляд у него прямой и открытый. Возможно, к неудовольствию Жюльена, его отношения с Линой были чисто платоническими. Тем не менее после отъезда во Францию Жюльен вдруг начал осторожничать – попросил Лину писать ему в Париж на абонентский ящик, а не на домашний адрес, и затем внезапно пропал. К концу жизни Лина смутно припоминала француза, у которого во время войны был скандальный роман с московской переводчицей, но имени его Лина не назвала. Возможно, это был тот самый таинственный Станислав Жюльен.

В 1942 году немцы были отброшены от Москвы. Это был первый поворотный момент в ходе войны, однако до победы было еще далеко. Высокопоставленные чиновники, эвакуированные в Куйбышев, начали потихоньку возвращаться в Москву. Контрольно-пропускные пункты еще сохранились, жители продолжали испытывать бытовые неудобства, однако больше не было необходимости закрывать окна плотными шторами, чтобы не привлекать внимание бомбардировщиков, да и заряжать пушки

на крышах теперь не требовалось. Музыкальная жизнь постепенно оживлялась, и появилась надежда, что искусство сможет выйти за тесные рамки, которыми его ограничили перед войной.

Олег просил мать сводить его на концерт, надеясь увидеть отца. Они ходили на фортепианные и органные концерты в Московскую консерваторию по приглашению одного из профессоров консерватории, Александра Гедике, и Лина даже выступала в Центральном Доме литераторов. Гедике отметил сходство Олега с Прокофьевым, особенно когда мальчик был нарядно одет. Каждый раз, приходя на концерт, Олег спрашивал: «Где папа?»[443] Но отца не было. Прокофьев оставался в эвакуации в Казахстане до октября 1943 года, но на самом деле «папа» так и не вернулся.

После возвращения в Москву Прокофьев продолжал помогать семье, но отказывался встречаться с Линой, Святославом и Олегом. Он общался с ними через посредников, будто до сих пор находился в эвакуации на Кавказе или в Казахстане. Лина запомнила, как однажды он передал для нее и детей конфеты, хотя в тот момент они больше всего нуждались в самых обыкновенных продуктах. Еще был неприятный спор по поводу ковра, который Сергей хотел забрать в квартиру, где жил с Мирой. Но это было ближе к концу войны, поскольку с осени 1943 года до осени 1944 года Прокофьев жил в гостиницах «Националь», «Метрополь», «Москва» и «Савой».

Номера для него бронировал то ли Комитет по делам искусств, то ли Союз композиторов. Подобная привилегия свидетельствовала о том, что Прокофьева признают в качестве ведущего композитора, однако ему постоянно приходилось переезжать с места на места. Например, в гостинице «Москва» его бесцеремонно переселяли то в один номер, то в другой. Раздосадованный Сергей чувствовал себя бездомным. Так же как на Западе, в Советском Союзе Прокофьев был вынужден вести кочевую жизнь. Вещей у Сергея было мало, поэтому ему пришлось договариваться с Линой, чтобы передала ему оставшуюся в квартире одежду. Кроме того, он хотел забрать некоторые книги и письменный стол для работы. Но на его телеграмму Лина ответила, что стол нужен Святославу для учебы. После долгих переговоров Лина согласилась обменять стол на секретер. Некоторые вещи передал Сергею Атовмян, а остальное в гостиницу «Москва» отнесла Фрося, домработница Лины.

Фрося в течение нескольких лет совмещала работу на стройке с работой у Лины; она готовила, убирала, чинила одежду. Фрося была простой, малообразованной женщиной, не способной даже правильно выговорить слово «композитор», но многое в ней

восхищало Лину. Фрося обладала стальной волей, но в то же время была добросердечной и глубоко порядочной. Она стала членом семьи и не бросила Святослава и Олега даже после ареста их матери. Преданная Фрося заявляла, что не выносит Миру.

Время от времени по поручению Лины она ходила в гостиницу «Москва» к Сергею. Сначала он переехал с восьмого этажа на тринадцатый, а затем, после недолгого проживания в гостинице «Савой», вернулся в «Москву», теперь уже на четвертый этаж, откуда затем спустился на первый. Фрося рассказывала, что дела у Сергея идут неважно. «Я вошла в номер, и на столе валялось все подряд – ноты, масло, ее расческа с застрявшими волосами… Я потом на нее смотреть не могла»[444]. Как-то Сергей приехал в квартиру, чтобы забрать несколько вещей, довольный, что Лина «не обменяла их на сахар, сало или еще что-нибудь»[445]. Сергей испытывал большую неловкость, однако остался на обед. Когда он выходил из дома, его окликнул водопроводчик, живший на первом этаже. Этот человек был примерным отцом семейства и так же, как и Фрося, сочувствовал Лине. «Приехали повидать семью? – спросил он, сидя на своем привычном месте на лавке во дворе и бросив неприязненный взгляд на Сергея. – Да, хороший вы отец»[446]. Опустив голову, Сергей с каменным лицом прошел мимо.

В сентябре 1944 года, когда они с Мирой получили небольшую квартиру на Можайском шоссе, отношения между ним и бывшей женой резко ухудшились. Сергей категорически отказался общаться с Линой, обвинив ее в том, что она все делает ему назло и лишь по этой причине не отдает вещи, которые не нужны ни ей, ни детям. Сергей потребовал вернуть все, что находилось в его комнате, за исключением рояля. Его Сергей готов был уступить, чтобы Лина могла заниматься вокалом, но при одном условии – если Атовмян достанет ему новый рояль. В конце концов тот достал для Сергея Steinway. Один из последних списков книг, которые Сергей потребовал вернуть, включал «Очерки истории» Герберта Уэллса (издание 1920 года), современный перевод Библии и одну из двух биографий создательницы Христианской науки Мэри Бейкер Эдди, которую они привезли из Европы.

Сергей больше не участвовал в жизни Лины и детей. Он стал называть Миру своей женой, как и его коллеги, – хотя всем было известно, что они не состояли в законном браке. Сергей принял решение попросить у Лины развод, но колебался. Возможно, испытывал чувство вины или принял во внимание неважное состояние здоровья Лины. Наконец Сергей попросил Атовмяна

обсудить с ней этот вопрос, чтобы понять, какова ее позиция.

Автомян был не слишком рад поручению. Лина, как и следовало ожидать, возмутилась до глубины души, не желая говорить на такую личную тему с посторонними людьми. Она предложила Сергею встретиться на нейтральной территории, в квартире ее подруги, актрисы Елены Кузьминой[447], чтобы не ссориться на глазах у Святослава и Олега. Сергей отказался и отправил письмо с просьбой дать развод. Однако послание попало в руки Святославу, и у сына не хватило духу передать его многострадальной матери. Даже если бы Лина получила письмо, она все равно не согласилась бы на развод, поскольку стала бы еще более беззащитной. Будучи замужем за известным композитором, она чувствовала себя достаточно защищенной, чтобы общаться с сотрудниками посольств государств, являвшихся союзниками Советского Союза, даже несмотря на то, что контакты с иностранцами были запрещены. Общение с этими людьми было необходимо Лине, поскольку она собиралась рано или поздно уехать из страны.

Сергея беспокоило ее ненадежное положение, но он ничего не предпринимал, чтобы помочь Лине с детьми покинуть Советский Союз. Он стал другим человеком и отныне рассуждал по-новому. Теперь это был настоящий советский композитор, который упорно работал в эвакуации в интересах власти, создавая одно за другим патриотические произведения, получая награды и почести; к примеру, 27 июля 1943 года он был награжден орденом Трудового Красного Знамени и удостоен звания заслуженного деятеля искусств. Хотя Сергей оставался приверженцем Христианской науки, которая не одобряла марксистско-ленинскую идеологию, он нашел способ примирить свои взгляды с советскими воззрениями. Если раньше он говорил о музыке с точки зрения божественного вдохновения, то теперь изменил прежнюю терминологию на более угодную режиму, – его музыка являлась выражением человеческих возможностей и победы духа.

Самым очевидным свидетельством его приверженности делу коммунизма стала знаменитая Пятая симфония, премьера которой состоялась 13 января 1945 года в Большом зале Московской консерватории. Среди присутствующих были и Лина со Святославом. Не успел Сергей поднять дирижерскую палочку, как на сцену вышел конферансье, чтобы объявить об успешном наступлении советских войск на Берлин. Повисла долгая пауза, поскольку каждый из собравшихся в зале проникся важностью торжественного момента. Один из музыкальных светил, оказавшийся среди зрителей, вспоминал, что «Большой зал был,

наверное, освещен как обычно, но, когда Прокофьев встал, казалось, свет лился прямо на него и откуда-то сверху… Что-то было в этом очень значительное, символическое. Пришел какой-то общий для всех рубеж… и для Прокофьева тоже»[448]. В памяти Святослава навсегда запечатлелся образ отца, который «стоял, как монумент на пьедестале. И вот когда Прокофьев встал за пульт и воцарилась тишина, вдруг загремели артиллерийские залпы. Палочка его была уже поднята. Он ждал, и, пока пушки не умолкли, он не начинал»[449]. Фрак Прокофьева украшали награды, полученные за заслуги в военное время. В этот вечер у него было очень высокое давление.

За месяц до этого выступления, которому суждено было стать высшей точкой его карьеры в Советском Союзе, Сергей был приглашен на прием. Он не хотел идти, но потом передумал – возможно, под воздействием убеждения. Это был прием во французском посольстве, устроенный 4 декабря 1944 года в честь Шарля де Голля, лидера движения «Свободная Франция». Он вылетел в Советский Союз по приглашению Сталина и приземлился в Баку, имевшем важное военное значение городе на Каспийском море. Баку находился в девятнадцати тысячах километров к юго-востоку от Москвы. В столицу де Голль отправился на поезде. Французская делегация сделала остановку в Сталинграде, где де Голль был поражен масштабным строительством, не понимая, что является свидетелем возведения тюремных лагерей. В Москве он посмотрел балет, присутствовал на выступлении ансамбля песни и пляски в Доме Красной армии и 4 декабря, согласно протоколу, встречался с «группой интеллигенции и писателей, которую советские власти официально именуют «друзьями Франции»[450].

Лину по-прежнему радушно принимали во французском посольстве как очаровательную жену Сергея. Когда подошла ее очередь, она вежливо побеседовала с де Голлем. Сергей, подслушавший разговор, был потрясен. «Я только что разговаривал с вашим мужем», – с поклоном произнес высокий худощавый генерал. Он поинтересовался, не собирается ли она возвращаться во Францию. «Мне так не хватает Парижа», – призналась Лина. Де Голль любезно ответил: «Мы с нетерпением будем вас ждать»[451].

Сергей отвел Лину в сторону и отчитал за то, что она продолжает «изображать из себя» его жену, хотя с юридической точки зрения она имела на это полное право. Лина попыталась возразить, но Сергей уже не мог остановиться. «Не будь наивной. Ты знаешь, что приглашение прислали мне и моей спутнице», то есть Мире, которая просто была слишком застенчива и не любила

ходить на подобные мероприятия. «Я узнал, – продолжил Сергей, имея в виду неприятный разговор, который у него только что состоялся с высокопоставленным советским чиновником, – что ты продолжаешь посещать иностранные посольства»[452]. Он предупредил Лину, что если она будет упорствовать и попадет в беду, то может не рассчитывать на его помощь. «Ты не можешь запретить мне, – ответила Лина. – Ты не имеешь надо мной никакой власти»[453].

Он ничего не мог сделать, и его предупреждение не возымело эффекта. Лина стала частой гостьей не только французского, но британского и американского посольств, бросая вызов властям и не останавливаясь перед риском. Дипломат Фредерик Рейнхардт, работавший в американском посольстве в Москве с 1940 по 1942 год и с 1946 по 1948 год, вспоминал, что «в первый послевоенный период» Лина обращала на себя «внимание властей», упрямо пытаясь добиться получения выездной визы[454]. Он увидел Лину впервые в 1940 году, когда она пришла с Сергеем в посольство на обед, а затем в 1941 году, когда она пришла уже одна после эвакуации советского дипломатического корпуса и правительства в Куйбышев.

Лина начала общаться с британцами, жившими в Москве, и даже завела близкое знакомство с сотрудниками еженедельной газеты «Британский союзник» (British Ally), которая выходила для советских читателей на русском языке с 16 августа 1942 года, являясь символом хороших дипломатических отношений между Англией и СССР[455]. Однако в 1947 году Кремль пришел к выводу, что газета «приносит явный политический вред». Отдел агитации и пропаганды (Агитпроп) сообщил Сталину, что «в этой газете все чаще публикуются материалы, неправдиво, тенденциозно освещающие важнейшие события международной жизни… В Управление пропаганды и редакцию газеты «Культура и жизнь» стали поступать письма от читателей «Британского союзника» с просьбой принять меры против некоторых вредных тенденций этого английского пропагандистского издания в СССР»[456]. Распространение печатного издания ограничили, письма читателей редактору из восторженных превратились во враждебные. Редактор газеты Арчибальд Джонстон исчез, и якобы написанное им самим прошение об отставке, в котором он также сообщил об отказе от британского гражданства, появилось в газете «Известия». «Британский союзник» был закрыт в сентябре 1950 года.

В 1945 году сотрудники газеты организовали прием в отеле «Метрополь». Лина получила приглашение. На приеме она познакомилась с Анной Холдкрофт новой переводчицей из

министерства информации Великобритании. С ноября 1944 года Холдкрофт, в течение четырех лет служила атташе в информационном отделе британского посольства. Холдкрофт отвечала за выбор фильмов для киносеансов, которые устраивали в посольстве по выходным дням на протяжении всего 1945 года. Лина регулярно приходила на сеансы, но потом решила, что это удовольствие слишком «расслабляет».

Холдкрофт жила в «Метрополе», и Лина демонстрировала чудеса изворотливости, проникая в ее номер, что, по словам Холдкрофт, «только вредило ей»[457]. Она рассказала, что Лина «открыто ходила в иностранные посольства и часто присутствовала на приемах»[458]. Лина игнорировала опасность, но Холдкрофт не питала иллюзий. «Я убеждала ее быть более осторожной, но она никогда не принимала во внимание мои советы. В то время она энергично добивалась разрешения поехать во Францию, чтобы повидаться со своей матерью, но безуспешно»[459].

Более сложные отношения связывали Лину с коллегой Холдкрофт, Джорджем Венденом, третьим бароном Дервентом. Лина находила его привлекательным и безупречно воспитанным, как и подобает человеку благородного происхождения, получившему образование в Оксфорде. Кроме того, Дервент был прекрасным собеседником. Он сочетал дипломатическую работу с изучением истории искусства и музыки. Дервент является автором книг о Гойе и Россини. Кроме того, он сочинял стихи, представив свое видение войны в сборнике под названием «Перед решительным часом».

Лина встречалась с Дервентом на вечеринках, которые устраивали британцы в 1947 году. Он был не прочь завязать отношения, поскольку его жена умерла в 1941 году, но Лина не могла дать Дервенту то, чего он хотел. Она называла их отношения amitie amoureuse (романтическая дружба), – но эти встречи, по крайней мере, скрашивали ее одиночество. Однако их встречи проходили в напряженной обстановке. Лина работала в Совинформбюро и была знакома с высокопоставленными чиновниками аппарата ЦК, а значит, общение с иностранцами для нее было еще более рискованным, чем для обычных советских граждан. Дервент искал встреч с Линой, но старался по возможности обезопасить ее, придумывая всевозможные хитрости. Как-то вечером он назначил ей встречу на переполненной станции метро «Арбатская», сказав, что его легко будет узнать по белой офицерской форме. Она не должна смотреть на него, но, поднявшись по эскалатору и проходя мимо, должна произнести условные слова, а затем выйти на улицу. Он

последует за ней на безопасном расстоянии.

Он и другие знакомые британские офицеры получали бесплатные билеты на иностранные фильмы, хотя даже после войны это разлагающее капиталистическое развлечение считалось идеологически вредным. Но Лина не отказывалась, когда ее приглашали. В одном из фильмов главную роль играл Дуглас Фербенкс-младший, с которым Лина познакомилась в Голливуде; этот фильм напомнил Лине ее прошлую жизнь. Она сидела в кинотеатре рядом с Дервентом, однако вела себя так, будто пришла не с ним. Оба чувствовали себя неловко. Лина не решалась взять его за руку, опасаясь последствий, к которым может привести этот невинный жест. Когда он подвез ее на машине ко входу в метро, то не осмелился поцеловать ее. Лина вышла из машины, он подождал, пока она зайдет в метро, – в то время уличные ограбления были обычным делом – и только тогда уехал.

В начале весны 1947 года Дервент покинул Советский Союз. Позже он обручился с Кармен Гандариллас, дочерью сотрудника посольства Чили в Лондоне, которую Лина назвала «подходящей парой» для него[460]. Лина не жалела об упущенных возможностях – наоборот, она всегда вспоминала об этих встречах с теплотой и благодарностью. Дервент умер скоропостижно, во сне, спустя три месяца после объявления о помолвке, 12 января 1949 года в Париже. Ему было всего 50 лет.

Дружба с Анн-Мари, небескорыстный флирт с представителем американского Красного Креста и с дипломатами, фильмы, помогающие хоть немного отвлечься, – об этом рассказывала Лина журналистам, интересовавшимся ее жизнью в годы войны. О голоде, болезнях и продовольственных карточках она говорить не любила. Лина ничего не рассказывала о ссорах с Сергеем, как и о своих опасениях, – она понимала, что слишком часто рискует. Коктейли с Холдкрофт и фильмы с Дервентом заставляли вспомнить о былой жизни и укрепиться в решимости уехать из Москвы.

Лина стала подозревать, что за ней следят, и не ошиблась: с нее не спускали глаз и заносили наблюдения в личное дело в МГБ, подразделение НКВД, возникшее в 1946 году. Когда Лина ехала домой на метро, возвращаясь с последней встречи с Дервентом, она обратила внимание на человека, сидевшего напротив нее в широком, выложенном деревянными панелями вагоне. Он посмотрел на нее, затем уткнулся в газету, потом снова поднял взгляд. И так несколько раз. Видимо, Лине хотели дать понять, что за ней следят.

Встревоженная, она вышла на своей станции, по подземному переходу перешла на другую сторону широкой Чкаловской улицы, дошла по пустынной улице до своего дома, прошла через тихий, безлюдный двор к десятому подъезду и поднялась на три лестничных пролета. Звук собственных шагов был таким же знакомым, как запахи на каждом этаже. Она благополучно добралась до дома без слежки.

В следующий раз Лина увидела незнакомца, встреченного в метро, в 1948 году, во время короткого, формального судебного процесса.

Глава 11

В марте 1947 года, после трагической смерти мужа, Александра Афиногенова, Дженни Марлинг, которая была связующим звеном между советскими властями и иностранными корреспондентами, получила разрешение уехать с детьми, Джой и Александрой (Сандрой), домой в Лос-Анджелес. Они отплыли из Одессы в Нью-Йорк, а оттуда долетели до Калифорнии. В самолете Дженни впервые говорила с дочками по-английски. Они поселились в Голливуде, рядом с матерью Дженни и дядей, работавшим на студии Диснея. Однако Дженни так и не смогла приспособиться к американской жизни и уже полгода спустя снова засобиралась в Москву. Когда одиннадцатилетняя Джой и шестилетняя Александра спросили, почему они возвращаются, Дженни ответила: «Потому что там похоронен ваш отец и мой муж»[461]. В августе 1948 года она отправила в Советский Союз все свои вещи, в том числе новый «бьюик». После прибытия в Одессу Дженни планировала проделать путь в одиннадцать тысяч километров на машине.

Одесса была уже в пределах видимости, когда на теплоходе вспыхнул пожар. Теплоход был построен в Германии, но по репарации его передали СССР в Черноморское морское пароходство. Здесь он получил новое название – «Победа». Позже был произведен осмотр теплохода, и выяснилось, что пожар начался в кладовой, где лежали пленки с фильмами и патефонными пластинками. Часть фильмов была упакована в жестяные коробки, а часть, предназначенная к перемотке, лежала на столе в открытом виде. При перемотке на ручном станке лента заискрила и вспыхнула. Пламя охватило кладовую, вспыхнула одежда на матросе, который занимался перемоткой. Огонь стремительно распространялся по ковровым дорожкам в коридорах, вскоре загорелись фанерные переборки кают. По вентиляции пламя добралось до кают команды, румпельного отделения и радиорубки. Радист спасся, выпрыгнув из рубки через иллюминатор. При этом сигнал SOS он передать не успел. Позже и радист и киномеханик были признаны виновными в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей и приговорены к каторжным работам. Обе дочери Дженни остались живы – Джой читала где-то на палубе, Александра играла в коридоре с другой девочкой. В последний раз она видела мать сквозь высокую стену огня.

Опекунство над девочками получила бабушка по отцовской линии, которая жила в писательском доме в Лаврушинском

переулке. Из Калифорнии дочери Дженни получили фотографию, которую прислала им вторая бабушка, мать Дженни. Фотография была сделана перед самым отъездом в Москву: девочки с мамой, загорелые, в белых платьях, стоят рядом с «бьюиком». На обратной стороне была подпись: «Любимые, помните? Ваша машина и мой гараж. Здесь видно и меня – вот я стою на веранде и плачу. Сохраните эту фотографию навечно»[462].

Даже если бы Дженни осталась жива, ей все равно грозила бы опасность. Александр Фадеев, сильно пьющий генеральный секретарь Союза писателей, в состоянии опьянения проговорился, что видел ее имя в списке подлежавших аресту. Александра считает, что ее мать ожидала чего-то подобного. С теплохода «Победа» она отправила телеграмму свекрови, давая понять, что в скором времени той придется взять на себя заботу о внучках. Позже Александра узнала, что их теплоход вышел из Нью-Йорка на четыре часа позже, потому что таможенники обыскивали багаж Дженни.

Дженни погибла 1 сентября 1948 года; ей было 43 года. Перед самым отъездом в Соединенные Штаты она виделась с Линой. Виделась Лина и с Анн-Мари вскоре после того, как та получила долгожданное известие о том, что может ехать во Францию и вернуться к прежней жизни. Трудно найти двух женщин с более разными судьбами, и совсем иная судьба постигла Лину. Как и они, Лина пыталась вернуться на Запад, но 1 ноября 1948 года была отправлена в чистилище ГУЛАГа.

У американских, британских и французских подданных, переехавших в Советский Союз и вскоре понявших, что назад пути нет, наконец появился шанс. В послевоенный период – особенно 1946 и 1947 годы – дипломатические отношения между странами наладились и, казалось, можно было воспользоваться этой возможностью, чтобы покинуть СССР. Но в 1947 году, в год своего пятидесятилетия, Лина поняла, что время работает против нее; у Лины были серьезные основания опасаться, что, если в ближайшее время она не добьется разрешения на выезд из страны, ее арестуют. У Лины оставалось два пути: или зарубежные знакомые придут на помощь и спасут ее, или из-за них она сядет в тюрьму. По словам Фредерика Рейнхардта, первого секретаря американского посольства, в 1948 году «фактически все русские в Москве, вхожие в посольские круги, были арестованы и пропали из поля зрения. Это касалось и русских учителей иностранного языка, и тех, кто, по-видимому, раньше имел официальное разрешение на общение с

иностранцами»[463].

Лина наверняка опасалась за свою судьбу, но Дженни и Анн-Мари видели, что со временем она начала действовать все более и более смело. Лина беспокоилась за сыновей; в Москве она стала более заботливой матерью, чем в Париже, когда мальчики были маленькими. Лина боялась, что так и не успеет увидеться с матерью. Добиваясь разрешения на выезд, Лина использовала все возможные предлоги, вплоть до слабого здоровья детей. После перенесенного туберкулеза Святослав часто простужался, в левом легком осталось отверстие. Сергей обещал помочь, но, похоже, не предпринимал никаких действий, и все ее обращения были тщетны.

Ольга Кодина осталась во Франции и затаив дыхание ожидала редких вестей от дочери. Она жила в скромной квартире – две комнаты с балконом, выходящим в парк, – в Озуар-ла-Феррье, небольшом городе к юго-востоку от Парижа. Ольга жила на пособие, о котором Сергей договорился через парижское издательство Editions Russe de Musique. Парижским отделением управлял Габриэль Пайчадзе, человек, которому Сергей всегда доверял. По просьбе Сергея Пайчадзе платил Ольге скромную пенсию из авторских гонораров Прокофьева.

Ольга часто писала дочери, но большинство писем не доходило до Лины. Она прочла их годы спустя, уже после смерти матери. Кроме дочери, Ольга писала Пайчадзе и его жене Вере – в коротких записках она благодарила их за финансовую помощь и за беспокойство о ее здоровье. В письмах Пайчадзе она все чаще писала о том, что очень волнуется за Лину. Во время войны тревоги переросли в мучительное беспокойство. Ни мать, ни дочь не могли связаться друг с другом. После войны Лина и Ольга обменивались письмами через французское посольство или знакомых, но это удавалось нечасто. Пайчадзе обратился ко всем знакомым в Москве, включая, возможно, и самого Сергея. Он старался что-нибудь узнать о Лине, надеясь хоть немного успокоить мать. Но в какой-то момент он уже не смог сообщить Ольге никакой информации.

Ольга очень смутно представляла себе жизнь в сталинской России, и об этом свидетельствуют ее письма Пайчадзе. К примеру, 5 сентября 1946 года она написала: «Что касается Л.И. – Лины Ивановны – не особенно надеюсь, что она приедет, однако три недели назад получила от нее телеграмму: Esperons te rejoindre courant automne. Soignes-toi («Надеемся приехать к тебе осенью. Береги себя»). Теперь не так сложно получить разрешение на выезд. Ей мог бы помочь С.С. – Прокофьев – у него теперь новый влиятельный родственник. Странно, что Лина не

использует эту возможность, и как замечательно, что ее с детьми не выселили из квартиры. Я слышала, что дети сердятся на отца. Много лет назад, когда Святославу было 2 года, художник Александр Бенуа сказал, что «этот ребенок» – лучшее творение Сергея»[464].

Говоря о «новом родственнике», Ольга имела в виду отца Миры, Абрама Мендельсона. Ольга решила, что, будучи экономистом и занимая видное положение, он обладает большим политическим влиянием. Как и его жена, Абрам был убежденным коммунистом и потратил много труда, чтобы добиться доверия властей и построить карьеру. Дело в том, что в юности Абрам состоял в антибольшевистской коммунистической партии Бунд. Именно поэтому он старался держаться от Лины подальше. Ему бы и в голову не пришло помогать ей в получении выездной визы – даже если бы Мира, по понятным причинам, попросила его об этом.

3 января 1947 года Лина отправила матери телеграмму, в которой поздравила ее с Новым годом и выразила надежду, что весной они встретятся во Франции. Embrassons, souhaitons bonne annee, esperons ce printemps nous verra ensemble chez toi («Обнимаем. Желаем хорошего года. Надеемся весной все встретиться у тебя»)[465]. Но надежды не оправдались, и Лина вдруг замолчала. Когда летом им удалось обменяться письмами, здоровье Ольги резко ухудшилось, и Лина начала бояться, что уже никогда не увидится с матерью.

Ольга изнывала от беспокойства, не получая от дочери новостей. Об аресте Лины она узнала только по слухам. В последнем письме чете Пайчадзе, датированном 8 марта 1949 года, Ольга гневно обвиняет их в том, что они скрывают от нее правду. Неожиданно она задала вопрос об отношениях Лины со Станиславом Жюльеном: «У Вас нет известий от С. Ж., который просил, чтобы я писала ему в город, в котором он живет, только на абонентский ящик № 622? Я по-прежнему не верю, что никто не знал об их отношениях…» Ольга поверила неправдоподобному слуху, будто кому-то удалось повидать Лину в Лефортовской тюрьме: «Разве Ваша знакомая, которая виделась с ней в августе прошлого года, не может опять сходить к ней? Расскажите мне все, прошу Вас!»[466]

Но на самом деле в августе никто с Линой не виделся. Ольга так и не узнала, что стало с дочерью, а Лина не узнает, что случилось с матерью.

Все попытки получить выездную визу были напрасны. Святослав, видя отчаяние матери, в середине августа написал

отцу суровое письмо. Впрочем, начал он вполне мирно, рассказав о летнем отдыхе на Финском заливе на курорте Терийоки, аннексированном советскими войсками в 1944 году. Святослав поделился впечатлениями от ленинградских музеев. В городе на Неве он побывал в четвертый раз, но первые две поездки не помнил, поскольку был слишком мал. Потом Святослав рассказал о своем все еще слабом здоровье, сообщил, что хочет получить водительские права, и написал о приближающихся экзаменах в архитектурном институте.

Святослав намекнул, что желает создать свою семью и, рискуя обидеть отца, многозначительно прибавил – «если у меня будут свои дети, надеюсь, они получат больше тепла», – их с братом постоянно занятый собственными делами отец вниманием не баловал[467]. Мать, сообщил Святослав, провела лето в Москве. Здоровье ее оставляет желать лучшего, да и состояние духа остается угнетенным, ведь «здоровье бабушки резко ухудшилось, а в ее возрасте, учитывая, через что ей пришлось пройти, я думаю, что это конец»[468]. Взывая к совести отца, Святослав напомнил ему о последствиях ухода из семьи. «За прошедшие несколько лет маме пришлось столкнуться со многими трудностями, и все эти трудные, страшные годы они с бабушкой мечтали увидеться снова, хотя бы в последний раз»[469]. В последнем письме Ольги дочери и внукам столько горя, что Святослав едва сдерживал слезы, читая его. «Как было бы хорошо, если бы ты помог маме, – пишет он отцу. – Тебе это, похоже, не составит труда, для тебя это, по крайней мере, намного проще, чем для бедной мамы, которая безуспешно боролась на протяжении долгого времени, расходуя силы и нервы. Я бы с радостью помог ей, если бы только мог»[470].

Но Сергей не помог Лине получить выездную визу – впрочем, скорее всего, он был не в состоянии это сделать. Его вмешательство, вопреки мнению Святослава, только ухудшило бы их жизнь, к тому же в то время Прокофьев сам находился в опасном положении. При Сталине известные творческие деятели то получали похвалы, то подвергались гонениям. Иногда они сами не понимали, почему их удача так резко переменилась. Непостоянство культурной политики рушило карьеры. Играли свою роль споры между организациями, разногласия с членами правительства и, конечно, личное соперничество. Власть режима была абсолютной, поскольку не соблюдала ни правил, ни закономерностей. В том, что в 1948 году положение Прокофьева резко изменилось, были виноваты не идеологические соображения, а бюрократическая борьба и финансовые проблемы.

В 1938 году Сергей заслужил благосклонность советского

дипломата Потемкина, народного комиссара обороны Ворошилова и других высокопоставленных представителей власти, но десять лет спустя это не помогло ему сохранить высокое положение. 10 февраля 1948 года было опубликовано постановление Центрального комитета, которое объявляло оперу малоизвестного композитора Вано Мурадели «Великая дружба» «порочным антихудожественным произведением». Однако в последних абзацах стало ясно, что истинная цель судьбоносного постановления – критика советской музыкальной элиты и тех, кто оказывает ей поддержку. Прокофьев, Шостакович, Мясковский и еще несколько известных композиторов были названы представителями антинародного формалистического направления. Подпав под влияние модернистических тенденций, они отпугивают собственных слушателей и отказываются от понятных и доступных форм в пользу сомнительных абстракций. Во время войны всем этим композиторам расточали похвалы, однако Центральный комитет неожиданно дал произведениям иное толкование, объявив их упаднических.

Советских композиторов и раньше сбрасывали с пьедестала, но до этого Сергею удавалось избегать публичной отповеди. Но теперь он оказался в центре скандала. Давний покровитель, помощник и друг Сергея, занимавший высокий пост в Союзе композиторов, Левон Атовмян, в 1946 году предоставил ему огромную беспроцентную ссуду на покупку дачи на Николиной Горе. Ревизии, проведенные в Союзе, выявили эту и другие непозволительные ссуды и выплаты, и Атовмян лишился работы, чудом избежав тюрьмы. 150-тысячную ссуду следовало возместить полностью, но у Сергея не было таких денег; после 10 февраля он лишился почти всех источников дохода. Некоторые сочинения Прокофьева были запрещены, несмотря на то что до 1948 года их всячески восхваляли. Мало того, со сцены исчезли даже те произведения, которые не были запрещены. В последнем письме Пайчадзе Ольга жаловалась, что Сергей стал «ужасно скупым» по отношению к семье. Но в то время у него самого не было денег[471].

Сергей обращался в Союз композиторов с почтительными письмами, в которых извинялся за допущенные ошибки, но все напрасно. Председатель Союза композиторов Тихон Хренников не хотел прощать композитора, хотя, возможно, это зависело не от него. Вслед за этим на Сергея обрушился новый удар. Советский режиссер Сергей Эйзенштейн умер на следующий день после опубликования постановления. Ему было всего 50 лет, и он должен был закончить вторую серию фильма «Иван Грозный», над которым работал во время войны вместе с Сергеем. Вторая серия

была отправлена на доработку лично Сталиным. Сохранилась пленка, на которую снято прощание с Эйзенштейном. На ней можно увидеть Сергея с бледным, напряженным лицом.

Ушли годы на то, чтобы оправиться от финансовых последствий постигшего Прокофьева удара, но здоровье его так и не восстановилось. Оставшиеся пять лет жизни он почти не выходил из больниц и санаториев. Возможно, самый выдающийся музыкальный гений XX века был вынужден опуститься до мелких заказов, создавая произведения, не вдохновлявшие ни автора, ни слушателей. Особенно ярким примером творческой неудачи была опера «Повесть о настоящем человеке», о летчике, потерявшем в бою с немцами обе ноги, но вернувшемся в строй, чтобы снова воевать с врагами. Лина подозревала, что автор сюжета Мира, и в результате получилась оскорбительная пародия на реальный случай. Однако проект был поддержан Комитетом по делам искусств. Мира увлеченно работала над либретто и придумала сцену, в которой выздоравливающий герой танцует на протезах румбу. Сергей был слишком нездоров, чтобы предпринимать ответственные шаги сам, и полагался на движимых личными интересами знакомых – включая разжалованного Атовмяна. В начале 1950-х для него стало нормой повторное использование и переделывание старых произведений.

Все то время рядом с ним была преданная Мира. 13 января 1948 года она стала его женой. Произошло это благодаря неслыханному и возмутительному решению. 22 ноября 1947 года Сергей подал заявление в ЗАГС Свердловского района с просьбой развести его с Линой. Сергей давно отказался от мысли вернуться в семью, хотя Лина продолжала надеяться. Она по-прежнему любила его. Ее отношения с другими мужчинами оставались платоническими. Лина просто надеялась, что кто-нибудь из этих мужчин поможет ей уехать из Советского Союза, на время или навсегда.

К удивлению Сергея, заявления о разводе не потребовалось. 27 ноября суд признал недействительным брак, заключенный в октябре 1923 года в ратуше Этталя, поскольку он не был зарегистрирован представителями Советского Союза. Брак лишился законной силы, как только они переехали в Москву. Это было редкое даже для сталинского правосудия нарушение закона. После смерти Сталина этот случай стал хрестоматийным в Советском Союзе и приводился в качестве возмутительного примера попрания всех норм юриспруденции. Во-первых, в документе указывалось, что брак был заключен не в 1923-м, а 1918 году, то есть до того, как Сергей уехал из России в Соединенные Штаты и познакомился с Линой. Во-вторых,

утверждалось, что на момент вступления в брак и жених и невеста были советскими гражданами. О статусе двоих сыновей Прокофьевых даже не упоминалось.

Сергей примирился с абсурдным решением – возможно, потому, что оно давало ему желанную свободу и возможность жениться вторично. Меньше чем через два месяца после постановления суда, признавшего первый брак недействительным, Сергей, не поставив в известность Лину, взял в жены Миру. Спустя несколько недель Лине позвонят, чтобы она вышла на улицу за пакетом, затолкают в машину и отвезут на допрос на Лубянку.

Ольга ничего не знала об аресте дочери 20 февраля 1948 года, но предчувствовала недоброе. «С «ней» случилось что-то страшное? – спросила она у Габриэля и Веры Пайчадзе спустя четыре месяца после исчезновения дочери. – Я думаю, «она» на индексе – попала в список как иностранка?»[472] Ольга не называет Лину по имени, опасаясь последствий. Даже в посланиях ближайшим друзьям в Париж она боится написать лишнее. В августе 1948 года Ольга написала письмо Анн-Мари в надежде получить хоть какие-нибудь известия о дочери. В письме она высказывает робкую надежду на помощь со стороны Андрея Вышинского, прокурора СССР, который в то время находился в Париже. «Он, наверное, знает ее; может, есть возможность подойти к нему и спросить, где она, что с ней?»[473] Но продиктованная отчаянием просьба была бессмысленна, ведь Вышинский был печально известен своей причастностью к сталинским чисткам.

После ареста Лины в квартире раздался звонок. Святослав с Олегом открыли дверь. На пороге стояли три офицера МГБ: майор Г. А. Трифонов, капитан Н. Ф. Ковцов и лейтенант А. П. Бобров. Матери нет дома, сказали мальчики. Офицеры ответили, что знают об этом, поскольку они только что посадили Лину в машину, поехавшую на Лубянку. Начался обыск, опись вещей и изъятие предположительных вещественных доказательств. Обыск проводился в присутствии перепуганных сыновей Лины и помощника управдома, В. Я. Егорова, который с большей энергией и охотой исполнял обязанности осведомителя, нежели свои прямые обязанности. Среди изъятых вещей был рояль Сергея August Forster, пишущие машинки Smith Corona и Underwood, швейная машинка Singer, серебряный чайный сервиз, 86-томный «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», 286 книг на иностранных языках, 68 журналов и огромное количество навсегда утраченных фотографий и документов.

Святослав вздрогнул, когда грабители обнаружили его коллекцию открыток с советскими лидерами. «Я давно собирал эти открытки и по неосмотрительности не понимал, что необходимо время от времени уничтожать те, на которых изображены репрессированные. Во время обыска один из офицеров нашел открытку с фотографией врага народа. Он отложил ее в сторону, чтобы подшить в дело. Я попытался протестовать: «Я купил их все вместе, в магазине они продавались комплектом»[474].

Обыск не имел никакого отношения к поиску улик. Фактически квартира была ограблена, ее содержимое изъято в соответствии со «специальным распоряжением» для «передачи в МГБ СССР»[475]. Украли украшения Лины, брошки, кольца, браслеты и часы. Все украшения были из золота, но в четырехстраничном перечне в четырех копиях они фигурировали как изделия из «желтого металла»[476]. То же самое относилось к серебряным столовым приборам – ножам, вилкам и ложкам, занесенным в список как металлические.

Самой большой потерей были рояль и драгоценная картина маслом, написанная художницей Серебряного века Натальей Гончаровой. На полотне были изображены изумительные белые цветы. Сергей и Лина познакомились с Натальей Гончаровой в Париже, когда она работала над декорациями для «Русского балета». Остальные картины, в том числе большой портрет Лины, остались в квартире; видимо, раздражительная женщина-офицер, появившаяся в тот вечер ближе к концу обыска, решила, что они не в ее вкусе. Однако картина Гончаровой ей понравилась. Она внимательно осматривала квартиру, когда ее тяжелый взгляд остановился на небольшой перламутровой иконе. «Дайте ее мне, а в опись не вносите»[477]. Она завернула икону в тряпку, сунула под мышку и вышла из квартиры. Грабеж закончился укладыванием в мешки семейной коллекции пластинок: 17 альбомов советских пластинок и 147 иностранных – включая оригиналы записей фортепианных произведений Сергея и выступлений Дюка Эллингтона, Бенни Гудмена и Рэя Нобла. Скрипач Юрий Жегалин вспоминал, как Прокофьев по его просьбе ставил пластинки с джазом во время вечеринки в квартире Прокофьевых в январе 1939 года. Мешки с пластинками оставили в квартире в опечатанной комнате, чтобы забрать в конце лета. Святослав сумел заменить некоторые зарубежные пластинки на стандартные советские – на семьдесят восемь оборотов, приобретенные на ближайшем рынке записи с частушками, купленные в магазине. Однако, когда пришло время забирать альбомы для услаждения слуха любящего джаз следователя или

дознавателя, никто не заметил, что зарубежные записи заменили на обычные частушки. Некоторые из толстых, но хрупких пластинок на семьдесят восемь оборотов разбились, когда их тащили вниз по лестнице.

Только одна из изъятых вещей могла быть отнесена к антисоветским, идущим вразрез со сталинской социальной политикой. Она шла под номером 44: книга Мэри Бейкер Эдди «Наука и здоровье, с ключом к Священному Писанию», изданная в Бостоне в 1937 году. В описи название указано по-русски, хотя книга была на английском. Первое издание на русском языке вышло только в 1961 году. У Лины были и другие книги, связанные с Христианской наукой, но некоторые из них конфисковывать не стали. Например, сохранилась маленькая книжечка на хорошей бумаге, в обложке красного коммунистического цвета. Однако в ней о добре и зле рассуждала Мэри Бейкер Эдди, а ее идеи сильно отличались от сталинских. В книге, изданной в 1909 году, на английском и французском языках, содержались высказывания Мэри Бейкер Эдди о том, что «нет двери, куда может войти зло, и нет места для зла в разуме, заполненном добром»[478]. Книгу с размышлениями Эдди, похоже, не взяли, хотя одно ее название можно было интерпретировать как провокацию против Сталина: Ce que dit notre leader («Что говорит наш лидер»).

В квартире были и другие печатные издания подобного рода. Самой трогательной была открытка с детской молитвой, выпущенная в 1936 году в Соединенных Штатах последователями Христианской науки, Лина привезла ее с собой в Советский Союз. В открытке говорилось: «Отец-Мать-Господь, люби меня, храни меня, когда я сплю… направь меня по Твоему пути…»[479]

После обыска Святославу с Олегом разрешили жить в квартире, но закрыли две комнаты, где сложили вещи, которые намеревались забрать позже. Им позволили остаться до октября 1949 года, но потом прислали уведомление о выселении. В декабре 1949 года они переехали из квартиры номер 14 в квартиру номер 19, с третьего на шестой этаж в том же подъезде. В новой квартире, общей площадью 48 квадратных метров, было две комнаты, кухня, ванная и туалет.

Понадобилось три дня, чтобы перетащить мебель и вещи, которые не обменяли во время войны и не вынесли после обыска. Лифтер помочь отказался, и Святослав позвал самого сильного из своих институтских друзей. Предыдущий жилец, известный художник, график и карикатурист Михаил Куприянов, оставил квартиру совершенно пустой, если не считать сказочного рисунка, сделанного его дочерью на стеклянной вставке в

массивной деревянной двери, ведущей на кухню. Святослав с другом таскали стулья и матрасы вверх по лестнице, а в бывшую квартиру Прокофьевых въехал обласканный властью лауреат Сталинских премий художник Николай Соколов. Новый хозяин устроил ремонт, переделав квартиру до неузнаваемости. Соколов стер все следы пребывания прежних жильцов. В 1950 году Святослав написал матери в тюрьму: «…так грустно, что наша № 14 полностью исчезла»[480].

В 1949 году Святослав успешно защитил диплом и окончил архитектурный институт, но долго не мог найти работу из-за ареста матери. В конечном счете он устроился на скучную должность чертежника, позже в научно-исследовательском институте занимался переводом статей по строительству и архитектуре с английского и французского языков. Святославу, его жене Надежде и Олегу потребовалось несколько месяцев, чтобы устроиться в новой тесной квартире. Лина считала дни рождения и Новый год семейными праздниками, и теперь, без нее, эти дни были особенно грустными.

В соответствии с постановлением МГБ об аресте номер 3939 Лина некоторое время содержалась на Лубянке, а затем была переведена в Лефортовскую тюрьму, где провела в общей сложности девять с половиной месяцев. В течение трех с половиной месяцев ее непрерывно вызывали на допросы или дознания. Лину привезли на Лубянку, сфотографировали в профиль и анфас, запечатлев пристальный взгляд ее черных глаз, смотревших непокорно, с вызовом. Худая старая женщина приказала ей раздеться, а затем отрезала все крючки, пуговицы и молнии со свитера и платья. Лине выдали дважды подписанные квитанции, в которых говорилось об изъятии обнаруженных в кошельке 29 рублей 95 копеек, советского паспорта, наручных часов и браслета[481].

Серийные номера и название фирм – изготовителей драгоценностей были внесены в опись точно так же, как вещи, изъятые из квартиры. На следующий день Лину опять тщательно обыскали и нашли 5 тысяч рублей, которые она сумела спрятать на себе во время первого досмотра. Деньги отобрали и вручили ей очередную квитанцию. У Лины была небольшая температура, однако ее заставили принять холодный душ. Лина помнила, что напор был очень маленький – вода едва шла, когда она пыталась вымыть голову мылом против вшей. Затем сняли отпечатки пальцев и запихнули в крошечную камеру с низким потолком, в которой не было даже стула, не говоря уже о кровати. Выпрямиться в полный рост было невозможно. Лина слышала, как

звонит звонок, как фотографируют и обыскивают других заключенных. Почти все время Лина сидела в камере одна, но, когда накапливалось слишком много народу, к ней «подселяли» одного-двух человек, бросая дополнительные матрасы на пол. Первый обед в тюрьме состоял из кислого черного хлеба и кружки воды; позже ей дали тарелку «отвратительного» селедочного супа «цвета ржавчины».

Лина позвала охранника и сказала, что должна сообщить детям, что с ней случилось. Она несвязно пыталась объяснить, что скоро день рождения Святослава, ему исполняется 24 года, и она хотела отметить его по-особому. В ответ Лина услышала сухое и отрывистое: «Им сообщат»[482].

В поисках информации о пропавшей матери Святослав с Олегом обратились в учреждение, располагавшееся в старом замощенном переулке между улицей Горького и Лубянской площадью. Там им сообщили, что Лина переведена в Лефортовскую тюрьму на юго-востоке Москвы. На другой день Святослав и Олег сели на электричку и доехали до станции Перхушково. Автобусы не ходили, поэтому оставшиеся 14 километров до Николиной Горы они проделали пешком. Сыновья решили рассказать о случившемся отцу. Дверь открыла Мира, одетая в халат. Увидев Святослава с Олегом, испуганно отпрянула и, захлопнув дверь, побежала звать Сергея. Он вышел минут через пятнадцать, и сыновья сообщили ему, что произошло с матерью. Какое-то время они прохаживались по улице; Сергей задал пару вопросов; новость потрясла его, но он сам был в таком трудном положении, что не мог даже думать о том, чтобы попытаться помочь Лине. Мальчики обратились к Шостаковичу. Несмотря на то что Центральный комитет осудил композитора в постановлении от 10 февраля 1948 года, он имел влияние, будучи депутатом Верховного Совета СССР. Но дело попало в МГБ, и здесь он был бессилен.

Из-за постоянных массовых арестов структура МГБ разрослась до невероятных размеров. На допросы Лину возили на грузовике за город. Проходили они во временном, на скорую руку построенном здании. Через щелку в задней дверце грузовика Лина видела знакомые улицы рядом с домом, а когда ее высаживали из машины по прибытии на место назначения, слышала лай собак и краем глаза видела кур. На Лубянке ее допрашивали в разное время в помещениях, расположенных на четвертом и шестом этажах административного здания, смежного с тюрьмой. Допросы устраивали в длинных, узких комнатах с желтоватыми цементными полами и белыми или бледно-зелеными стенами. В каждом таком помещении был стол,

маленькое зарешеченное окно, табурет и пара вентиляционных отверстий, чтобы хоть как-то развеять запах дезинфицируюших средств и человеческого страха. В некоторых комнатах были паркетные полы, оставшиеся с тех спокойных времен, когда в здании размещалось страховое общество «Россия».

Четверо допрашивавших ее мужчин были полуобразованными головорезами, ничего не знавшими о мире за пределами Советского Союза. Жили они в убогих квартирах на маленькую зарплату, добывая дополнительные средства к существованию при помощи взяток и вымогательства. Работники лагерей, куда позже отправится Лина, следили за физическим состоянием заключенных, поскольку те должны были выполнять производственные нормы, однако перед сотрудниками МГБ ставилась другая задача – выбивать из арестованных признания. При этом никто не торопился. Использовались разные методы, от побоев до инъекций «сыворотки правды». Постоянное повторение этих страшных действий притупляло восприятие палачей, они сами полностью не осознавали, что творят, как не понимали и того, что в любой момент рискуют оказаться на месте своих жертв. Достаточно было доноса от подчиненного или начальника; одна волна послевоенных репрессий следовала за другой.

Одного из мучителей Лины звали Петр Маликов. Он родился в 1901 году в крестьянской семье в деревне Красовка, с 1919 по 1923 год служил в армии. Затем вступил в рабочий профсоюз в Саратове. Там же в 1927 году был принят в коммунистическую партию большевиков. Обучал грамоте крестьянок из своей деревни, а позже преподавал и вел семинары по истории партии. Приехав в Москву, Маликов поселился в коммунальной квартире, надзирал за строителями и механиками и параллельно работал в агитационно-пропагандистском секторе партийного комитета научно-исследовательского института. Маликов помогал директору Московского авиационно-ремонтного завода увольнять подозрительных рабочих; тем же самым он занимался на Нижнетагильском металлургическом заводе. «Дисциплинированный и политически грамотный» Маликов был награжден несколькими орденами и медалями[483]. На фотографии в личном деле можно увидеть сорокалетнего мужчину – тонкогубого, с остекленевшим взглядом, в застегнутом на все пуговицы костюме, полосатом галстуке и белой рубашке. Приподнятая левая бровь придает лицу скептическое выражение; взгляд пронизывающий, пристальный.

Среди товарищей Маликова был Николай Кулешов, который пришел на службу в политическую полицию (ГПУ) в 1933 году, после нескольких лет работы на московском металлургическом

заводе «Серп и молот». Во время войны он служил в Смерше (сокращение от «Смерть шпионам!») в Сталинграде и на Украинских фронтах. Он неплохо выполнял свои обязанности, но тяжелое детство непоправимым образом сказалось на его психике. Отец умер в 1917 или в 1918 году, когда ему было восемь или девять лет, и доведенная до нищеты мать отдала сына в приют. В биографии Кулешов указал, что у него нет ни братьев, ни сестер, в контакты с иностранцами ни разу не вступал и без колебаний готов выполнить любую порученную работу. На фотографии, датированной 1939 годом, Кулешов одет в форму сотрудника МГБ. Из-за стрижки ежиком он выглядит намного старше своих 30 лет. Лицо круглое, шея короткая и толстая. Кулешов производит впечатление человека более грубого и агрессивного, чем Маликов.

Вместе с другими двумя агентами они били Лину, оставляли в темноте, не давали спать, держали в холодном карцере, выворачивали руки и ноги и связывали их за спиной. Как-то Лину бросили в камеру, полную льда. Под этими немыслимыми пытками Лина призналась во всем, в чем ее обвиняли. В ее личном деле уже были подшиты доносы и сфабрикованные обвинения, но их авторы остались неизвестными. По всей вероятности, Миры среди них не было.

Лине были предъявлены обвинения по четырем статьям; первое – кража документа в Совинформбюро. Лина пыталась возразить, тщетно объясняя, что в ее обязанности переводчика не входила работа с секретными документами. Второе обвинение было связано с одним из многочисленных писем, которые она посылала за границу через доверенных лиц и посольства. Письмо было написано неким Шестопалом, инженером, мужем Сусанны Ротенберг, парижской подруги Лины, которая работала в Москве в «Союзинторгкино» (с 1945 года «Совэкспортфильм»). Организация занималась импортом и экспортом кинофильмов.

Лину обвиняли в том, что она пошла на сделку с иностранцами и в обмен на доставку письма адресату передала секретную информацию о заводе в городе Горьком. В письме Шостаковичу с просьбой разобраться в ее деле Лина подробно описала, в чем ее обвиняют, и рассказала о методах, используемых следователями. Сначала ее «расспросили» об отношениях с Шестопалом и его женой. Допросам подвергся и сам Шестопал, и в конце концов он «выдал» Лину. Затем следователи провели очную ставку, чтобы «разоблачить» ее. «Шестопал был в ужасном состоянии, его было не узнать, – рассказывала Лина, – он избегал смотреть мне в глаза. Наверняка он признался под пытками, что передал мне не только обычное

письмо, адресованное жене, но и какую-то информацию о заводе в Горьком… Я прочла это письмо и не нашла в нем ничего подозрительного, иначе не стала бы передавать его. Я считала Шестопала приличным человеком и не могу понять, как он мог сочинить, что у нас с его женой «заговорщические связи». Его жена не была антисоветчицей, и моя дружба с ней, учитывая ее возраст, была сродни отношениям матери с дочерью, и ничем более. Следователь кричал на меня после очной ставки и сказал, что я трусиха, и это станет причиной моей гибели»[484].

Лина много раз «признавалась» следователю, что в 1940 году действительно передала письмо Шестопала, но это было обычное письмо, в нем не было никаких секретных данных. Она отдала письмо француженке по имени Фанни (Теофания) Чипмен, 35-летней жене Норриса Чипмена, сотрудника американского посольства в Москве в конце 1930-х. По просьбе Лины Фанни отвезла письмо Шестопала в Париж в 1940 году и убедилась, что Сусанна Ротенберг его получила. Но Лина знала, что отправка и получение любых писем через дипломатические каналы иностранных государств является достаточным основанием для обвинения в измене. Однако она призналась, что пользовалась этими каналами, объяснив, что, прежде чем передать письмо, прочла его и убедилась, что в нем нет никаких антисоветских высказываний и секретных сведений. Лина также призналась, что отправила посылку Фанни Чипмен в Париж через Фредерика Рейнхардта.

День за днем ей задавали одни и те же вопросы, и Лина чувствовала, что это делается для того, чтобы свести ее с ума. Но самым серьезным было обвинение в ее упорном желании покинуть Советский Союз, воспользовавшись помощью сотрудников посольств иностранных государств. Помимо Чипменов и Рейнхардтов, в поле зрения агентов попали Анна Холдкрофт из британского посольства и несколько штатных сотрудников французского посольства. Кроме того, Лина посещала японское посольство, и там ее тоже видели. За ней давно была установлена слежка, и в МГБ были известны даты и время большинства ее встреч с иностранными дипломатами.

Лина безуспешно пыталась убедить следователей, что просто хотела навестить живущую в Париже больную мать. Ее желание повидаться с Ольгой было истолковано как предлог для бегства из страны, но это, конечно, было не так. Обращаясь с просьбами разрешить ей съездить в Париж, Лина всегда объясняла, что обязательно вернется, поскольку в Москве остаются ее сыновья. И все время подчеркивала, что была такой же иностранкой в Советском Союзе, как и те люди, с которыми она дружила и

общалась.

С Лубянки Лину перевели в Лефортовскую тюрьму, в камеру площадью четыре квадратных метра. Журналисты, описывающие тюрьму, рассказывают о трехэтажном здании в форме буквы «К» с желтыми кирпичными стенами и узкими лестницами. Одновременно там могли содержаться двести заключенных. Эти скудные описания только доказывают, как мало известно об этой тюрьме.

Историков лишали возможности изучать ее, и даже в музее истории района Лефортово о тюрьме нет никаких сведений. Жилой дом на Энергетической улице загораживает от проезжей части тюрьму, имеющую две проходные – одну со стороны Лефортовского Вала, вторую – с Энергетической улицы. К тюрьме примыкает Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ), который был создан в 1930 году по распоряжению Сталина[485]. Между жилыми домами и общежитием отметившего свое восьмидесятилетие института можно разглядеть толстую, покосившуюся внешнюю стену. И тюрьма, и территория общежития обнесены бетонным забором, над которым протянута в несколько рядов колючая проволока. Прожекторы и специальные металлические щиты призваны были скрыть все, что здесь происходило, даже звуки не доносились наружу.

Скудная информация о Лефортовской тюрьме взята из воспоминаний заключенных, попавших туда в 1930-1940-х годах и имевших счастье остаться в живых. Во время расстрелов и пыток по территории тюрьмы ездили трактора. Их шум и рев аэродинамической трубы ЦАГИ призваны были заглушить страшные звуки. Заключенные находились в изоляции, в камеру подсаживали осведомителей, работавших на МГБ. Рассказывают, что заключенных запирали в деревянных шкафах в коридорах, чтобы они не встречались друг с другом по дороге в туалет, в ванную или на допрос. Заключенные не должны были узнать план здания. Доходило до того, что в их присутствии охранникам нельзя было произносить ни слова.

Лине, обвиненной в преступлениях против государства, был запрещен контакт с внешним миром. Длительная изоляция, как и осознание того, что происходило вокруг, – пытки, расстрелы, самоубийства, – оказывали сильное влияние на ее психику. Она ничего этого не видела, но слышала страшные крики. Кроме того, следователи рассказывали ей о происходящем. Возможно, сыновьям разрешали оставлять передачи на проходной, выходящей на Лефортовский Вал, но ей их не передавали. Святослав с Олегом смогли увидеть мать, только когда ее перевели в лагерь. После смерти Сталина, как только был снят

запрет на посещение заключенных в лагерях, Олег первым приехал на свидание с Линой.

1 ноября 1948 года Лина предстала перед так называемой «тройкой», Военной коллегией Верховного суда СССР, и была приговорена по статье 58-1а (измена Родине) к двадцати годам исправительно-трудовых лагерей. Суд длился не более пятнадцати минут. Лина рассмеялась, когда услышала вердикт.

* * *

Кроме этой маленькой подробности – смеха после оглашения приговора, – Лина ничего не рассказывала о месяцах, предшествовавших суду. Святославу и Олегу были известны только отдельные, разрозненные детали, о которых Лина упоминала в бесчисленных, безрезультатных обращениях с просьбой пересмотреть ее дело. Лина отправляла их из исправительно-трудового лагеря в поселке Абезь Коми АССР. Помимо обращения, направленного Шостаковичу 28 февраля 1954 года, 27 мая того же года Лина обратилась с ходатайством к Генеральному прокурору СССР. На первой странице обоих документов она написала свой адрес 388/16б – номер ее почтового ящика в ГУЛАГе, где Лина провела шесть лет.

В ходатайстве прокурору Лина перечислила выдвинутые против нее обвинения, а затем довольно путано пыталась объяснить, что все они не имеют под собой основания. Помимо кражи, измены и незаконных контактов с иностранцами, ей пришлось подписать признание в том, что она является американской шпионкой, действовавшей в сговоре с мужем, антибольшевистски настроенным эмигрантом.

«Факты были искажены до неузнаваемости, – безуспешно пыталась восстановить справедливость Лина, – якобы они просто перевели «мой вздор» на язык закона. Они сказали мне: «Не будь дурой – подпиши признание. Мы знаем, что ты не шпионка, но тут уж ничего не поделаешь». Они запугивали меня, уверяя, что сломают жизнь моих детей. Следователь Зубов плевал мне в лицо и бил ногами. На протяжении трех с половиной месяцев, пока шло следствие, мне не давали спать ни днем ни ночью. Я была на грани безумия. Два дня из пяти меня заставляли стоять, мои ноги распухли как колоды. В мороз меня выводили на допросы во двор без верхней одежды. Ночами я слышала крики из кабинетов следователей в Лефортовской тюрьме. Следователь «утешал» меня, больную, сбитую с толку: «Не беспокойся, ты будешь

кричать еще громче, когда почувствуешь эту палку на своей заднице!» Меня постоянно запугивали, не стесняясь в выражениях. Лейтенант Кошелев называл моего мужа «белым эмигрантом», который накопил денег за границей, и если я стану отпираться, то буду строго наказана.

По окончании следствия я пыталась написать протест, хотела письменно изложить свою версию истории, но мне не позволили. Измученная всем случившимся со мной, находясь в тяжелом психическом состоянии после допросов, как я могла защитить себя? Разве странно, что после всего, о чем я написала выше, я была готова подписать любой протокол, даже понимая, что в нем нет ни слова правды?»[486]

Вот так она оказалась «опасной преступницей». 56-летняя Лина, находясь в слабом состоянии здоровья, попала в тяжелейшие условия. Она отстаивала свое право на реабилитацию и возвращение в цивилизованный мир; она рассказала свою биографию, подробно останавливаясь на выступлениях с мужем, «советским композитором С. П.», в Европе, Америке и советских посольствах. Она указала, что выступала в Московской филармонии, Харькове и Архангельске. Хотя «проблемы с нервами» вынудили ее рано уйти со сцены, Лина нашла утешение в жизни простой советской гражданки, занималась воспитанием детей и помогала мужу в его творческой работе[487].

Ее ходатайство было рассмотрено и отклонено 26 июня 1954 года, спустя месяц после получения. Лина осталась в бараках, расположенных у Северного полярного круга.

Глава 12

Почти не осталось следа от лагерей, где в течение восьми лет Лина боролась за жизнь, – как, впрочем, и от всей системы ГУЛАГа. ГУЛАГ – аббревиатура, которая переводится как Главное Управление ЛАГерей, точнее, Главное управление лагерей и мест заключения. Лагеря, разбросанные по всему Советскому Союзу, были объединены в систему, которой советский писатель Александр Солженицын, сам находившийся в заключении, дал ставшее нарицательным название «Архипелаг ГУЛАГ». Лагеря были неотъемлемой частью сталинских пятилетних планов, поскольку позволяли использовать подневольную силу для работы в местах с суровым климатом, куда никто не соглашался ехать по доброй воле.

Советские лагеря отличались от нацистских лагерей смерти – здесь не происходило массовых убийств. Но, несмотря на это, миллионы и миллионы ни в чем не повинных людей не выдерживали тяжкого труда, становясь жертвами беспощадного режима. Условия проживания были ужасны, работа налажена неэффективно, и производительность была низкой; по воспоминаниям одного заключенного, «техники не было никакой. Даже обыкновенные автомашины были редкостью». Согласно рассказам очевидцев и расследованиям, организованным правительством Российской Федерации, в ГУЛАГе нередко совершались убийства, изнасилования, самоубийства и акты садизма. Редкие часы отдыха отводились для повышения идеологической грамотности заключенных. В 1930-1940-х годах большинство из тех, кому удалось дожить до окончания срока, установленного приговором, были осуждены вторично или приговорены к расстрелу. Лине удалось выжить по нескольким причинам: она получала посылки от сыновей; уровень смертности среди женщин был ниже, чем среди мужчин; заключенным старшего возраста давали более легкую работу. Сыграли свою роль и удача, и сообразительность Лины, и ее брак с известным советским композитором. В конечном счете она вышла на свободу в результате изменений в политической системе СССР, произошедших после смерти Сталина. Вождь скончался 5 марта 1953 года – в тот же самый день умер Сергей.

Первые четыре года после вынесения приговора Лина провела в Инте, где находилось управление большой группы лагерных подразделений, разбросанных по пустынным северным равнинам. Затем Лину перевели в Абезьский лагерь, объединявший шесть лагерных подразделений: Ухтпечлаг, Севержелдорлаг, Печорлаг,

Северное управление, Минлаг и Воркутлаг. «Абезь» в переводе с имежского диалекта коми-зырянского языка означает «неряха», «неряшливый». В январе 1956 года, почти через два года после смерти Сталина, Лина была переведена на новое место, на этот раз в лагерь для иностранцев в поселке Потьма, к юго-востоку от Москвы. Спустя шесть месяцев ее освободили.

В Инте, на месте массовых захоронений, установлен памятник скорби «Пылающий крест» с надписью на трех языках – литовском, коми и русском: «Не вернувшимся»[488]. Это единственный монумент в городе, напоминающий о тех событиях. Темно-зеленый тепловоз медленно тянет состав из трех-четырех вагонов по железной дороге, ведущей в серый, ничем не примечательный город, расположенный рядом с крупнейшим месторождением энергетических углей. Этот город построен на костях – до сих пор во время весеннего таяния снега на берегах реки и в лесу обнаруживают человеческие останки.

Заключенные, строившие деревянные дома, шахты, единую энергосистему и железную дорогу, умирали от недоедания и переохлаждения. Отовсюду здесь заметна водонапорная башня, на которой можно увидеть местный герб. Летом промерзшая земля превращается в жидкую грязь, и электрические столбы причудливо наклоняются под разными углами. Железнодорожная станция Инта находится в 17 километрах от города, и между ними курсирует автобус номер 101, но центрального автовокзала здесь нет, поэтому добраться до места назначения весьма затруднительно. К более современным кирпичным пятиэтажкам в центре города можно подойти по деревянным настилам. По улицам бегают бездомные собаки и неприсмотренные дети. Туристическое агентство «Интатур» организует экскурсии по городу, Интинскому району, Приполярному и Полярному Уралу; желающие могут насладиться девственной природой огромного национального парка «Югыд ва»[489]. Туристы имеют возможность выбирать между двумя гостиницами, в одной из них всего один душ на шестьдесят пять постояльцев – впрочем, так много народу здесь никогда не бывает.

На поросших сорными травами равнинах Абези не сохранилось ни единой лагерной постройки. Когда-то здесь было шесть лагерей, два из них – женские. В каждом содержалось около 15 000 заключенных. Но в 1959 году все постройки – деревянные бараки, ограждения из колючей проволоки и сторожевые башни – по приказу из Москвы были снесены силами самих заключенных в тщетной попытке скрыть преступления сталинизма. Климатические условия тундры способствовали тому, что вскоре от лагеря не осталось ни следа. Именно опасная

местность, а не бдительность охраны удерживала от побегов заключенных, находившихся в Абезьском лагере в 1940-1950-х годах. Но переполненные, кишевшие насекомыми бараки не спасали от тяжелейших погодных условий, поскольку все эти постройки задумывались как временные. Теперь на этой земле, поросшей травой, кустарником и низкорослыми деревцами, остались только могилы, отмеченные колышками с деревянными табличками. Имен на них не писали, только буквы и цифры. Есть довольно высокий шест с табличкой, на которой написано: «Здесь была землянка могильщиков», и еще один с табличкой «Морг». Здесь находились не только умершие, но и умирающие[490].

Сейчас требуется почти два дня, чтобы преодолеть 1600 километров, отделяющих Инту от Москвы, – а если посчитать время, затраченное на пересадки, получится еще больше. В 1940-1950-х годах эта поездка длилась четверо суток. Из Москвы Лина была этапирована в Инту через Киров, расположенный примерно в 800 километрах от Москвы.

В Кировской области находился Вятлаг (Вятский исправительно-трудовой лагерь), один из самых больших лагерей в системе ГУЛАГ, в котором заключенные занимались лесозаготовкой. На пути из Москвы в Инту Киров стал для Лины первым этапом в ее превращении в безымянную заключенную исправительно-трудового лагеря, «зэчку». Самым страшным был первый момент, когда поезд, забитый осужденными – мужчинами, женщинами и, возможно, даже детьми, – медленно отошел от станции. Всех везли на товарных поездах. Одних запирали в пассажирских вагонах с решетками на окнах; другие ехали в вагонах для скота, с досками вместо кроватей. В центре стояла маленькая печь, а туалетом служила дыра, вырезанная в полу. Некоторых заключенных даже перевозили в клетках. Если поезд останавливался на пассажирских станциях, продукты покупали у местных, если нет – заключенные вынуждены были обходиться крошечными порциями соленой сушеной рыбы и промерзшего хлеба, вода была на вес золота. По прибытии в Киров их пересаживали из поезда в грузовики, везли в тюрьму и отправляли в камеры, которые наверняка напомнили Лине ее заточение в Лефортовской тюрьме.

22 ноября 1948 года Лина отправила девятнадцатилетнему Олегу и двадцатичетырехлетнему Святославу телеграмму из Кирова, в которой указала номер своего тюремного почтового ящика (22/23)[491] и написала несколько слов по-русски. Возможно, слова эти говорят о потрясении и растерянности, но, может быть, в них проявились сила духа и оптимизм Лины: «Жду вашего приезда. На свидание. Выясните в полиции. Целую.

Мама»[492]. Дети, конечно, не смогли ее навестить. Когда Олег, несмотря на слабое здоровье, предпринял трудную поездку в Инту, ему отказали в свидании. Система запрещала заключенным встречаться с родственниками; им не позволили увидеться даже на пару минут. Олег вернулся в Москву и еще долго не мог прийти в себя от этой поездки.

В декабре Лину отправили из Кирова в Автономную Советскую Социалистическую Республику Коми. Лагеря в Инте были известны под одним общим названием – Дубравный лагерь, а место, где располагались шахты, называлось Минеральным лагерем, навевая неуместные ассоциации с лечебными курортами Крыма. Именно в Минеральный и определили Лину. Ей выдали матрас и отвели место на изготовленных из досок нарах в тесном деревянном бараке для женщин. Наверху дышалось легче, чем внизу. Матрасы лежали впритык. Туалетом служила деревянная будка во дворе, а в сильные морозы для этой цели использовалось помойное ведро. Заключенные по мере сил старались поддерживать чистоту, чтобы не допустить распространения таких опасных болезней, как ботулизм. Зона, или территория тюрьмы, в которой находилась Лина, была частью огромного лагеря; заключенные работали в шахтах и строили первые здания города Инта. На соседних зонах, отгороженных стенами с колючей проволокой, содержались мужчины. Их и направляли в шахты. Труд был тяжелый, большинство мужчин были обречены. Женщины работали на расчистке дорог и штукатурили стены. Благодаря более легким обязанностям смертность среди женщин была гораздо ниже.

После ужасов, перенесенных в тюрьмах и поездах, Лина почувствовала облегчение, оказавшись в Инте. Ничто не могло быть хуже того, что она уже вынесла. Ее товарищами по лагерю были политические заключенные, признанные властями не слишком опасными, а также осведомители, воры и, возможно, те, кто работал в зоне, но жил за пределами лагеря. Были москвичи и ленинградцы, которые общались с иностранцами и, подобно Лине, были вынуждены признаться в шпионаже; крестьяне из Белоруссии и Украины, обвиненные в отказе принять участие в коллективизации или в пособничестве нацистам; были этнические эстонцы, латыши и литовцы, которых подозревали в антисоветских связях с немцами. Среди заключенных были как безграмотные, так и хорошо образованные – среди них была, например, окончившая Сорбонну дочь бывшего министра просвещения Латвии. Одна из москвичек[493] – переводчица, женщина высокой культуры – была поставлена сторожить

выгребную яму.

Вновь прибывших распределяли по баракам не сразу – иногда это происходило только через несколько дней. Лину первым делом заставили раздеться догола, осмотрели и отправили в баню. Многим приказывали побрить голову и волосы на теле, или же это делал лагерный парикмахер. После медосмотра Лине выдали обычную лагерную форму: валенки с галошами, которые были ей велики, поношенный ватник, косынку и несколько пар бывшего в употреблении нижнего белья; на спине ватника был ее лагерный номер. Лина заняла свое место в бараке для женщин, отбывавших двадцатилетний срок за измену Родине. На территории зоны разрешалось надевать вещи, которые присылали из дома, но за ее пределами заключенные обязаны были носить лагерную форму.

Выйдя из бани, Лина увидела Инну Черницкую, бывшую русскую сотрудницу британского посольства в Москве, с которой она познакомилась в 1944 году в гостинице «Метрополь». Когда Черницкую арестовали, ей было всего 23 года. Ее забрали в том же месяце и в том же году, что и Лину. В час ночи постучали в дверь, и на вопрос «Кто там?» она услышала: «Откройте, проверка документов!»[494] У мужчин, вошедших в квартиру, были грязные ботинки. «Когда вернусь домой, надо будет вымыть полы», – подумала про себя Инна. Вернулась она через восемь лет. Инна, как Лина, прошла через допросы, на которых ее заставляли подробнейшим образом рассказывать о якобы совершенных преступлениях против Родины. Повторяя эти выдуманные истории по многу раз, она забывала, о чем говорила раньше, и опускала или добавляла какие-то детали, что позволяло следователям использовать эти оговорки против нее. В сделанных под давлением признаниях не было ни слова правды, поэтому Инна путалась в выдуманных показаниях. Увы, данное обстоятельство только усугубило ее положение. Когда Инну доставили на Лубянку, один из сопровождавших ее процитировал Данте: «Оставь надежду, всяк сюда входящий»[495]. Ее вещи были переданы в специальный магазин, где их по сниженным ценам могли купить жены и любовницы государственных чиновников.

Как и Лине, ей пришлось пережить и тяжелую дорогу, и унижения по приезде. Теперь две эти женщины, не в силах сдержать чувств, обнимались и целовались, не чувствуя мороза. Инна, прибывшая в лагерь на несколько месяцев раньше Лины, хорошо изучила порядки на зоне. Какое-то время Инна работала в каптерке (на продуктовом складе) – выдавала порции риса и изюма, а также то немногое, что оставалось от посылок после того, как свою долю забирали охранники. У Инны было слабое

зрение, а очки она то ли потеряла, то ли сломала, поэтому ей не разрешалось выходить за территорию зоны. Таким образом, Инна не принимала участия в строительстве шахт, которые продолжают работать в наши дни. Если бы Инна сделала хоть шаг за ворота, ее бы расстреляли на месте, не тратя времени на то, чтобы разобраться. Она хорошо запомнила приказ конвою: «Шаг вправо, шаг влево считается попыткой к бегству, стрелять без предупреждения»[496]. Инна, по крайней мере, сумела расположить к себе охранников и могла рассчитывать на то, что теперь у них не поднимется рука в нее выстрелить.

19 декабря 1948 года Лина отправила письмо сыновьям, исписав четыре страницы мелким почерком – заключенным разрешалось писать не более двух писем в месяц. Она сообщила, что «чувствует себя немного лучше» после месяца, проведенного в Инте[497]. Лина постепенно приходила в себя после шестинедельной поездки на север, и, хотя физически она полностью оправилась, до конца жизни ее мучили кошмары, связанные с этой поездкой. Лина писала о сильных морозах – минус 47 градусов по Цельсию. Впрочем, в этих местах температура могла опуститься и ниже. Ослепительный свет солнца, поднимающегося над пустынным субарктическим горизонтом, навевает воспоминания о восходе солнца из «Скифской сюиты». Темнело здесь рано, уже к двум часам дня, поэтому определять время было трудно. Воздух «очень хороший», но слепящие, завывающие вьюги случаются часто – подробность, свидетельствующая о том, что она работала на улице[498]. В конце года она три недели тяжело болела. После этого работала в лагерной больнице, бóльшую часть персонала которой составляли заключенные, и выполняла секретарские обязанности, возложенные на нее лагерной администрацией. Также Лина мимоходом упоминает, что работала на швейной фабрике шесть дней в неделю.

Она не рассказывала о распорядке дня, но, скорее всего, ее рабочий день составлял 8-10 часов, и она ела дважды в день в общей столовой. На завтрак давали овсянку или селедку с черным хлебом, а на обед – жидкий суп, баланду. Заключенным в обязательном порядке давали дрожжевой напиток от цинги. Расчистка дорог и строительство были каторжной работой; бочки, ведра и лопаты превратились для женщин в орудия медленной пытки.

С учетом ее возраста и физических возможностей Лине поручили более легкую работу, чем остальным женщинам, но все же к концу дня она валилась с ног от усталости. Лина вела борьбу

с клопами и вшами в бараках, когда остальные уходили на работу, в столовую или в баню. Лина испытывала боли в позвоночнике, вскоре спина ее сгорбилась, а походка стала медленнее. Но, несмотря ни на что, она сохраняла достоинство, даже когда чистила уборные. Лина постоянно была настроена на добро и красоту, любила и умела общаться с людьми. Нередко, страдая от одиночества, она стояла где-нибудь между бараками (хождения из барака в барак не поощрялись) или шла туда, где можно было общаться, – в индивидуальную кухню, где разрешалось вскипятить присланный из дому чай, в библиотеку, чтобы с кем-нибудь поговорить. Особенно хотелось ей поговорить по-французски. Очень любила вспоминать Париж, свои путешествия с Сергеем Сергеевичем. Правда, так она его никогда не называла, а говорила всегда «Прокофьев»… Одно время она была приставлена к баку с помоями, их нужно было вывозить далеко в лес на тележке. По пути Лина Ивановна любила что-нибудь рассказывать, увлекалась, начинала жестикулировать, забывшись, бросала поручень тачки и с восторгом продолжала путь, вспоминая Париж, свои выступления на сцене и не обращая внимания на то, что другие мрачно толкают потяжелевшую тачку»[499]. Лина любила заводить «интеллектуальные разговоры» с другими заключенными из своей бригады. Одна женщина изучала астрономию, могла показать и назвать звезды и планеты; другая рассказывала о творчестве Толстого, а третья – о творчестве французских писателей, Оноре де Бальзака и Мари-Анри Бейля. Лина, конечно, делилась своими знаниями о музыке.

Как ни странно, но в ГУЛАГе Лина снова занялась музыкой. В Инте велась культурно-просветительная работа, в которой принимали участие и профессионалы и любители. Актеров, певцов и танцоров частично освобождали от каторжных работ для участия в агитационно-пропагандистских спектаклях. Зрителями были охранники и заключенные. Спектакли и даже оперные концерты проходили в столовой или в клубе; там же устраивали выставки плакатов, рисунков и читали политинформации. Некоторые заключенные отказывались принимать участие в этой работе из принципиальных соображений, но большинство хватались за шанс выжить. Лина была среди них. Заключенным разрешалось создавать хоры и инструментальные ансамбли; лагерное начальство считало, что подобные мероприятия хорошо мотивируют заключенных – те стараются выполнить как можно больше работы днем, чтобы вечером иметь возможность насладиться культурной программой. Принимавшие участие в культурно-просветительной работе проводили меньше времени на трудовом фронте и часто использовали свои дополнительные

обязанности как повод добиться различных уступок и послаблений. Некоторых заключенных, чьи артистические таланты произвели особенно яркое впечатление, нередко назначали на более легкие участки работ[500].

Иногда культурное образование в ГУЛАГе принимало иные формы. Изредка заключенным показывали фильмы о Ленине, героях Коминтерна и победе над нацистами. Это была своего рода награда перевыполнившим норму на лесозаготовках и в шахтах. Но кинопроекторы часто ломались, а запасные части было трудно найти. В 1940-1950-х годах более крупные лагеря были радиофицированы, в остальных распространяли агитационные бюллетени, в которых хвастливо сообщали о достижениях и клеймили недостатки заключенных в тюрьму строителей коммунизма. Заключенные, спасаясь от высокопарных речей, находили утешение в настольных играх. Ни спортзала, ни необходимого инвентаря в Инте не было, однако, согласно постановлению правительства, спорт являлся составной частью идеологического перевоспитания. То обстоятельство, что заключенные занимаются непосильным трудом и получают крайне скудное питание, видимо, упустили из вида.

Лина попросила включить ее в состав организованного в Инте оркестра. Это был причудливый ансамбль, состоявший из певцов, музыкантов симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. Часть инструментов заключенным привезли, остальные были сделаны своими руками. Лина должна была петь в новогоднем концерте, но из-за болезни вынуждена была пропустить его. Лина подробно писала о выступлениях, что свидетельствует о том, как рада она была найти хоть какую-то отдушину. Однако бодрые описания показывали, что Лина играла роль – не столько ради сыновей, сколько для цензора, читавшего письма. Лина старалась не жаловаться и больше писать о хорошем. Помимо «смешанных инструментов, – сообщает она, – есть хор, скрипки, флейты, аккордеоны, концертино, гитара, очень хороший дирижер и мужской хор, и, по всей вероятности, я буду выступать с ними»[501].

Позже она упомянула гобой, валторну и барабаны. Лагерь был женский, и «мужской хор» состоял или из охранников, или из заключенных из соседнего мужского лагеря. Один из скрипачей был особенно востребован, поскольку умел мастерить музыкальные инструменты. «Он сделал скрипку, на ней играют в оркестре, и она неплохо звучит. Теперь он делает бас-гитару, но здесь, конечно, нет струн, поэтому вы должны прислать струны. Я понимаю, что это трудновыполнимая просьба, но это очень нужно»[502].

Она просила сыновей прислать ноты оперных арий и песен, с которыми собиралась выступать, в том числе арии из советских оперетт, песни из новых советских фильмов, вальсы Штрауса для сопрано, арии из оперы Дворжака «Русалка», «Богемы» Пуччини и «Мадам Баттерфляй» и «Сорочинской ярмарки» Мусоргского. В свой репертуар Лина включила трогательную песню о любви – «Желание» Шопена. Героиня песни, юная девушка, мечтает стать то солнышком, то птичкой, чтобы радовать своего возлюбленного. Последняя строка имела для исполнительницы особый смысл. «Почему я не могу превратиться в птицу?» – с тоской спрашивала Лина[503].

Хотя за прошедшие годы Лина почти потеряла голос, в Абези она пела в ансамбле, который даже отправлялся в нечто вроде «гастролей» по соседним лагерям. Когда голос пропал окончательно, Лина стала дирижировать хором «широкими жестами и широко разведенными руками»[504]. К тому времени в лагере уже не было не то что оркестра, но даже и аккордеониста.

В ноябре 1955 года она дирижировала хором на нескольких концертах в солдатском клубе. Женщины-заключенные исполняли революционные песни, солдаты аккомпанировали на медных духовых инструментах. Сидевший в лагере музыковед Давид Рабинович потихоньку передал Лине записку, в которой давал профессиональный совет. Лина дирижировала так, словно перед ней был «большой оркестр, а хором следует дирижировать скупыми жестами, держа руки перед собой»[505].

Лина постоянно просила сыновей прислать ноты, добавив к списку песню-плач, «Я пойду по полю» из фильма «Александр Невский».

* * *

Судя по последней просьбе, вначале она не верила, что Прокофьева арестовали. Но его молчание в конечном счете заставило ее прийти к такому заключению. На самом деле его не только не арестовали, но даже ни разу не вызывали к следователю. Композитор провел последние годы жизни довольно уединенно на даче на Николиной Горе; после нескольких инсультов он мог посвящать работе не более двух часов в день. Незадолго до преждевременной кончины, в последнюю неделю жизни он признался Мире Мендельсон, что «душа болит»[506].

Лина, конечно, просила сыновей прислать не только ноты. Продукты, естественно, были важнее всего; кроме того, в число предметов первой необходимости входила одежда. Лине сказали,

что на продукты нет никаких ограничений – вероятно, по той причине, что львиную долю содержимого посылок забирали охранники. Некоторую часть «конфискованного» они готовы были обменять на вещи или услуги. Местные жители продавали еду обитателям ГУЛАГа, но Лина не хотела, чтобы ей отправляли деньги, – по крайней мере, поначалу, поскольку знала, что их все равно отберут. Лина писала, чтобы ей прислали масло, сахар и витамины – «А, С, B_1, B_2 и, даже лучше, мультивитамины»[507]. Еще она просила рыбий жир, таблетки глюкозы, синестрол в ампулах, а также иглы и шприцы для подкожных инъекций. Синестрол, среди прочего, использовался как средство от выпадения волос.

Для борьбы с холодом организму необходима жирная пища. Лине нужны были масло, сало, грудинка и колбаса, а также лук и чеснок – для профилактики простудных заболеваний и цинги. Лина объяснила сыновьям, что они должны тщательно запаковать посылку, чтобы защитить лук, чеснок, а также другие овощи и сухофрукты от промерзания. Тюремная баланда, для приготовления которой в горячую воду бросали овсяную крупу, корешки или рыбные кости, была совершенно безвкусной, поэтому Лина включила в список соль и перец. Лине нужны были миска, кружка и ложка, поскольку посуды катастрофически не хватало – иногда заключенным приходилось делиться друг с другом.

Кроме того, Лина просила собрать для нее свежее постельное белье, а также платья и блузки. Кроме того, хотела, чтобы сыновья положили в посылку несколько своих рубашек, толстые свитера и пуловер, который Дженни Марлинг подарила Святославу перед отъездом в Калифорнию, – Лина скучала по сыновьям и хотела получить что-то, напоминающее о них, но эти вещи могли пригодиться и по чисто практическим причинам. Хотя охранники запрещали проносить в барак продукты, они смотрели сквозь пальцы на чаепития, время от времени устраиваемые заключенными. Не возражали они и против кофе с конфетами, поэтому Лина попросила прислать ей маленький кофейник. Для обмена с охранниками и другими заключенными ей нужны были папиросы, табак и папиросная бумага; в лагере все это было на вес золота, как и косметические средства, которые Лина тоже просила прислать. Чтобы не опуститься, необходимо хорошо выглядеть, но в лагере следить за собой было трудно, не в последнюю очередь потому, что зеркала там отсутствовали – заключенные могли использовать осколки как оружие. Лина просила Святослава и Олега прислать что-нибудь для защиты кожи от холода. Среди других заключенных Лина

отличалась находчивостью и изобретательностью и научилась делать крем для лица из картошки. Она тайком проносила продукты в барак и готовила на печке, которая топилась углем. По примеру украинских крестьянок, коротавших время за шитьем и вышиванием, Лина тоже стала делать иголки из рыбьих костей и вскоре научилась всему, что умели соседки. В лагере она сшила мешок и украсила его вышивкой – украинским ромбовидным узором[508]. Ткань прислали сыновья.

Лина просила прощения за то, что письмо состоит из одних просьб и больше напоминает список покупок. «Но что делать, у меня нет другого выхода», – объясняет она. Без помощи с воли выжить в лагере было трудно[509]. Последний лист этого четырехстраничного письма заполнен вопросами о самом главном – жизни сыновей. Лина хотела знать все, новости от сыновей скрашивали серые будни лагерной жизни. Их письма позволяли хоть ненадолго забыться и давали силы надеяться на будущее. Вспоминая, как они отмечали дни рождения всей семьей, Лина воображала, как празднует недавний день рождения Олега вместе с сыном. В 1947 году Олег окончил среднюю школу номер 110 и продолжил обучение в Московском педагогическом институте, одновременно беря уроки у русского художника-авангардиста Роберта Фалька. В 1952 году Олег поступил в аспирантуру педагогического института, а впоследствии стал известным художником и скульптором, признанным Академией художеств СССР. Лина попросила начинающего художника нарисовать портрет, свой и брата, или прислать фотографию[510]. В лагере она встретила художника, но у него нет красок. Не мог бы Олег прислать несколько тюбиков масляной краски?

Лина оставалась для детей все той же строгой матерью; напоминала, чтобы они продолжали играть на рояле, читали, ходили на концерты, не тратили попусту время, веселясь в сомнительных компаниях, и учились на собственных ошибках. Позже она убеждала Олега хорошо питаться – он сильно похудел, когда ему было чуть больше двадцати. Лина передала поздравления своей бывшей домработнице Фросе, недавно вышедшей замуж, и интересовалась, удалось ли Виктории, одной из ее иностранных подруг, уехать из Советского Союза – рискованный вопрос, который мог увеличить срок пребывания в лагере. «Бабушка не писала?» – с надеждой спрашивала Лина[511]. У мальчиков не было никакой информации об Ольге, и Лина умоляла их попытаться связаться с бабушкой, жившей в Париже. Сыновья старались это сделать, но все попытки были тщетны.

Писательница Евгения Таратута, которая познакомилась с Линой в лагере в Абези, вспоминала, что Лина «не верила по-

настоящему в то, что с ней происходило, не верила, что это надолго, и в свой двадцатилетний срок не верила совсем»[512]. Возможно, в этом ей помогали принципы Христианской науки. Лина никогда не говорила о разводе; похоже, не верила, что ее браку пришел конец, хотя они с Сергеем начали жить отдельно почти десять лет назад. Лина продолжала любить своего мужа. Даже если он не мог помочь ей выйти на свободу, она хотела, чтобы он поддержал ее. Стремясь найти повод для общения, Лина велела сыновьям, чтобы сходили к отцу и спросили совета, как адаптировать его произведения для смешанного ансамбля ГУЛАГа. Письмо заканчивалось, как будут заканчиваться все ее письма, вопросом о здоровье «папы» (Сергея) и просьбой передать ему, что она его обнимает[513]. Увы, надеяться на взаимность не приходилось.

Лина довольно часто получала посылки из дома и делилась продуктами с Черницкой, Таратутой и другими женщинами; табак охранники забирали, а вместе с ним и многое другое. В следующем письме, отправленном 31 октября 1949 года, Лина повторила просьбу относительно нот и части продуктов. Очевидно, она получила песню из «Александра Невского», более подходящую для ее севшего голоса, чем арии Пуччини и Мусоргского. В этом письме содержится новый список необходимых вещей: свечи, марля, мешковина и «глюкоза в ампулах для инъекций» (последний пункт подчеркнут)[514].

Иногда отправлять письма разрешали реже, иногда чаще, поэтому Лина с особым нетерпением ждала писем от сыновей. Дням, когда приносили почту, радовались больше, чем редким выходным. Лина жаловалась, что мальчики пишут редко и очень коротко – по всей вероятности, опасаясь цензуры. «Возможно, в этом не всегда была их вина: те заключенные, кто был покрепче, убирали дома, где жила охрана, и часто находили выброшенные пачки писем, адресованные заключенным», – объясняет Таратута[515]. «Лина Ивановна скучала по детям, хотя складывалось впечатление, что в своей прежней жизни она ими не очень много занималась. Конечно, она томилась больше других. Южанка, уроженка Испании, она невыносимо страдала от страшных морозов; кроме того, в лагерь она попала из условий комфортабельной жизни, незнакомой большинству заключенных»[516].

Когда приходили посылки, Лина расписывалась в получении. К примеру, забирая посылку 16 июня 1950 года, Лина написала: «Подтверждаю получение посылки № 121. Стоимость – бесценна»[517]. Далее следуют подписи Лины и охранника, передавшего ей коробку. Сохранилась квитанция от 1 апреля 1953

года, согласно которой стоимость посылки составляет 100 рублей. Судя по адресу, Лину уже перевели из Инты в Абезь.

В Абези Лина продолжала принимать участие в самодеятельности. Как «жену нашего великого композитора Прокофьева», ее наградили особым «инвалидным» статусом, сократив рабочую нагрузку, благодаря чему Лина могла уделять больше времени культурно-просветительной работе на зоне и за ее пределами, в доме культуры[518]. Последний находился в деревне неподалеку от лагеря, где вместе с семьями жили охранники. По воспоминаниям Таратуты, «в лагере была культурно-воспитательная часть (КВЧ) при библиотеке, где заключенные пели хором, а некоторые молодые женщины и соло. Основу репертуара составляли песни – народные, из популярных кинофильмов («Каким ты был, таким остался»), что-нибудь из репертуара Шульженко – кажется, «Руки». Пели по памяти. Ни нот, ни инструментов, аккомпанемент – балалайка. Лина Ивановна пела в хоре. Голоса у нее почти никакого уже не было, и она очень жалела, что он пропал»[519]. Ансамбль организовала украинская балерина Тамара Веракса[520], осужденная по той же статье (58-1а), что и Лина. После войны Веракса выступала в советских лагерях для немецких военнопленных и за это была обвинена в пособничестве фашистам.

Иногда песни исполнялись под аккомпанемент аккордеона, на котором играл талантливый пианист. По удивительному совпадению, этот человек учился у бывшего ученика Прокофьева. После работы женщины репетировали в библиотеке, «почти падая от усталости»[521]. Однако отказываться от участия в самодеятельности не хотел никто. Они исполняли оперные арии и даже поставили «Фауста» Шарля Гуно – реквизита не было, играли в лагерной форме, мужские роли исполняли женщины. В Абези при доме культуры был театр, в котором четыре раза в неделю артисты, обвиненные в политических преступлениях, давали спектакли. Ставили одобренную начальством классику, а в свободное время помогали организовать художественную самодеятельность в деревне. Одним из таких находившихся на привилегированном положении педагогов была Лина.

С тех времен сохранилась только одна фотография Лины, и на ней запечатлен один из таких спектаклей. Фотография сделана в Абези 29 июня 1955 года. Ни один из ныне живущих членов семьи Прокофьевых не смог объяснить, откуда взялась эта фотография. Снимок выглядит довольно странно – Лина сидит на возвышении, на узкой деревянной скамье, а за спиной виднеются две невысокие березы. На Лине полинявшее, застиранное платье в серую полоску, руки на спинке скамейки. Она смотрит вдаль,

явно пытаясь передать какие-то чувства, но ей это не удается. Фотографию обрамляет широкая белая полоса с узорами; скорее всего, это официальная фотография, сделанная для отчета о проведении культурно-массовой работы в лагерях. На фотографии сцена из спектакля, поставленного в Абези. Лина на сцене ГУЛАГа.

Воспоминания женщин, которые были с Линой в лагерях, сильно отличаются, поэтому восстановить точный порядок событий трудно. Черницкая, к примеру, рассказывала, что Олег приезжал на свидание к Лине в Абезь до смерти Сталина, но на самом деле ему удалось получить разрешение только после кончины вождя. Черницкая вспоминала, что духи были запрещены, и политическим заключенным «не дозволялось произносить слова «Родина» и «Сталин»[522]. Когда Черницкую выпускали из лагеря, с ее формы сняли номер и под страхом смерти приказали забыть его.

В рассказах Таратуты тоже присутствуют неточности. Ее отправили в лагеря по обвинению в шпионаже в 1937 году, но Таратута была амнистирована за три года до окончания срока в 1954 году. По ее воспоминаниям, Лина была доброй женщиной, очень заботилась о личной гигиене и скучала по близким.

По воспоминаниям еще одного свидетеля, писателя Владимира Пентюхова, начальницу женской колонии в Абези звали майор Баба или Бабушка. «Это была пожилая высокая и тощая грудью женщина, по слухам старая дева. И еще говорили, что в девичестве она отбывала срок за какое-то хулиганство, а когда отбыла, устроилась на работу в ВОХР по охране заключенных. На этой службе она в чем-то отличилась, и ее перевели в женский лагерь надзирательницей. Там она доросла сначала до начальника надзорслужбы, а еще спустя какое-то время ее приняли в партию и назначили начальницей женской колонии. С тех пор и начальствует. И это у нее неплохо получается, поскольку ее коллектив работает без замечаний по работе и по быту»[523]. С какого-то времени майор Баба сняла ограничение на количество писем, которое разрешалось отправлять из лагеря, и Лина стала писать сыновьям чаще. Вести переписку со знакомыми не следовало, поскольку письмо, полученное от «врага народа», могло навлечь на адресата беду – его могли арестовать за участие в тайном сговоре. Лина не писала Сергею, и он не писал ей, но посылал деньги через Святослава и Олега. Лина грезила о нем, и однажды ей даже показалось, что она видела его в бригаде мужчин-заключенных. Он, вероятно, арестован из-за нее, решила Лина. Это было в 1953 году, незадолго до того, как Сергей скончался от внезапного

обширного инсульта. После этого она часто видела его во сне, «улыбающегося и говорящего со мной и стремящегося сказать мне что-то важное, но о чем, я не знаю»[524].

Лина узнала о смерти мужа от одной из заключенных, которая была в библиотеке, когда по радио объявили, что «в Аргентине состоялся концерт памяти композитора Прокофьева. Лина Ивановна заплакала и, ни слова не говоря, пошла прочь»[525].

13 октября пришло подробное письмо от Святослава. Он поздравил мать с наступающим днем рождения – в Абезьском лагере Лине исполнилось 56 лет – и подробно рассказал обо всех новостях из своей жизни и жизни брата. Они с женой совершили поездку по Северному Кавказу и расписали стены своей комнаты в квартире; Олег женился на Софье Коровиной, детской писательнице, и они ждут ребенка. В январе 1954 года у Олега родился сын, Сергей Олегович Прокофьев, и Лина стала бабушкой. Святослав сообщил об отличной учебе Олега в педагогическом институте.

Затем Святослав неохотно сообщает о смерти отца, признавшись, что до сих пор не может прийти в себя. «5 марта папа был весел и хорошо чувствовал себя. Он работал над последними замечаниями к «Каменному цветку» – балет «Сказ о каменном цветке» – в связи с началом репетиций в Большом театре. Он даже выходил на прогулку с женой доктора. Но вечером он слег с ужасной головной болью, и ему становилось все труднее дышать. Паралич дыхания, кровоизлияние в мозг. Он долго не мучился – все произошло в течение часа»[526]. Следующую строку невозможно разобрать, она была зачеркнута цензором. К счастью, у Святослава сохранился черновик письма. Вот эта строка: «И ужасное – трагическое – совпадение: папа умер в тот же день и час, что и Сталин, – 5 марта в 9 вечера»[527]. В зачеркнутой цензором фразе можно было разобрать только слово «трагическое»[528].

Святослав рассказывал о приготовлениях к похоронам и высказал сожаление, что их с братом не вызвали раньше, и они не успели повидаться с отцом перед смертью. Жалел Святослав и о том, что в последние несколько лет они редко виделись. (В том, что им не дали знать, что отец умирает, Святослав обвинил Миру, однако во втором печалившем его обстоятельстве она была не виновата – Мира не препятствовала общению отца с сыновьями. Прокофьев был похоронен на Новодевичьем кладбище, а Сталин – в Мавзолее. По понятной причине в день прощания с Прокофьевым, 7 марта, в Центральном доме композиторов не было цветов. Один из соседей Прокофьева принес цветы в

горшках – это были живые, а не мертвые цветы. По словам Святослава, музыканты со всех концов мира присылали телеграммы и письма с соболезнованиями, но, «к сожалению, их посылали на другой адрес» – на адрес Миры[529]. Он написал, что они с Надеждой ходили на концерты, посвященные памяти отца, что один из них вызвал воспоминание о концерте в ноябре 1937 года, когда Лина пела «Гадкого утенка», а дирижировал Сергей. Письмо заканчивалось сообщением, что Святослав отправил Лине посылку с нотами оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова и продуктами. Они с Олегом по очереди отправляли матери в Абезь посылки с продуктами и одеждой.

Святослав с Олегом делали все возможное, чтобы добиться освобождения матери; писали ходатайства генеральному прокурору и в Министерство внутренних дел (бывший НКВД)[530]. В июне 1953 года от своего имени и от имени брата Олег отправил первое из ходатайств Лаврентию Берии, вдохновителю репрессий и ГУЛАГа. Всего через несколько дней после этого Берия и сам был арестован – очевидно, по приказу Хрущева[531]. Во славу коммунистической партии Берия руководил массовыми убийствами, изобретал методы пыток и получал садистское наслаждение, насилуя женщин-подозреваемых. Братья вынуждены были отправить ходатайство о пересмотре Лининого дела этому чудовищу, и отказ пришел уже через несколько дней после получения. Берия даже не рассматривал письма, в которых шла речь о судебной ошибке.

Олег, как и полагалось, написал, что не замечал ничего подозрительного в поведении матери, а отец, «лауреат Сталинских премий и народный артист РСФСР», умерший 5 марта 1953 года, «к сожалению, не смог осуществить свое желание обратиться с просьбой от имени мамы»[532]. Весной 1954 года Лина сама отправила запрос о пересмотре дела и получила отказ, поскольку обратилась не к тому человеку – Шостакович уже не был депутатом Верховного Совета РСФСР.

Летом Олег отдыхал в Коктебеле, в Крыму, и познакомился с Лией Соломоновной[533], женщиной, которая два с половиной года была вместе с Линой в Абезьском лагере. От нее он узнал, что Лину перевели в подразделение с более щадящими условиями. Кроме того, Лине сократили срок. Святослав с Олегом почти ничего не знали о деле матери и не были уверены, когда Лину должны выпустить. «Ее приговорили к 20 годам, – написал Олег брату. – В соответствии с постановлением срок сокращен в три раза – вот и считай, – хотя это все равно много»[534].

Однако была и хорошая новость – в новом лагере заключенных не отправляли на тяжелые работы. «Это, конечно, не

санаторий», – объяснила Лия Олегу. Лагерь переполнен, условия отвратительные, но, «по крайней мере, не каторжный»[535]. После шести трудных лет жизнь наконец стала легче. Лина выполняла канцелярскую работу и пела народные песни – последние считались частью идеологического воспитания заключенных. Лина обучала пению трех женщин, разучивая с ними оперные арии. Ей разрешили читать газеты и книги – некоторые даже на иностранных языках. Это, конечно, были существенные послабления, однако и теперь Лина в каждом письме просила сыновей сделать все, «вытащить ее отсюда»[536].

После смерти Сталина от кровоизлияния в мозг новый советский лидер, Никита Хрущев, первым делом занялся рассмотрением совершенных им преступлений. Хрущев осудил репрессии, совершенные режимом, – сначала была создана комиссия по пересмотру дел заключенных, страдавших тяжелыми заболеваниями, затем в 1956 году на XX съезде КПСС был прочитан «секретный доклад» «О культе личности и его последствиях», который был посвящен осуждению культа личности Сталина. Лия сказала, что комиссия не рассматривала дело Лины, хотя та вполне попадала под определение «больной» – Лина страдала от артрита и хориодита, воспаления сосудистой оболочки глаза. Олег должен быть доволен, сказала Лия, что его мать относительно крепка и здорова, а значит, в состоянии дождаться освобождения.

20 сентября 1954 года Олег решил предпринять новую попытку повидаться с матерью. У него было четыре свидания с Линой, каждое из которых длилось три часа. Она не сильно изменилась, даже не поседела. Олег впервые услышал историю ее ареста и узнал, каким образом ей вынесли приговор – в результате «несправедливых обвинений (мы такого и вообразить не могли) и чудовищного коварства»[537]. Он вздохнул с облегчением, узнав, что ее жизнь за последний год стала легче – хотя «все относительно» – и есть надежда, что по состоянию здоровья Лину переведут в лагерь для инвалидов, расположенный ближе к Москве[538].

Спустя шестнадцать месяцев, 5 января 1956 года, Лина отправила телеграмму, в которой сообщила сыновьям, что ожидает отправки в лагерь в Мордовию. Лагеря в Абези были ликвидированы. Теперь она будет находиться всего в 8-10 часах езды от Москвы. В том же месяце ее перевели в один из трех женских лагерей для пожилых и имеющих проблемы со здоровьем. Располагался лагерь в Явасе, примерно в сорока километрах от Потьмы, поселка, численность населения которого

в настоящее время насчитывает 4100 человек. Министерство внутренних дел фактически закрепило за Явасом почтовый адрес только в мае 1948 года, через три месяца после того, как Сталин приказал начать строительство особых лагерей и тюрем, предназначенных для якобы опасных политических преступников. Теперь Лине следовало писать и отправлять посылки на почту Яваса, ей был присвоен номер 385/14.

До смерти Сталина и начала ликвидации ГУЛАГа в 1954 году большинство из примерно 3 тысяч женщин в Явасской зоне – общая численность заключенных составляла 23 тысячи человек – трудились на фабриках и заводах, на животноводческих фермах и в колхозах. Тех, кто отлынивал от работы, били, часами заставляли маршировать, лишали сна. На протяжении многих лет рабочие, не получавшие жалованья, производили все, от обуви до костяшек домино и железнодорожных шпал. В женских лагерях от работы освобождались только беременные и кормящие; для матерей с младенцами предназначались отдельные бараки. Хотя мужчины и женщины жили в разных бараках, они могли общаться между собой. В летописи ГУЛАГа сохранились многочисленные свидетельства о гомосексуальных и гетеросексуальных связях, об удачных и неудачных беременностях. Были даже супружеские пары, жившие вместе в отдельных помещениях. Лина опять работала на швейной фабрике, но уже семь дней в неделю, а не шесть, как на Севере.

Когда в 1956 году Лину перевели в Мордовию, заключенных сначала привозили в Потьму, осматривали, регистрировали и уже потом отправляли к месту назначения в теплушках – утепленных вагонах[539]. В других частях Советского Союза вагоны такого типа использовались для перевозки скота; здесь в них перевозили людей. В теплую погоду дверной проем оставляли открытым для вентиляции, но в него вставлялся поперечный брус. Кроме того, устанавливали металлические решетки, чтобы заключенные не могли ни выпасть на ходу, ни сбежать. Первое лагерное подразделение в поселке Молочница, в 15 километрах от Потьмы, было мужским. Через 3 километра располагался поселок Сосновка, лагерное подразделение для мужчин, получивших пожизненное заключение, а за Сосновкой – поселок Леплей, для иностранцев, лиц без гражданства и бесчисленного множества прокуроров и судей, обвиненных в заговоре с ними. Далее шли Ударный, Парца, Озерный и другие мужские и женские лагерные подразделения и так до Барашева, где находились больница и морг.

Сыновья приехали на свидание с Линой в Явас 24 февраля 1956 года. Святослав рассказывал, что они доехали до Саранска,

затем пересели на местный поезд, останавливавшийся в Потьме всего на две-три минуты. На маленькой станции Зубова Поляна они с братом просидели целый день в ожидании теплушки, следовавшей по боковой железнодорожной ветке из Потьмы в Барашево. В течение часа допотопный поезд еле полз по рельсам, вдоль которых стеной стоял лес, а когда выехали на открытое место, на сколько хватало глаз тянулись лагеря, окруженные по периметру колючей проволокой, с вышками и фонарями – «как в ночном кошмаре», вспоминал Святослав[540]. На территории современной Мордовии до сих пор находится много действующих тюремных лагерей, хотя теперь условия пребывания и причины осуждения значительно изменились. Сейчас в Потьме подрастает четвертое или пятое поколение потомственных надзирателей.

Святослав и Олег приехали в Явас поздно вечером. Им разрешили переночевать в административном крыле, на столах. Утром их отвели в так называемый дом свиданий – скромно обставленное здание, стоявшее на краю зоны. Одна дверь вела наружу, другая – к баракам. Святослав впервые за восемь лет увидел мать. За все время пребывания в доме свиданий за ними никто не следил – неслыханный случай в истории ГУЛАГа во времена Сталина. Святослав и Олег провели с матерью четыре или пять дней. Святослав оценил деликатность охранников – по словам Лины, это было на них не похоже[541]. В дневнике он описал свидание с матерью так: «После шумных, душных бараков, узких, неудобных дощатых спальных мест, получить отдельную комнату, спать на настоящей кровати, вести нескончаемые разговоры с нами по самой насущной теме (свобода в прошлом, свобода в будущем) было для бедной мамы настоящим праздником»[542]. Святослав добавил, что, несмотря на опухшие, воспаленные глаза – результат бессонных ночей, – мать выглядела почти так же, как в 1948 году, перед арестом, хотя казалась довольно вялой, заторможенной. Он отметил, что, «несмотря на несправедливый приговор, она перенесла расставание с папой тяжелее, чем заключение, ставшее самым тяжелым последствием развода». Страдания мамы, писал Святослав, были связаны с «папой и этой чудовищной несправедливостью»[543].

* * *

Олег уехал из Потьмы в Москву 1 марта, пообещав матери приехать в мае вместе с женой. Святослав оставался с Линой до 4 марта. Они жили, будто на даче – топили печку и даже готовили

на ней. На зоне была «коммерческая» и «обычная» столовые. Лина заказала в «коммерческой» торт «Наполеон» и «неочищенную» самодельную лимонную водку[544]. Они с небольшим опозданием отметили 32-й день рождения Святослава. Лина сказала сыну, что, несмотря на более комфортные условия, в Потьме ей тяжелее, чем в Абези, поскольку там ее все знали, и за хорошее поведение ей иногда разрешали ходить в соседнюю деревню и в Инту. Впрочем, даже тогда ей не разрешали переодеться в гражданскую одежду и грозили суровым наказанием, если не вернется вовремя. Однако от побега заключенных удерживали мороз и страх перед поимкой. В Потьме Лина не нашла места для себя, не установила тесных контактов с другими заключенными и администрацией лагеря. Впрочем, ей предстояло выйти оттуда всего через четыре месяца.

Святослав уехал из Потьмы 4 марта. Прощались они на улице, среди сугробов, стоя возле третьего поста на дороге, ведущей от зоны к станции. Дальше Лине ходить запрещалось. Мать и сын обнимали и целовали друг друга. Потом Святослав зашагал через поле к поезду, постоянно оглядываясь, пока мать не скрылась из вида. Лина долго не уходила и обеими руками махала вслед уходящему сыну. Святослав хотел было побежать обратно к ней, но потом передумал, решив не травить матери душу, и продолжил путь…

Вернувшись на следующий день в Москву, Святослав поехал на Новодевичье кладбище и положил на могилу отца желтые ирисы. В этот день прошло ровно три года со смерти отца. Рассказывая обо всех этих событиях в дневнике, Святослав мрачно замечает: «Теперь мы все вместе, и никто не стоит между нами»[545]. Вечером он не пошел к Мире Мендельсон, как делал это в прошлые два года.

* * *

13 июня 1956 года Лина вышла на свободу в соответствии с постановлением Военной коллегии Верховного суда СССР. Она неоднократно писала письма с просьбой пересмотреть ее дело. С такими же ходатайствами обращались к властям и ее сыновья, и выдающийся советский композитор Дмитрий Шостакович. В 1936 году Сергей надеялся извлечь выгоду из проблем, возникших у Шостаковича, считая, что неудачи соперника дают ему шанс укрепить свои отношения со сталинским режимом. Если бы Лина не соглашалась с идеями мужа, возможно, их жизнь сложилась бы совсем иначе. Вероятно, они бы не стали переезжать в Советский

Союз. Теперь, спустя двадцать лет, Шостакович использовал свое политическое влияние, чтобы спасти Лину. В 1955 году ее сыновья обратились к Шостаковичу с просьбой разобраться в ее деле. Их обращение было направлено главному военному прокурору для рассмотрения и «дополнительной проверки»[546]. Впрочем, в 1948 году Шостакович ничем не мог помочь Лине, но в середине 1950-х он занимал влиятельное положение и еженедельно получал письма с просьбой разобраться в делах, подобных делу Лины. Это обращение оказалось решающим.

Дело Лины было прекращено по приказу главного военного прокурора. После рассмотрения всех документов прокурор вынес решение о неправомерности оснований, которые привели к аресту и заключению в тюрьму в 1948 году. Она не общалась со шпионами, не вела подозрительных бесед с друзьями-иностранцами, не пыталась тайком вывезти секретные документы для передачи фашистским правительствам – хотя именно об этих преступлениях говорилось в протоколах, которые измученная пытками Лина подписывала в Лефортове. Приказ вышел 15 мая 1956 года, но Лина еще шесть недель находилась в лагере. К тому времени 90 процентов заключенных из соседнего лагеря были освобождены. Лина боялась, что, несмотря на приказ главного военного прокурора, ее освобождение будет зависеть от прихоти мелких государственных чиновников, работавших в комиссии.

18 мая 1956 года ее вызвали в комиссию, и она подробно рассказала об этом в письме сыновьям, отметив, что в этот раз, как и в прошлый, чиновники были настроены не слишком приветливо. Вначале ее попросили объяснить причины, по которым ее приговорили к двадцати годам лагерей. Лина ответила: «Хотя я точно не знаю, как был сформулирован обвинительный акт, но мне известно, какие обвинения были выдвинуты против меня. Я могу честно и искренно сказать, что меня никто не вербовал, и я никогда не использовала знакомства с иностранцами для ведения подрывной деятельности против Советского государства. Следствие применяло такие жесткие методы допроса, что я в конце концов не выдержала и оклеветала себя. Мне не позволили сказать ни слова в свое оправдание и заставили подписать признания в том, чего я не совершала»[547].

Лина объяснила, что была воспитана за рубежом и в силу «политической неграмотности» «не всегда понимала, какие поступки в Советской стране считаются правильными, а какие – предосудительными». «Теперь я понимаю, что не должна была встречаться со знакомыми иностранцами, чтобы не вызвать незаслуженных подозрений». После этих слов Лина

расплакалась[548].

Затем комиссия задала вопрос о ее нынешних отношениях со знаменитым мужем. Лина ответила: «К сожалению, уже три года, как его нет с нами. Если бы он был жив, я уверена, он бы подтвердил мою невиновность. Мое дело рассматривали давно. Меня допрашивал старший оперативный уполномоченный в Абези и дал мне основание надеяться на освобождение»[549].

Больше вопросов не было. Члены комиссии передали дело на рассмотрение в Москву, поскольку в их распоряжении не было никаких документов, кроме приговора. Лине сказали, что ее вызовут позже.

Как следует из письма сыновьям, Лина не стала «каяться», чтобы повысить шансы на освобождение, и продолжала настаивать на своей невиновности[550]. Лина боялась, что ее решат освободить условно. В таком случае с нее могли потребовать залог или запретить подъезжать к Москве ближе чем на 100 километров. Наконец, ее могли перевести в другой лагерь, поскольку политические заключенные подпадали под амнистию в последнюю очередь. 22 мая Олег сел на поезд до Потьмы, чтобы поддержать Лину. Он прибыл в 3 часа ночи, а в пять утра отправился на теплушке в лагерь. Олег успокаивал мать, снова и снова повторяя, что ее освободят.

На настольном календаре Святослав отметил дату освобождения матери – 13 июня 1956 года, – написав лишь одно слово – «реабилитация»[551]. Ему позвонила женщина с подтверждением решения Военной коллегии. «Слава богу!» – крикнул в трубку Святослав, не в силах скрыть радость и облегчение. На что «женский голос» невозмутимо ответил: «Стало быть, информацию вы к сведению приняли?»[552]

29 июня, предварительно отправив в Москву две посылки с вещами, Лина покинула лагерь в Явасе. Из Потьмы, где провела ночь в приюте для престарелых и инвалидов в ожидании паспорта, она телеграфировала сыновьям: «Уезжаю сегодня вечером в 08:30. Целую. *Мама*»[553]. Лина приехала в Москву 1 июля в 10:25 утра, с паспортом, полученным в Зубово-Полянском отделении милиции. На фотографии в паспорте – коротко стриженная женщина с напряженным лицом и поджатыми губами. Это была лишь тень прежней Лины, однако вскоре она вновь станет прежней. Святослав с Олегом встречали ее на Казанском вокзале. Перед этим они целую неделю по очереди дежурили у телефона, ожидая новостей от матери. Они не знали, когда приедет Лина, и утром 1 июля на всякий случай встретили три поезда. Наконец прибыл поезд из Саранска. Лина, выйдя из вагона, попала в объятия сыновей. Они прошли через роскошный

вестибюль вокзала и вышли на Комсомольскую площадь, заполненную толпами отбывающих и прибывающих пассажиров.

Вернувшись домой, Лина наконец познакомилась с женами сыновей, Надеждой и Софьей. Через два дня Святослав повез еще не вполне пришедшую в себя мать в центр Москвы за справкой о реабилитации. Они пришли в построенный в XVIII веке дом номер 13 по улице Воровского, где на четвертом этаже размещалась Военная коллегия. Чтобы получить справку, Лина сначала должна была дать расписку в том, что будет хранить молчание о годах, проведенных в ГУЛАГе. Чиновник, к которому Святослав обращался по поводу свидания с Линой, сказал по внутреннему телефону одному из коллег: «Найди дело Лины Ивановны Прокофьевой – ну ты знаешь, одно из сфабрикованных». К тому, что ни в чем не повинная женщина провела столько лет в лагерях, здесь отнеслись с цинизмом и равнодушием[554].

Ее первый выход в свет после возвращения в Москву состоялся 24 сентября 1956 года. Лина получила приглашение на концерт, посвященный 50-летию Шостаковича, на котором, среди прочих произведений, исполнялся его Первый концерт для скрипки с оркестром. На следующий день она послала композитору письмо, в котором с неподдельной теплотой благодарила его за оказанную помощь. «Я так счастлива, что могла присутствовать на Вашем юбилейном концерте… В течение долгого времени я была лишена возможности слушать хорошую музыку, и потому этот вечер представляет для меня особую ценность». На фоне чересчур цветистых и подчас лицемерных поздравлений чиновников и коллег слова Лины звучали особенно искренне. В конце письма она добавила, что считает его «замечательным человеком – честным, добрым, отзывчивым и справедливым»[555]. И затем еще раз поблагодарила за внимание.

Эпилог

Оставшуюся часть жизни Лина боялась, что ее схватят на улице, вздрагивала всякий раз, когда рядом останавливалась машина, и по ночам ей снились допросы. Ее освободили из лагеря в 1956 году, из Советского Союза выпустили только в 1974 году, однако Лина никогда не смогла забыть пережитого. Воспоминания преследовали ее до последних дней жизни, которые она провела в чужой больнице в чужом городе – в госпитале Йоханнитер в немецком Бонне. «В больнице у нее время от времени бывали расстройства сознания, во время которых больничные впечатления путались с воспоминаниями о тюрьме и лагерной жизни. Ей казалось, что медсестры и санитары – это переодетые охранники и надзиратели, что уколы, которые ей делают, должны заставить ее в чем-то признаться, что за стеной кого-то избивают, и она начинала громко кричать: «Я ни в чем не виновата, не виновата!..»[556]

Когда Лина вернулась из Потьмы, у нее не было ни жилплощади, ни прописки. Отсутствовали и личные вещи, кроме тех, в которых она приехала, и содержимого двух посылок, отправленных из лагеря. В коробках лежали ноты, фотографии и письма, которые присылали Лине сыновья. Ей не вернули ничего, что было изъято из квартиры после ареста в 1948 году. Денежная компенсация за ущерб оказалась ничтожной. С июля 1956 по 1959 год она периодически жила в двухкомнатной квартире вместе с семьей Святослава, на Чкаловской, в доме 19. В течение первых двух лет после освобождения она также жила на даче, которую Святослав снимал в поселке Поваровка, расположенном к северо-западу от Москвы. Олег с женой и сыном переехал в дом Союза композиторов СССР на Третьей Миусской улице (современная улица Чаянова). Хотя Олег по-прежнему использовал свою старую комнату в качестве студии, в ней официально была прописана Лина. Сын Святослава помнит краски и кисти Олега, а также его удивительно разнообразную коллекцию пластинок с записями джазовой и классической музыки; он помнит аромат кофе, налитого в крошечные чашки, и запах тостов, которые делала по утрам Лина, стены цвета морской волны в ее комнате, веселые занавески и беспорядок – косметика, украшения и одежда, – скрывавший тайну ее постепенного возвращения к жизни.

Ни она, ни сыновья не вернутся в ту первую квартиру на третьем этаже. Она потеряна для них навсегда. В 1959 году Лина получила отдельную квартиру в новом кирпичном доме грязноватого желто-коричневого цвета, рядом с Киевским

вокзалом, по соседству с престижными по тем временам сталинскими домами, в которых жили члены правительства и иностранные дипломаты. На Кутузовском проспекте в доме номер 9 она получила однокомнатную квартиру номер 177 с балконом, выходящим во двор. Одна большая комната одновременно играла роль спальни и гостиной. За стеной располагались кухня, ванная и прихожая. Вскоре в квартире стало не повернуться – столько в ней скопилось личных вещей и русских сувениров, купленных в магазинчике на первом этаже. Квартира была заставлена матрешками и тарелками с изображениями сюжетов из русских сказок, повсюду лежали платки с узорами. Лина обедала в ресторане гостиницы «Украина» (теперь эта гостиница в сталинской высотке на Кутузовском проспекте носит название отель «Рэдиссон Ройал»).

Лина получила квартиру благодаря первому секретарю Союза композиторов Тихону Хренникову. Историки склонны нелицеприятно высказываться о Хренникове, и у них есть на то основания – этот человек сыграл свою роль в гонениях на ведущих советских композиторов – в том числе Прокофьева – в 1948 году. Но Хренников поддерживал Лину до и после освобождения из ГУЛАГа и даже написал письмо с просьбой пересмотреть ее дело. Его симпатия к Лине и сочувствие ее тяжелому положению были так же велики, как и антипатия ко второй жене Сергея, Мире Мендельсон, с которой у него неоднократно случались стычки.

Кроме того, Хренников помог Лине получить пенсию, которая составляла 700 рублей в месяц, – Мира получила такую же пенсию. Лина стала получать пенсию с 7 ноября 1956 года. Историк Леонид Максименков указывает, что помощь Хренникова была неотъемлемой частью усилий советского правительства по увековечению заслуг Прокофьева. Возможно, Максименков прав, и причиной ее освобождения из ГУЛАГа отчасти послужило намерение правительства прославить Прокофьева как классического советского композитора. Учитывая его посмертный статус, жене Прокофьева нельзя было позволить просить подаяние на улице.

Но все-таки ей пришлось бороться за то, чтобы считаться законной наследницей Сергея. Как Лина узнала от сыновей, ее брак был расторгнут по приказу чиновников перед ее арестом и отправкой в лагерь, после чего Сергей женился на Мире. Неизвестно, когда именно она узнала об этом, но уже из лагерей Лина начала процесс по аннулированию решения о расторжении брака. 27 апреля 1957 года комиссия по надзору за московскими судами отменила решение от 27 ноября 1947 года о признании

брака недействительным.

Лина восстановилась в правах как законная наследница Сергея. Согласно декрету Верховного совета СССР от 8 июля 1944 года браки, заключенные за рубежом, признавались действительными на территории Советского Союза. Однако в результате длительного судебного разбирательства 12 марта 1958 года Верховный суд вынес решение, признав Миру вдовой Сергея на основании представленных Мирой документов – свидетельства о браке, заключенного в 1947 году, приказа об эвакуации, в который Прокофьев вписал Миру как свою жену, чтобы вывезти ее из Москвы, и личного письма другу, написанного в 1944 году, в котором Сергей сообщает, что ушел от Лины.

В постановлении о признании брака Лины с Сергеем недействительным отмечалось, что Лина и Сергей были женаты, но подчеркивалось, что их брак не был зарегистрирован в советском посольстве. В конечном счете, к несчастью всех заинтересованных сторон, были признаны оба брака. У Прокофьева было две вдовы, и его состояние было поделено между двумя его женами и двумя сыновьями. Таким образом аннулировалось завещание композитора от 28 ноября 1949 года, по которому его дача, личное имущество и рукописи переходили Мире, а все финансовые отчисления следовало поделить между ней и двумя его сыновьями. Лина добилась, чтобы все было поделено на четыре части – между ней, Мирой, Святославом и Олегом.

В дневниках Мира почти не пишет об освобождении из лагеря и реабилитации Лины, только вскользь упоминая о «возвращении Л. И.»[557]. Она изображает из себя жертву и обвиняет Лину в том, что та обливает ее грязью[558]. Рассказывая о перипетиях судебной тяжбы, Мира жалуется, сколько переживаний и огорчений ей пришлось пережить зимой 1957/58 года. Говоря о действиях своих сторонников и противников в суде – сама Мира от своего имени не выступала, – она описывала, как, среди прочего, старалась сохранить партитуру «Войны и мира».

И до и после смерти Сергея Мира вела замкнутую, безрадостную жизнь. Она умерла 8 июня 1968 года, предположительно от сердечного приступа, случившегося во время разговора по телефону; ей было всего 53 года. Мира упала на пол, продолжая сжимать в руке телефонную трубку. Государственный центральный музей музыкальной культуры имени Глинки унаследовал принадлежавшие ей документы и рукописи Прокофьева. Материальная часть наследства тоже перешла музею.

В 1960-х годах возрос интерес к музыке Сергея, особенно на

Западе, и приезжавшие в Советский Союз иностранцы стремились познакомиться с Линой. Но власти делали все возможное, чтобы помешать ее встречам с западными политиками, деятелями культуры и научными сотрудниками, желавшими узнать как можно больше и о муже Лины, и о ней самой.

В 1962 году в рамках программы Фулбрайта[559] в Москву приехал американский музыковед Малколм Браун. Ученый собирал материал для книги о жизни и творчестве Сергея, однако ему никак не удавалось узнать телефон Лины – среди прочих, в этом Брауну препятствовал советский музыковед Израиль Нестьев. Но в конце концов упорство Брауна было вознаграждено. В ответ на просьбу о встрече повисла долгая пауза, затем Лина попросила перезвонить завтра, сказав, что ей нужно уточнить свои планы. Позже Браун узнал, что Лина хотела посоветоваться с Нестьевым и сыновьями, стоит ли ей встречаться с иностранцем, или это может быть опасно. Они встретились 14 июня, через два дня после того, как Браун побывал в гостях у Миры Мендельсон. Встреча получилась короткой, обстановка была напряженная. Мира ограничилась расхожими, шаблонными фразами о приверженности Сергея эстетике социалистического реализма и поиске идеального советского музыкального языка. Браун вел запись беседы, которая заняла меньше страницы.

Когда он наконец встретился с Линой, она настояла, чтобы разговор шел на английском, и подробно расспросила Брауна о его жизни, семье, образовании и квалификации. Он ушел из ее квартиры «с чувством глубокого сожаления, что у нее никогда не будет возможности, как у меня, сесть в поезд и уехать из Москвы и Советского Союза»[560].

Вернувшись в гостиницу, он обнаружил, что оставил у Лины записную книжку. Он позвонил, но Лина не ответила. Она ушла к подруге, чтобы посмотреть по телевизору концерт приехавшего в Советский Союз американского пианиста Вана Клиберна, который исполнял Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского. На следующее утро Браун позвонил снова. На этот раз она взяла трубку и воскликнула: «Это просто чудо, что вы забыли свою записную книжку. Мне так хотелось снова увидеть вас, прежде чем вы уедете»[561]. Во время второй встречи она откровенно рассказала ему о своем аресте, допросах и лагерях, заметив, что агенты МГБ не только обвинили ее в том, что она была американской шпионкой, но даже высказали предположение, что она вышла замуж за Сергея, чтобы заниматься антисоветской деятельностью. Ее также обвинили в преступном сговоре с Фредериком Рейнхардтом, первым секретарем посольства, с целью отмывания денег. К своему

глубокому сожалению, Браун был вынужден прервать беседу, поскольку во второй половине дня уезжал из Москвы в Варшаву. Лина, «сжимая мои руки, со слезами на глазах сказала: «Я доверяю вам свою жизнь. Если вы обнародуете информацию, которую я сообщила вам, меня жестоко накажут. Но я решилась рассказать об этом, потому что когда-нибудь мир должен услышать правду обо мне и моем муже»[562].

В Советском Союзе контакты с иностранцами, как и возможности выезда за границу, были строго ограничены. Из стран Западной и Восточной Европы Лина получала приглашения на оперы Прокофьева, а также концерты и фестивали, где звучала его музыка. Министерство культуры СССР помогало добиться разрешения на поездки в контролируемый Советами восточный блок. В 1966 году она была в Болгарии на представлении балета «Блудный сын», а в Берлине и Лейпциге слушала оперу «Огненный ангел» и посетила семинар по теме «Современная интерпретация оперы». В мае 1968 года Лина ездила в Прагу на музыкальный фестиваль. Спустя три месяца, в августе 1968 года, силы СССР и остальных членов Варшавского договора вторглись в Чехословакию, не допустив развития политических и экономических реформ, начатых Александром Дубчеком.

Приглашения поступали со всего мира, но Лину упорно не желали выпускать за железный занавес. В 1968 году Лина обратилась с просьбой о туристической визе в Лондон, но получила отказ. Однако известие о том, что вскоре она получит приглашение от министра культуры Франции на открытие мемориальной доски Прокофьева в Париже, несколько ослабило разочарование. Мемориальная доска была вывешена на бледно-желтой стене дома номер 5 по улице Валентина Гаюи, где Прокофьевы жили с 1929 по 1935 год. Максименков писал, что Лину не пустили в Париж, поскольку у нее не было разрешения Комиссии по выездам за границу при ЦК КПСС на «выезд в капиталистические страны»[563]. По мнению Лины, отказ был связан с тем, что Хренников и члены Союза композиторов написали ей плохую личную характеристику. Хренников отверг обвинение, возложив вину на Министерство культуры.

Лине также было отказано в поездках в Италию, Швейцарию и Западную Германию, куда ее приглашали на постановки опер и балетов Прокофьева. Не позволили ей поехать и в Австралию на открытие оперного театра в Сиднее, которое состоялось 28 сентября 1973 года. Давали оперу Прокофьева «Война и мир» под управлением Эдварда Даунса. Чиновники намеренно затягивали принятие решения по этому вопроса, а затем, действуя в соответствии с духом бюрократии, отказали на основании того,

что открытие уже состоялось. Руководство Сиднейского оперного театра отметило отсутствие Лины, положив розу на отведенное ей место в первом ряду.

Лина не забыла о своем намерении выехать из Советского Союза, продолжая обращаться с просьбами выпустить ее за границу. Однако пока ее дом был здесь, и Лина уютно обустроила небольшую квартиру в Москве и проводила время с сыновьями на Николиной Горе. После смерти Миры дача целиком перешла Лине и ее сыновьям. Мира завещала дачу музею имени Глинки в надежде, что она будет превращена в музей Прокофьева. Но по уставу правления Николиной Горы государственные учреждения, такие как музей, не могли владеть частными домами. После очередного изнурительного и эмоционально тяжелого судебного процесса, по трудности не уступавшего борьбе за право быть признанной законной женой Сергея, Лина и ее сыновья стали полноправными владельцами дачи. После того как отремонтировали балконы, Лина заняла верхний этаж, а сыновья с семьями разместились на нижнем этаже.

Сергей, сын Святослава (Сергей Прокофьев-младший), вспоминал, как проводил лето в пионерском лагере рядом с Николиной Горой. Дважды в день он вместе с другими ребятами ходил купаться в реке, и путь их лежал мимо дачи. Мальчик не обращал внимания, что аллея, в которой находится дом, названа в честь его деда. Он мало знал о жизни бабушки и никогда не слышал о Мире Мендельсон. Когда Сергей женится, и у него родятся две дочери, они тоже будут проводить лето на той самой даче, играя с соседскими детьми и не подозревая об исторической значимости этого места.

Хотя дети и внуки Лины воспитывались в СССР как советские граждане, все они в конце концов уехали на Запад, в некотором роде повторив путь Лины. Правда, двинулись они в обратном направлении. Первым уехал Олег. В 1969 году он развелся с Софьей и получил долгожданное разрешение на брак с англичанкой Камиллой Грей, исследовательницей русского авангарда. Они познакомились в Москве в 1962 году, когда Камилла приехала в Москву проводить научное исследование, результаты которого вошли в ее знаменитую книгу «Русский эксперимент в искусстве: 1863–1922». В 1963 году они решили пожениться, но для этого должны были получить разрешение советских чиновников. В октябре 1970 года они отпраздновали рождение дочери Анастасии и купили живописный дом на берегу Химкинского водохранилища, там, где раньше располагался поселок Новобутаково. Там же берет свое начало Канал имени Москвы, который соединяет Москву-реку с Волгой и был вырыт

вручную заключенными ГУЛАГа в 1930-х годах[564].

В декабре 1971 года Грей умерла от печеночной недостаточности, вызванной вирусным гепатитом. Это случилось во время отдыха на Черном море, когда Камилла была беременна во второй раз. Ни ее, ни ребенка спасти не удалось. Олег просил дать ему разрешение поехать в Англию на похороны жены. Он получил загранпаспорт сроком на пять лет и уехал насовсем. С собой он увез маленькую дочку и чемодан, в котором было несколько его картин. К сожалению, в дороге холсты были повреждены, поскольку было решено, что содержимое чемодана не имеет ценности и не требует осторожного обращения. Родители Камиллы взяли на себя заботу об Анастасии, а Олег стал научным сотрудником отделения изящных искусств Университета Лидса. Его дом в Химках, редкий в Советском Союзе пример частной собственности, Лина продала какому-то художнику[565].

Сын Святослава, Сергей, с женой Ириной и дочерьми Линой и Никой уехали во Францию в июне 1990 года. Они обосновались в Париже и в 2000 году получили французское гражданство. У Сергея было счастливое детство в Москве, однако знакомые места изменились до неузнаваемости – не стало фонтана и цветов во дворе дома на улице Чкалова[566], и поселок Николина Гора перестал быть тихим из-за активного автомобильного движения. Однако Святослав с женой Надеждой не разделяли желания сына сменить место жительства и были вполне довольны своей спокойной жизнью в московской квартире и на даче. Тем не менее Святослав получил французское гражданство по праву рождения, главным образом для того, чтобы иметь возможность видеться с сыном и внуками. Несмотря на преклонный возраст, Святослав с Надеждой часто ездили из Москвы и Париж. Святослав умер в Париже 7 декабря 2010 года, на восемь лет пережив жену. В то время, когда шла работа над этой книгой, его квартира в Москве была свободна; дача продавалась, и никто не собирался превращать ее в мемориальный музей.

16 августа 1974 года Лина в очередной раз обратилась с просьбой разрешить ей выехать из Советского Союза, чтобы повидать сына Олега и внучку Анастасию. Письмо она адресовала Юрию Андропову, в то время он был председателем Комитета государственной безопасности СССР, КГБ, а в 1982 году стал генеральным секретарем ЦК КПСС. Приглашение от родителей Камиллы Грей пришло в 1973 году, и с тех пор Лина безуспешно пыталась получить разрешение на поездку в Отделе виз и регистрации (ОВИР). Первый отказ пришел после восьмимесячного ожидания – немалый срок для пенсионерки,

возраст которой приближался к 77 годам. Линино письмо Андропову представляло собой удивительное сочетание сердитых претензий с искренними просьбами о сострадании. Лина смело писала, что не может «согласиться с несправедливостью, причиненной мне ОВИРом… мысль, что я так и умру, не повидав внучку и сына, невыносима»[567]. Затем, набравшись еще большей смелости, Лина объявила главе КГБ, что «как вдова Прокофьева я известна в мире культуры за границей. Отказ дать мне разрешение на выезд вызовет ненужный интерес у прессы. Мне хотелось бы избежать скандала, но с каждым месяцем становится все труднее объяснять, что документы находятся в процессе оформления»[568]. Более того, Лина взяла на себя смелость написать Леониду Брежневу, преемнику Хрущева на посту руководителя страны, заявив, что неоднократно подвергалась плохому обращению со стороны советского бюрократического аппарата, несмотря на то что в 1936 году Советский Союз стал для нее «второй родиной» и она гордится «успехами и достижениями» советского народа[569]. К примеру, она пожертвовала 59 тысяч французских франков в Советский фонд мира. Давая понять, что государство в некотором долгу перед ней, Лина охарактеризовала восемь лет в лагерях как «ужасную ошибку, допущенную в отношении меня»[570]. Лина написала, что теперь эта ужасная несправедливость усугубляется тем, что безо всяких на то оснований ее не пускают на Запад на премьеры произведений мужа. Но самое ужасное, что она не может повидаться с сыном и внучкой, по которым ужасно скучает.

На протяжении многих лет Лина слышала только отказы, и теперь почти не надеялась получить положительный ответ на свою просьбу. Она была потрясена, когда всего через несколько дней получила загранпаспорт с трехмесячной английской визой.

Разрешение было подписано Андроповым, а не Брежневым. 17 ноября 1974 года Лина вылетела в Лондон с 20 рублями в кошельке и квитанцией на излишний багаж. Лина не была невозвращенкой; она законным образом продлевала визу через соответствующие консульские каналы в Лондоне и Париже. Но Лина не собиралась ехать обратно. В 1974 году она распорядилась, чтобы ее квартира на Кутузовском проспекте перешла сыну Святослава, Сергею, когда закончится срок его службы в армии.

Оставшиеся годы жизни Лина провела в Лондоне и Париже, подолгу жила в Соединенных Штатах и Германии и занималась популяризацией наследия Прокофьева, по ее инициативе в 1983 году был создан Фонд Прокофьева. Она много путешествовала, вернувшись к образу жизни, который вела до переезда в Москву.

Чтобы поправить здоровье, Лина съездила в Тунис, а затем отправилась на родину, в Испанию, где нашла дом, в котором появилась на свет.

Приглашения от итальянских музыкальных обществ позволили Лине посетить памятные места в Милане. После фестиваля «Штирийская осень» в австрийском городе Граце, где исполнялась первая опера Сергея «Маддалена», Лина поехала в Этталь и предалась воспоминаниям, беседуя с настоятелем монастыря. В 1976 году в Соединенных Штатах Лина, не зная усталости, посещала концерты и приемы, устраиваемые в ее честь, и общалась с журналистами. Бостон, Чикаго, Вашингтон и особенно Нью-Йорк пробудили много светлых воспоминаний. В 1977 году она посещала концерты в Техасе. Ей вручили ключ от города Остин, Лина увидела, как объезжают мустангов, и получила удовольствие от «великолепного приема в особняке», по ее выражению, «совсем как в фильме «Унесенные ветром»[571]. Оттуда Лина отправилась в Лос-Анджелес и Сан-Франциско, где когда-то давно жили ее друзья. Но она узнала, что Карита Дэниэлл умерла в 1969 году, а Гасси Гарвин в 1955 году. Через дипломатов, с которыми она познакомилась в 1930-1940-х годах в Советском Союзе, ей удалось восстановить связь с Анной Холдкрофт. Разыскала она и свою любимую подругу, бывшую московскую соседку Анн-Мари Лотт, живущую в Бретани.

Несмотря на то что Лина давно потеряла голос, она продолжала выходить на сцену. 11 ноября 1985 года в Нью-Йорке в Alice Tully Hall она рассказала сказку «Петя и волк». Выступление, приуроченное к 50-летию со дня написания симфонической сказки, было частью концерта из произведений Прокофьева, организованного Майклом Спенсером, исполнительным директором некоммерческой организации Hospital Audiences, призванной предоставить неимущим доступ к культурным ценностям. В 1984 году Спенсер навестил Лину в Париже и предложил принять участие в этом мероприятии. После его визита в Париж они обменялись несколькими телефонными звонками, и Лина согласилась, решив, что, несмотря на проблемы со зрением, дикция у нее по-прежнему превосходная. Спенсер прислал ей текст сказки, напечатанный огромными буквами в большой книге. Готовясь к выступлению, Лина прослушала разные записи, в том числе ту, на которой сказку читает Дэвид Боуи. Его выступление Лине очень понравилось. Олег поехал с матерью в Нью-Йорк и выставил в зале несколько своих картин и скульптур. По словам одного обозревателя, Лина читала с «подъемом и удовольствием» и вызвала восхищение зрителей[572]. Год спустя она записала «Петю и волка» с Шотландским

национальным симфоническим оркестром под управлением Неэме Ярви.

После отъезда из Советского Союза Лина начала переписываться с американским музыковедом Малколмом Брауном. Они обменивались письмами в 1960-1970-х годах, и он надеялся, что будет писать книгу о Прокофьеве в соавторстве с Линой. Она часто выражала недовольство дилетантизмом и предвзятостью, которыми отличались книги и статьи о ее муже. Лина старалась читать все, что писали о жизни и творчестве ее мужа. Лина очень заботилась о наследии Прокофьева. Лина старалась сделать музыку Сергея как можно более популярной на Западе; позаботилась о том, чтобы его произведения были надежно защищены от контрафактного использования. Лина добилась, чтобы украденные рукописи запретили продавать на аукционах, и предоставила огромное количество документов, имеющих отношение к Прокофьеву. Теперь они хранятся в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Но ее отношения с Брауном испортились, и в июне 1982 года Лина поручила своему адвокату, Андре Шмидту, отправить ему письмо, означавшее разрыв всяких отношений, и рабочих, и дружеских. Правда, осенью дружба была восстановлена, и Браун даже взял у Лины интервью. Но их книга так и не увидела свет.

Лина всерьез подумывала о том, чтобы самой написать автобиографию или найти хорошего соавтора. В июне 1977 года Лина несколько раз беседовала в своей парижской квартире с композитором Филлипом Раме, рассказывая ему о Сергее. Они познакомились в феврале 1976 года в квартире композитора Александра Черепнина, учителя Филлипа. Лина, находясь под впечатлением 30-страничного эссе Раме, посвященного музыке Сергея, пригласила его в свой номер в отеле Salisbury и предложила стать ее соавтором. Издательство Scribner, поначалу заинтересовавшееся предложением, передумало, однако Раме все равно прилетел в Париж с диктофоном и переносной пишущей машинкой, чтобы начать работу над книгой, обещавшей стать сенсацией. Однако беседы в квартире Лины на улице Рекамье, 8 прошли не слишком удачно. Она отказалась обсуждать темы, которые интересовали Раме больше всего, не захотела говорить о браке с Сергеем и несчастьях, выпавших на их долю в Советском Союзе. Раме много узнал о дальних родственниках Лины, но не выяснил почти ничего о северных лагерях. Спустя два года Лина дала серию интервью писателю Харви Саксу, однако он тоже не сумел добиться желаемого. Хотя часть данных интервью вошла в эту книгу, в них много неточностей и искажений. Лина хотела рассказать свою историю, но опасалась последствий. Таков был

отпечаток, наложенный арестом и лагерями.

Не смогла Лина и обрисовать полноценную картину жизни своего мужа, их брака и своей собственной жизни после ухода Прокофьева, а впоследствии – его смерти. Те, кто знал Лину в конце жизни, описывали ее по-разному – загадочная, обаятельная, надменная, несносная, кокетливая, жизнерадостная, упрямая, сильная. Расшифровки стенограмм интервью оставляют впечатление, что Лина категорически не желала подавать свою историю под самым очевидным углом – она стала жертвой и гениальности мужа, и его заблуждений, которые Сергей разделил со своим народом. Лина не любила советские пропагандистские истории о самопожертвовании и не могла допустить, чтобы западные биографы в стремлении нажиться на сенсационном материале описывали ее жизнь подобным образом. Как ни парадоксально, Лина всячески опровергала устоявшиеся мнения и представления о вещах, которые, казалось бы, сама же и олицетворяла.

В октябре 1988 года Лина поехала в Бонн навестить новую подругу, мексиканского дипломата и куратора музея Норму Санчес. Лина планировала провести в столице Западной Германии две недели, но почти сразу была госпитализирована в связи с приступом желчной колики в Johanniter Hospital (клинику Йоханнитер). 8 октября Святослав получил телеграмму: «Ваша мать тяжелобольна, хочет видеть Вас перед смертью. С сожалением сообщаем, что у нее в запасе осталось мало дней»[573].

Святослав получил срочную визу и прилетел в Бонн из Москвы, а Олег примчался из Лондона. Свой 91-й день рождения Лина отметила в больнице. Сыновья провозгласили за нее тост. Затем Лина подписала документы, касающиеся наследия и Фонда Прокофьева, подготовила завещание и приняла многочисленных посетителей. Она просила похоронить ее рядом с матерью Сергея в Медоне под Парижем. Ни Лина, ни ее сыновья так никогда и не узнали, что стало с матерью Лины, Ольгой.

Олег, чтобы в последние недели быть рядом с матерью, перевез Лину из Johanniter Hospital в Лондон в Churchill Clinic. Она встретила Рождество и Новый год в хосписе, ослабленной, больница навевала мучительные воспоминания о восьми годах, проведенных на Севере. В самом конце она написала записку дрожащей рукой, но разобрать слова было невозможно. Сын Святослава, Сергей, которому посвящена эта книга, считает, что она написала по-французски: «Желаю Вам большой удачи в жизни!»[574]

Сопрано Лина Прокофьева (урожденная Кодина) умерла 3

января 1989 года в возрасте 91 года. К сожалению, ни одной записи ее выступлений не сохранилось.

Принятые сокращения

ЛП – Лина Прокофьева

СП – Сергей Прокофьев

ЛПФ – Фонд Лины Прокофьевой в Лондоне

МХБ – Малколм Хамрик Браун, профессор Университета Индианы

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства

СПА – Архив Сергея Прокофьева в Голдсмитовском колледже Лондонского университета

СПН – Наследие Сергея Прокофьева

НБФ – Национальная библиотека Франции, Париж

notes

Примечания

1

В архиве Прокофьева сохранилось стихотворение, написанное Бальмонтом под впечатлением авторского исполнения Третьего концерта. По воспоминанию Лины Прокофьевой, «…впечатление, произведенное на него музыкой, было таким сильным, что он написал стихотворение».

Ликующий пожар багряного цветка,
Клавиатура снов играет огоньками,
Чтоб огненными вдруг запрыгать языками.
Расплавленной руды взметенная река.
Мгновенья пляшут вальс. Ведут гавот века.
Внезапно дикий бык, опутанный врагами,
Все путы разорвал и стал, грозя рогами.
Но снова нежный звук зовет издалека,
Из малых раковин воздвигли замок дети,
Балкон опаловый оточен и красив,
Но, брызнув бешено, все разметал прилив.
Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете!
В тебе востосковал оркестр о звонком лете,
И в бубен Солнца бьет непобедимый Скиф.

(*Примеч. ред.*)

2

Интервью ЛП МХБ (принятые сокращения см. в конце книги. – *Ред.*), 18 июля 1968 года. (*Здесь и далее, кроме указанных случаев, примеч. авт.*)

3

ЛПФ.

4

Интервью ЛП МХБ, 1–2 апреля 1985 года.

5

New York Times, 10 декабря 1976 года, статья Донала Хенахана «Она действительно единственная жена Сергея Прокофьева?».

ЛПФ.

ЛПФ.

8

New York Times, 10 декабря 1976 года, статья Донала Хенахана «Она действительно единственная жена Сергея Прокофьева?».

9

Женевская консерватория – старейшая консерватория Швейцарии. Основана в 1835 году меценатом Франсуа Бартолони. В настоящее время объединяет Женевскую школу музыки (L'École de Musique de Genève), в которой обучаются любители музыки, и Женевскую высшую школу музыки (La Haute École de Musique de Genève), в которой происходит обучение профессиональных музыкантов. (*Примеч. ред.*)

10

Тости Паоло – итальянский композитор, певец, педагог, придворный музыкант английских королей. Автор более 150 песен и романсов (в основном на слова итальянских авторов). Его песни уже более ста лет составляют наиболее эффектную часть репертуара многих оперных певцов всего мира (особенно теноров) – от великого современника Тости Карузо и до вокалистов наших дней. (*Примеч. ред.*)

11

Письмо ЛП Сергею Прокофьеву от 29 декабря 1920 года. РГАЛИ. Ф. 1929.

12

Остров Эллис, расположенный в устье реки Гудзон в бухте Нью-Йорка, был самым крупным пунктом приема иммигрантов в США, действовавшим с 1 января 1892 года по 12 ноября 1954 года. Остров – собственность Федерального правительства США – находится под юрисдикцией Службы национальных парков США. На соседнем острове Либерти стоит статуя Свободы. (*Примеч. ред.*)

13

ЛПФ.

14

Железная дорога Майами – Ки-Уэст, существовавшая в штате Флорида, – уникальное инженерное сооружение, значительной частью проходившее по мостам над водами Мексиканского залива. Морская железная дорога являлась продолжением железной дороги Florida East Coast Railway до города Ки-Уэст, расположенного в 150 километрах от береговой линии полуострова Флорида. Эксплуатировалась с 1912 по 1935 год. Строительство железной дороги началось летом 1905 года. 21 января 1912 года отправился первый поезд, знаменуя завершение строительства железной дороги в Ки-Уэст. Из 170 километров пути от бухты Джевфиш до Ки-Уэст 59 километров проходило по открытому морю на мостах и насыпях. Большая часть Морской железной дороги была уничтожена 2 сентября 1935 года ураганом «Шторм столетия». Железную дорогу восстанавливать не стали. 13 августа 1979 года Морская железная дорога была включена в Национальный реестр исторических мест США. (*Примеч. ред.*)

15

Швейная фабрика «Трайангл» занимала три этажа здания, восьмой, девятый и десятый. Пожар начался на восьмом этаже вечером в субботу 25 марта 1911 года. Почти сразу выходы из здания оказались заблокированы, хотя часть находившихся в здании людей (включая хозяев предприятия) сумела выбраться на крышу, а некоторым удалось спуститься на работавших лифтах. Пожарная команда приехала быстро, но потушить пожар оказалось непросто из-за высоко расположенных горящих этажей, до которых не доставали пожарные лестницы. Общее число погибших составило 146 человек. Спасшиеся владельцы фабрики предстали перед судом по обвинению в том, что двери фабрики были заперты. В 1911 году было создано Американское общество инженеров по безопасности – первое в мире общество по безопасности на предприятиях. (*Примеч. ред.*)

16

The Speaker’s Garland and Literary Bouquet. Philadelphia: P. Garrett, 1876.

17

Когда-то на месте театра располагались конюшни. В 1910 году семья Шуберт взяла в лизинг здание у Уильяма Вандербильта за 40 тысяч долларов на 40 лет. Здание было перестроено под театр. В 1922 году Шуберты пригласили известного театрального архитектора Герберта Краппа для создания нового дизайна, перестройки и модернизации зрительного зала. В 1932 году Шуберты договорились с вдовой Зигфилда, Билли Бэрк, о том, чтобы на сцене театра восстановить название и формат его шоу Folies-Bergere. Современное здание появилось в 1922 году. В 30-х годах XX века здесь проводились музыкальные ревю с участием Авы Гарднер, Фани Брайса, Боба Хоупа и Жозефины Бейкер. С театром связаны и такие известные имена, как Джером Роббинс, Стивен Сондхайм, Артур Лоренц. В этом театре родилась «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна. На сцене театра в 60-х годах XX века шла постановка «Смешная девчонка», подарившая миру новую звезду – Барбру Стрейзанд. (*Примеч. ред.*)

18

Мессинское землетрясение произошло 28 декабря 1908 года в Мессинском проливе между Сицилией и Апеннинским полуостровом. В результате были разрушены города Мессина и Реджо-Калабрия. Это землетрясение считается сильнейшим в истории Европы. Землетрясение началось около 05:20 утра 28 декабря в море, на дне Мессинского пролива. Толчки вызвали смещение участков дна, после чего на Мессину с интервалами в 15–20 минут обрушилось три волны цунами высотой до трех метров. В самом городе в течение одной минуты произошло три сильных удара, после второго началось обрушение зданий. Всего от землетрясения пострадали более двадцати населенных пунктов в прибрежной полосе на Сицилии и в Калабрии. Погибло порядка 200 тысяч человек. (*Примеч. ред.*)

19

Мидтаун, или Средний Манхэттен – часть нью-йоркского района Манхэттен между 14-й улицей на юге и 59-й улицей и Центральным парком на севере. Деловой и торговый район. Здесь, в частности, находятся многие известные небоскребы и комплексы, в том числе Эмпайр-стейт-билдинг, Рокфеллеровский центр, Фонд Форда, Крайслер-билдинг, комплекс ООН. (*Примеч. ред.*)

20

Еженедельная газета, связанная с шоу-бизнесом, выходила в Нью-Йорке с 1853 по 1924 год. (*Примеч. ред.*)

21

Brooklyn Daily Eagle. 1911. 27 августа. С. 15.

22

Национальный германо-американский альянс основан 6 октября 1901 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, Чарльзом Хексемером, который возглавлял его до 1917 года. Перед Первой мировой войной насчитывал более 2 миллионов членов, включая американцев ненемецкого происхождения. (*Примеч. ред.*)

23

ЛПФ.

24

Оставив должность приват-доцента Московского университета, Вера Михайловна Данчакова по Рокфеллеровской стипендии 12 лет проработала в Колумбийском университете на кафедре Томаса Ханта Моргана. Сегодня Морган в первую очередь известен как основатель классической генетики, но в то время прославился как эмбриолог и с 1904 года возглавлял кафедру в Колумбийском университете. Вера Михайловна, приехав на кафедру Моргана, занялась исследованием механизмов регенерации клеток крови. Именно тогда она одной из первых вышла на изучение стволовых клеток. В 1926 году Веру Михайловну Данчакову пригласили вернуться в Советский Союз, чтобы организовать новый биологический институт в Останкине. Ее работы по стволовым клеткам широко цитировались и цитируются до сих пор, ведь исследования по стволовым клеткам переживают сейчас настоящий бум. В современных обзорах в Америке Данчакову называют «матерью стволовых клеток» (Наука в Сибири. 2012. № 45 (2880). 15 ноября). (*Примеч. ред.*)

25

Основан в 1901 году нефтяным магнатом и филантропом Джоном Рокфеллером. До 1965 года назывался Рокфеллеровским институтом медицинских исследований, а затем был переименован в Рокфеллеровский университет. (*Примеч. ред.*)

26

Газета «Утро России» начала выходить в 1907 году и финансировалась П. П. Рябушинским, М. М. Ковалевским, И. Х. Озеровым, Н. И. Худековым и др. В ноябре 1909 года в финансировании газеты приняли участие крупнейшие предприниматели Москвы: А. И. Коновалов, Н. И. Морозов, С. Н. Третьяков. К 1911 году «Утро России» стало авторитетным изданием. Газета много писала о проблемах развития российского капитала, о внешней политике России. Орган группы П. П. Рябушинского стоял у истоков новой, созданной в 1912 году партии прогрессистов. Газета не была последовательной в своих взглядах, в 1913 году она выступала за блок октябристов и прогрессистов, забыв о прежних распрях. Программу «Утра России» разделяли и так называемые молодые московские промышленники, отличавшиеся по своим взглядам от старшего поколения русских предпринимателей. Февральскую революцию «Утро России» приветствовало как конец всяких революционных потрясений. После октября 1917 года газету закрыли. (*Примеч. ред.*)

27

American Relief Administration, ARA, неправительственная благотворительная организация, созданная в 1919 году для оказания продовольственной и иной помощи европейским странам, пострадавшим во время Первой мировой войны. Прекратила свою деятельность в России в июне 1923 года. Возглавлялась Г. Гувером. (*Примеч. ред.*)

ЛПФ.

29

Таммани-Холл – политическое общество Демократической партии США в Нью-Йорке, действовавшее с 1790-х по 1960-е годы и контролировавшее выдвижение кандидатов и патронат на Манхэттене с 1854 по 1934 год. Основано в 1789 году. Названо в честь Таманенда, дружественного белым вождя индейцев-делаваров. Таммани-Холл изначально ставило целью борьбу за интересы средних американцев против набравшей силу федералистской партии. Постепенно общество усиливало свое влияние, пока не превратилось в главную политическую силу Нью-Йорка. К 1870-м годам оно стало орудием верхушки Демократической партии и отличалось неразборчивостью в средствах и коррупцией своих лидеров. После серии скандалов и расследований Таммани-Холл проиграло важные муниципальные выборы 1932 года, после чего постепенно стало терять влияние. (*Примеч. ред.*)

30

Бейкер Эдди Мэри – американская писательница и общественно-религиозный деятель. Автор известной книги о «духовном врачевании» «Наука и здоровье, с ключом к Священному Писанию» (Science And Health, With Key To The Scriptures, 1875). Утверждала, что человек может сам исцелить себя и управлять своей жизнью. Она называла такое исцеление христианскими методами лечения. Мэри Бейкер Эдди утверждала, что за описываемыми в Библии чудесами, совершаемыми Иисусом, есть вполне объяснимые факты. Официальные религиозные конфессии считают движение Христианской науки псевдохристианской сектой. (*Примеч. ред.*)

31

ЛПФ.

32

Драматург сэр Уильям Швенк Гильберт (1836–1911) и композитор сэр Артур Сеймур Салливан (1842–1900) – английские авторы, создавшие во второй половине XIX века четырнадцать комических опер. В музыкальном театре англоговорящих стран Гильберт и Салливан занимают такое же, если не более высокое, место, какое в Австрии Штраус и Кальман, а во Франции – Оффенбах. В Англии даже есть труппа «Д'Ойли-Карт», которая ставит только эти оперы. Страстным любителем опер Гильберта и Салливана был балетмейстер Сергей Дягилев. (*Примеч. ред.*)

33

ЛПФ.

Exposes Bolshevik Misrule in Russia // New York Times. 1919. 30 января.

35

Письмо от 23 августа 1919 года, документы Лиллиан Уолд, папка 10, Колумбийский университет.

ЛПФ.

The Russian Cooperative News: Bulletin of the American Committee of Russian Cooperative Unions 1. № 1. 1919. Июнь.

38

The peace treaty has been signed // The Russian Cooperative News. № 3. 1919. Август.

39

Открылся в Москве 9 мая 1912 года. Идея создания подобного банка возникла на I Всероссийском съезде представителей кооперативных учреждений в 1908 году. Цель создания и деятельности – «доставлять денежные средства учреждениям мелкого кредита и всякого рода кооперативным предприятиям для облегчения их оборотов». Были учреждены агентства в Лондоне (1915 год) и Нью-Йорке (1916 год). (*Примеч. ред.*)

ЛПФ.

Prokofiev. Prokofiev by Prokofiev: A Composer's Memoir.

42

Прокофьев. Дневники 1907–1914.

43

В своих воспоминаниях Прокофьев пишет: «Из Иокогамы, с чудесной остановкой в Гонолулу, я перебрался в Сан-Франциско. Там меня не сразу пустили на берег, зная, что в России правят «максималисты» (так в то время в Америке называли большевиков) – народ не совсем понятный и, вероятно, опасный. Продержав дня три на острове и подробно опросив («Вы сидели в тюрьме?» – «Сидел». – «Это плохо. Где же?» – «У вас, на острове». – «Ах, вам угодно шутить!»), меня впустили в Соединенные Штаты». (*Примеч. ред.*)

Прокофьев. Дневники 1915–1923.

Прокофьев. Дневники 1907–1914.

Прокофьев. Дневники 1915–1923.

47

Там же.

Там же.

Прокофьев. Дневники 1915–1923.

50

Анисфельд Борис – живописец, график, сценограф, скульптор, педагог. С 1903 года выставлялся на отчетных выставках Академии художеств и Союза русских художников. С 1906 года выставлял свои работы за рубежом: в Париже был участником выставки русского изобразительного искусства, организованной С. Дягилевым. В 1910 году вошел в объединение «Мир искусства» и выставлялся до 1917 года на всех его выставках. В 1907 году оформил свой первый спектакль «Свадьба Зобеиды» Г. Гофмансталя. В 1909–1911 годах по эскизам Л. Бакста создал декорации для некоторых постановок Русских сезонов Дягилева. В 1912–1914 годах оформлял спектакли для заграничного турне А. Павловой, для лондонских выступлений В. Нижинского, для хореографа М. Фокина. В августе 1917 года выехал в США (через Сибирь, Японию, Канаду) и в 1918 году поселился в Нью-Йорке, где в Бруклинском музее состоялась выставка его работ, созданных в России. После ее огромного успеха совершил с выставкой двухгодичное турне по США. (*Примеч. ред.*)

51

Concert and Reception at the Brooklyn Museum // Brooklyn Daily Eagle. 1918. 30 октября.

Прокофьев. Дневники 1915–1923.

53

Там же.

Aldrich R. Serge Prokofieff a Virile Pianist // New York Times. 1918. 21 ноября.

Slonimsky N. Lexicon of Musical Invective: Critical Assaults on Composers Since Beethoven's Time. New York: W. W. Norton & Co., 2000.

Прокофьев. Дневники 1915–1923.

Прокофьев. Дневники 1915–1923.

58

Альтшулер Модест – российско-американский виолончелист и дирижер. С 1896 года жил и работал в США. В 1904 году основал в Нью-Йорке Оркестр Русского симфонического общества, просуществовавший около 15 лет и внесший значительный вклад в пропаганду русской музыки. Оркестр под управлением Альтшулера впервые в США исполнил многие сочинения Александра Скрябина и Первый фортепианный концерт Сергея Прокофьева. (*Примеч. ред.*)

Huneker J. G. Etude in Rhythms // Music: The Russian Symphony Orchestra // New York Times. 1918. 11 декабря.

ЛПФ.

61

Американский пианист А. Чейсинс писал о Годовском в своей книге «Говоря о пианистах»: «Он был человеком энциклопедических знаний и веселого, ненасытного любопытного ума. Он любил фейерверк интеллекта, и его сияющие голубые глаза блестели, а большой живот колыхался в дыму словесных боев… Днем и ночью здесь была толчея, шум и гам на четырех языках. Всех и каждого ждал радушный прием… Стол был всегда накрыт и ломился от еды и питья… Попси (так называли Годовского близкие и друзья) любил людей и любил быть окруженным ими… Вы могли застать у него десятка два людей… и не только музыкантов, но и Попсиного портного или мясника – любителей музыки, Альберта Эйнштейна или Чарли Чаплина…» (*Примеч. ред.*)

Прокофьев. Дневники 1915–1923.

First Person Plural: The Lives of Dagmar Godowsky. New York: Viking Press, 1958.

Отправная точка работы над ролью, по Адлер, – это воображение. Адлер призывает смотреть актера на жизнь не собственными глазами, а через призму своего воображения. Техника Адлер – это техника действия, именно поэтому она так востребована у киноактеров. Продумывая свои действия, актер должен обращать внимание на то, где, когда, что и почему он делает. Прежде чем работать над характером, нужно оценить обстоятельства, в которых находится герой. В обстоятельствах нужно жить, нужно, чтобы у них было свое настроение. Обстоятельства всегда на первом месте. В этом плане на актера влияет практически все, даже место. Человек ведет себя совершенно по-разному в церкви, баре или больнице – у каждого места свое настроение, и его нужно уловить. (*Примеч. ред.*)

Flint P. B. Stella Adler, 91, an Actress and Teatcher of the Method // New York Times. 1992. 22 декабря.

РГАЛИ. Ф. 1929 [14 января 1921 года].

Там же [31 января 1921 года].

ЛПФ.

Прокофьев. Дневники 1915–1923.

РГАЛИ. Ф. 1929 [29 декабря 1920 года].

ЛПФ.

72

РГАЛИ. Ф. 1929 [4 декабря 1919 года].

ЛПФ.

Прокофьев. Дневники 1915–1923.

75

Вулворт-билдинг – один из самых знаменитых небоскребов Нью-Йорка, построенный в 1910–1913 годах как штаб-квартира розничной сети F. W. Woolworth Company. Через 100 лет после постройки по-прежнему входит в список 50 высочайших небоскребов США. На 58-м этаже находится площадка для обозрения. В 1972 году этот небоскреб был объявлен национальной исторической достопримечательностью. (*Примеч. ред.*)

ЛПФ.

ЛПФ.

Прокофьев. Дневники 1915–1923.

79

Бауэр Гарольд – англо-американский пианист. Дебютировал как скрипач в 1883 году и на протяжении отроческих и юношеских лет гастролировал по Великобритании. По окончании курса по классу фортепиано в Париже в течение года гастролировал по России как пианист, затем выступал во Франции, Германии, Испании. В 1912 году был удостоен золотой медали Королевского филармонического общества. С началом Первой мировой войны обосновался в США, в 1917 году получил американское гражданство. В США Бауэр стал известным музыкальным педагогом, преподавал в Манхэттенской школе музыки. (*Примеч. ред.*)

ЛПФ.

81

Там же.

82

Ламе – вид парчовой ткани с тонкими металлическими нитями. Обычно ламе золотого или серебряного цвета; иногда цвета меди. (*Примеч. ред.*)

83

Кнайзель Франц – американский скрипач и музыкальный педагог немецко-румынского происхождения. Окончил Бухарестскую консерваторию, затем учился в Вене. Начал концертировать в 1882 году. С 1885 по 1905 год был концертмейстером в Бостонском симфоническом оркестре, одновременно выступая с оркестром как солист и исполняя обязанности помощника дирижера. В 1905 году переехал в Нью-Йорк и стал первым главой кафедры скрипки в Институте музыкального искусства. (*Примеч. ред.*)

ЛПФ.

ЛПФ.

Прокофьев. Дневники 1915–1923.

87

РГАЛИ. Ф. 1929 [14 декабря 1920 года].

РГАЛИ. Ф. 1929 [27 апреля 1921 года].

89

Там же [4 декабря 1920 года].

С этими духами связана любопытная история. В 1904 году Франсуа Коти создал аромат, который назвал La Rose Jacqueminot. Однако покупатели элитных магазинов не проявляли интереса к его духам. Однажды Франсуа Коти предпринял попытку продемонстрировать La Rose Jacqueminot покупательнице в Grands Magasins du Louvres, но та даже не пожелала, чтобы он открыл флакон. Тогда Коти, то ли от разочарования, то ли преднамеренно, разбил флакон, и магазин наполнился ароматом новых духов. Женщины бросились к нему, желая узнать, где можно купить эти духи. Руководство магазина тут же заключило договор с Коти. (*Примеч. ред.*)

91

РГАЛИ. Ф. 1929 [15 декабря 1920 года].

92

РГАЛИ. Ф. 1929 [15 декабря 1920 года].

93

Там же [29 декабря 1920 года].

РГАЛИ. Ф. 1929 [29 декабря 1920 года].

95

РГАЛИ. Ф. 1929 [19 декабря 1921 года].

96

«Безумства Зигфелда» – серия театральных постановок на Бродвее в Нью-Йорке, которые ставились с 1907 по 1931 год. Автором постановок являлся знаменитый американский конферансье Флоренз Зигфелд, который, вдохновившись парижским варьете Фоли-Бержер, решил создать нечто подобное в Соединенных Штатах. Шоу ставилось во многих театрах Нью-Йорка. В них принимали участие известные артисты. В 1936 году на киноэкраны вышел фильм «Великий Зигфелд», удостоенный премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», о жизни известного конферансье и о его знаменитом шоу. В 1946 году вышел еще один фильм, повествующий о шоу Зигфелда, который, как и его шоу, получил название «Безумства Зигфелда». За многими артистками, участвовавшими в шоу, закрепилось прозвище «девушка Зигфелда». Последней «девушкой Зигфелда», дожившей до наших дней, была Дорис Итон Трэвис, скончавшаяся в мае 2010 года в возрасте 106 лет. (*Примеч. ред.*)

РГАЛИ. Ф. 1929 [5 января 1921 года].

Французский театральный деятель Фирмен Жемье сказал, что никто из чужих деятелей искусств не сделал столько для развития французского искусства, сколько Балиев. Французское правительство наградило Балиева орденом Почетного легиона. (*Примеч. ред.*)

РГАЛИ. Ф. 1929 [14 декабря 1920 года].

100

Там же.

101

Там же.

102

РГАЛИ. Ф. 1929 [17 января 1921 года].

103

Там же. [5 января 1921 года].

104

Прокофьев, беспокоясь о судьбе балета, три года пролежавшего в дягилевском архиве, писал Дягилеву: «Какие Ваши планы и какова судьба моего бедного «Шута», так предательски похороненного в коварных складках Вашего портфеля?» (*Примеч. ред.*)

105

РГАЛИ. Ф. 1929 [1 марта 1921 года].

106

Там же.

107

РГАЛИ. Ф. 1929 [23 марта 1921 года].

108

Гончарова Наталья – русская художница-авангардистка. Правнучатая племянница жены Пушкина, Натальи Николаевны, в девичестве Гончаровой. В 1915 году, приняв приглашение Дягилева работать в качестве художника для Русских сезонов, Гончарова вместе с мужем приехала во Францию, где уже и осталась до конца жизни. Ее картины стоят дороже, чем работы любой другой художницы в истории. 18 июня 2007 года на вечерних торгах аукциона Christie's в Лондоне картина Гончаровой «Сбор яблок» (1909 год) была продана за 4,948 млн фунтов стерлингов, установив таким образом исторический рекорд стоимости работ художников-женщин. 2 февраля 2010 года на вечерних торгах аукциона Christie's в Лондоне картина Гончаровой «Испанка» (1916 год) была продана за 6 425 250 фунтов стерлингов, таким образом установлен новый исторический рекорд стоимости работ художников-женщин. (*Примеч. ред.*)

109

РГАЛИ. Ф. 1929 [24 марта 1921 года].

110

Там же [26 марта 1921 года].

111

РГАЛИ. Ф. 1929 [23 апреля 1921 года].

Прокофьев. Дневники 1915–1923.

113

РГАЛИ. Ф. 1929 [15 июня 1921 года].

114

Там же.

115

Там же.

116

РГАЛИ. Ф. 1929 [20 июня 1921 года].

117

РГАЛИ. Ф. 1929 [21 июня 1921 года].

118

Там же.

119

Там же.

120

РГАЛИ. Ф. 1929 [7 января 1922 года].

121

Там же [20 ноября 1921 года].

122

РГАЛИ. Ф. 1929 [8 декабря 1921 года].

123

РГАЛИ. Ф. 1929 [28 ноября 1921 года].

124

РГАЛИ. Ф. 1929 [28 ноября 1921 года].

125

Там же [29 сентября 1921 года].

126

РГАЛИ. Ф. 1929 [31 декабря 1921 года].

127

Там же.

128

Moore E. 'Love for Three Oranges' Color Marvel, but Enigmatic Noise // Chicago Daily Tribune. 1921. 31 декабря.

129

РГАЛИ. Ф. 1929 [*Hecht B.* Around the Town // Chicago Daily News. 1921.30 декабря].

Прокофьев. Дневники 1915–1923.

131

РГАЛИ. Ф. 1929 [8 декабря 1921 года].

132

Маринетти Филиппо – итальянский писатель, поэт. Автор первого манифеста футуризма (опубликован в парижской Figaro 20 февраля 1909 года), один из основоположников аэроживописи. В 1914 году посетил Россию по приглашению русских футуристов. В 1942 году отправился добровольцем на Восточный фронт. Был ранен под Сталинградом. Один из основателей итальянского фашизма, тесно сотрудничал с Муссолини. (*Примеч. ред.*)

133

Eva Didur Wins Throng // New York Times. 1918. 11 марта.

134

Театр получил имя своего владельца – Франческо Даль Верме. Открытие театра Даль Верме в 1872 году ознаменовалось постановкой оперы Джакомо Мейербера «Гугеноты». Еще большую известность и популярность театру принесли премьеры опер Руджеро Леонкавалло «Паяцы» в 1892 году и «Медичи» в 1893 году. В Даль Верме проводились бурные общественно-политические дебаты и форумы, а позднее – киносеансы, концерты, конференции и выставки. В 1946–1947 годах Даль Верме, пострадавший в результате военных бомбардировок, подвергся серьезной реконструкции. Сегодня Даль Верме – престижный, всемирно известный концертный и конференц-зал, а также место проведения предстоящей международной выставки ЭКСПО-2015. (*Примеч. ред.*)

135

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [6 апреля 1922 года].

136

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [1 июня 1922 года].

137

Там же.

138

Там же.

139

Там же [2 июля 1922 года].

140

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [9 июля 1922 года].

141

Там же.

142

Там же [2 июля 1922 года].

143

Там же [8 июня 1922 года].

144

Там же [9 июля 1922 года].

145

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [13 июля 1922 года].

146

Там же [9 июля и 29 июля 1922 года].

147

Там же [13 июля 1922 года].

148

Там же [18 июля 1922 года].

149

Там же [29 июля 1922 года].

150

Пуленк Франсис – один из самых обаятельных композиторов, которых дала миру Франция в XX столетии. Он вошел в историю музыки как участник творческого Союза шести. В «Шестерке» – самый молодой, едва перешагнувший порог двадцатилетия, – он сразу завоевал авторитет и всеобщую любовь своим талантом – самобытным, живым, непосредственным, а также чисто человеческими качествами – неизменным юмором, добротой и чистосердечностью, а главное – умением одаривать людей своей необыкновенной дружбой. «Франсис Пуленк – это сама музыка, – писал о нем Д. Мийо, – я не знаю другой музыки, которая действовала бы столь же непосредственно, была бы столь же просто выражена и достигала бы цели с такой же безошибочностью». (*Примеч. ред.*)

151

Расшифровка стенограммы интервью ЛП Филлипу Раме, 8 июля 1979 года, с. 6.

152

Как писал о Карповиче один из его учеников, он открыл студентам путь к познанию «действительной, а не воображаемой России». Вел три обширных курса: «Введение в историю России», «Русская литература XIX в.», «История идейных течений в России», читал также лекции по всеобщей истории Европы. По отзывам слушателей, каждая такая лекция была произведением искусства, заключая в себе богатство материала, тонкость анализа и совершенство формы. К 70-летию Карповича двадцать семь его учеников преподнесли ему сборник своих очерков с посвящением: «Михаилу Карповичу в знак преклонения, любви и благодарности». Прошедшие его школу историки преподавали более чем в двадцати университетах и колледжах США, в том числе в Гарвардском, Йельском, Калифорнийском и Чикагском университетах (*Русское* зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь. М.: Российская политическая энциклопедия, 1997. С. 281–282). (*Примеч. ред.*)

153

РГАЛИ. Ф. 1929 [16 октября 1922 года].

154

Там же [17 декабря 1922 года].

155

РГАЛИ. Ф. 1929 [27 февраля 1923 года].

156

Там же [12 апреля 1923 года].

157

В 1930 году, надеясь превзойти знаменитый Ла Скала, театр «Карнако» поставил оперу Винченцо Беллини «Сомнамбула». После премьеры, состоявшейся в театре «Каркано» 6 марта 1831 года, одна из газет писала: «Мы еще оглушены аплодисментами, криками, шумными вызовами. Мало можно найти примеров, когда публика аплодировала бы столь бурно. Даже трудно сказать, сколько раз вызывали композитора и певцов – двенадцать, пятнадцать или двадцать». Небывало новой, неслыханной, неповторимой в своей цельности казалась современникам кантилена последней арии Амины «Ах, как поблек ты скоро, цветочек». Много лет спустя эта фраза была высечена на надгробном памятнике Беллини в соборе его родного города Катании. (*Примеч. ред.*)

158

РГАЛИ. Ф. 1929 [18 февраля 1923 года].

159

Il ‘Rigoletto’ al Carcano // Corriere della Sera. 1932. 4 марта. С. 5.

160

РГАЛИ. Ф. 1929 [9 марта 1923 года].

161

Il ‘Rigoletto’ al Carcano.

162

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [30 марта 1923 года].

163

Там же [17 марта 1923 года].

164

Там же [15 апреля 1923 года].

165

РГАЛИ. Ф. 1929 [17 апреля 1923 года].

166

РГАЛИ. Ф. 1929 [9 мая 1923 года].

Sprkfv.net/journal/three03/ettal1.html.

168

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [получено 21 июля 1923 года].

169

Письмо от 30 мая 1923 года, СП – Фатьме Ханум Самойленко; МХБ.

170

В книге Л. Троцкого «Литература и революция» творчество Белого было подвергнуто уничтожающему разбору, а сам писатель объявлен «покойником», который «ни в каком духе… не воскреснет»; оценка, высказанная вторым лицом в государстве, недвусмысленно указывала на то место, которое отводилось Белому в современной литературной жизни. За месяц до надвигающегося юбилея Белый писал В. Э. Мейерхольду (5 марта 1927 года): «Так, как поступили со мной, хуже расстрела: живого, полного энергии человека заживо закопали. Но он из своего гроба создал себе новое воскресение; он вышел из социального гроба в отшельничество, уселся за книги, за мысли. И стал еще живей, чем прежде». (*Примеч. ред.*)

171

Своеобразная трактовка романа автором книги. (*Примеч. ред.*)

172

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 1 [*Ussher B. D.* Prokofieff Believes in the Advent a «New Simplicity» // Los Angeles Evening Express, 19 февраля 1930 года].

173

РГАЛИ. Ф. 1929 [7 февраля 1924 года].

174

Прокофьев. Дневники 1907–1933 [27 февраля 1924 года].

175

Прокофьев. Дневники 1907–1933 [14 марта 24 года].

Второй женой Кусевицкого была Наталья Константиновна Ушкова. Ее отец – потомственный москвич, купец-миллионер, меценат, меломан, почетный директор Филармонического общества (стипендиатом которого С. А. Кусевицкий являлся в годы студенчества). Интересная, образованная женщина, Ушкова посещала Московский университет, знала несколько языков, занималась живописью, скульптурой. Венчание происходило в Дрездене 8 сентября 1905 года (во время триумфальных гастролей С. А. Кусевицкого по Германии). Это был, безусловно, брак по любви, хотя злые языки и поговаривали о корысти Сергея Александровича. (*Примеч. ред.*)

177

Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой.

178

Коул Портер был не только и не столько успешным композитором-песенником, он был звездой парижского бомонда. (*Примеч. ред.*)

179

«Балетом «Лани» постановщики намеревались показать своего рода «Сильфиду» XX века («Сильфида» – первый романтический балет (1832), написанный Шнейцгоффером на либретто певца Адольфа Нурри, в котором дебютировала знаменитая французская балерина Мария Тальони). Композитор замыслил устроить на сцене современный «галантный праздник», в котором каждый может увидеть то, что вообразит. Сценария практически не существовало. Пуленк говорил, что ему хотелось воссоздать в балете атмосферу своего юношества, а также доставить зрителям удовольствие. О названии речь зашла, как всегда, в последнюю очередь. «Я занимался поисками названия, подобного «Сильфиде», как вдруг меня осенило: «Почему бы не «Лани»? Тем самым появлялась возможность сыграть на чисто женских сторонах любви Мари Лорансен к животным, а также на двойном смысле слова biche во французском языке» (biche во французском языке, кроме основного значения «лань», переводится также «дорогая», «милая»)» (*Медведева И. А.* Франсис Пуленк. М., 1969). (*Примеч. ред.*)

180

Прокофьев. Дневники 1907–1933 [7 октября 1924 года].

181

Там же [12 декабря 1924 года].

182

СПА [28 июля 1924 года].

183

Там же.

184

РГАЛИ. Ф. 1929 [25 декабря 1927 года].

185

Прокофьев. Дневники 1907–1933 [30 июля 1926 года].

186

ВОКС – советская общественная организация, основанная в 1925 году. Официально в задачи ВОКС входило ознакомление общественности СССР с достижениями культуры зарубежных стран и популяризация культуры народов Советского Союза за границей, содействие развитию и укреплению дружбы и взаимопонимания между народами СССР и других стран. ВОКС занимался организацией международных выставок, участия советского искусства в за рубежных фестивалях и конкурсах, поездок в СССР делегаций зарубежных обществ дружбы и культурных связей с СССР, а также отдельных видных деятелей науки и культуры. (*Примеч. ред.*)

187

Сигети Йожеф – венгерский и американский скрипач. В 1924–1927 годах неоднократно посещал с гастролями СССР; был одним из первых исполнителей Первого скрипичного концерта Сергея Прокофьева (в том числе на Втором фестивале Международного общества современной музыки в 1924 году). (*Примеч. ред.*)

188

Красин Борис – советский музыкальный деятель. Младший брат Леонида Борисовича Красина. С 1918 года руководил музыкальными отделами Московского пролеткульта, Главнауки, Главполитпросвета, Главпрофобра. Был председателем правления и директором-распорядителем Российской филармонии (Росфил). (*Примеч. ред.*)

189

Прокофьев. Дневники 1907–1933 [24 июля 1925 года].

190

Прокофьев. Дневники 1907–1933 [24 июля 1925 года].

191

Там же [24 июля 1925 года].

192

Прокофьев. Дневники 1907–1933 [27 июля 1925 года].

193

Брюсова Надежда – советский музыковед, деятель в области музыкального образования и просвещения. Сестра поэта В. Я. Брюсова. В 1918–1929 годах работала в Наркомпросе РСФСР по руководству музыкальными учебными заведениями. (*Примеч. ред.*)

194

Прокофьев. Дневник за 1927 год.

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

196

Якулов ввел в балет шокирующие публику урбанистические элементы: механические движущиеся части, вплоть до настоящего молота. Балетмейстер Леонид Мясин в восторге писал: «Колеса и поршни на сцене двигались в такт ударам молотов молодых рабочих, а усилив картину большой группой на просцениуме, я добился многослойной композиции, сплавившей сценическое движение и движения тел, и создал кульминацию небывалой силы». (*Примеч. ред.*)

197

Прокофьев. Дневники 1907–1933 [12 июля 1925 года].

198

Расшифровка стенограммы интервью ЛП Филлипу Раме, 8 июля 1979 года, с. 4.

199

Прокофьев. Дневники 1907–1933 [8 января 1926 года].

200

СПА, вырезка 047 [*Lederman B.* Serge Prokofieff Heard // Musical America, 6 февраля 1926 года].

201

СПА, вырезка 041 [«Russian Pianist, Here For Concert, Says Native Land Is Music Hungry». Saint Paul Pioneer Press. 1926. 9 января].

202

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 1 [«Russian Composer Seeks New Art» // Portland Telegram. 1926. 15 января].

203

Там же [Prokofieff Plays Piano Concerto to Audience of Two // 1926. 27 февраля].

204

Расшифровка стенограммы интервью ЛП Филлипу Раме, 9 июля 1979 года, с. 2, 3.

205

РГАЛИ. Ф. 1929 [15 января 1926 года].

206

РГАЛИ. Ф. 1929 [15 января 1926 года].

207

Там же.

208

СПА, вырезка 042 [*Longacre L. B.* Russian Composer Presents Own Works to Pro Musica // Denver Times. 1926. 13 января].

209

РГАЛИ. Ф. 1929.

210

Старейшее музыкальное учреждение Италии. Объединяет собственно академию, консерваторию, симфонический оркестр, музыкальную библиотеку, музей музыкальных инструментов и др. Основана в Риме в 1584 году по указу папы Григория XIII в виде конгрегации, с 1838 года – академия. Первоначально готовила церковных певцов и инструменталистов. Объединив крупнейших итальянских композиторов и исполнителей, академия с начала XVII века стала важнейшим музыкальным центром Италии, сыгравшим выдающуюся роль в формировании национальной композиторской школы. Среди ее членов были: К. Монтеверди, Дж. Фрескобальди, Дж. Кариссими, А. и Д. Скарлатти, Л. Керубини, М. Клементи, Г. Спонтини, Н. Паганини, Дж. Россини, Г. Доницетти, Дж. Верди, Дж. Пуччини, А. Тосканини. В числе почетных (иностранных) членов академии: Р. Вагнер, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, К. Дебюсси, М. Равель, К. Сен-Санс, Дж. Энеску, П. Хиндемит, А. Онеггер, Ф. Пуленк, Б. Бриттен, И. Ф. Стравинский, А. К. Глазунов, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян, Д. Ф. Ойстрах. (*Примеч. ред.*)

211

В 1970 году, после смерти Шарля де Голля, была официально переименована в площадь Шарля де Голля. (*Примеч. ред.*)

212

Персимфанс (Первый симфонический ансамбль, или Первый симфонический ансамбль Моссовета) – оркестр, существовавший в Москве с 1922 по 1932 год. Созданный по инициативе скрипача Льва Цейтлина под влиянием большевистской идеи «коллективного труда», Персимфанс стал первым высококлассным коллективом, которому удалось воплотить в жизнь симфоническое исполнение, основываясь лишь на творческой инициативе каждого из музыкантов. (*Примеч. ред.*)

Sprkfv.net/journal/three11/intimate2.html.

214

Нансеновский паспорт – международный документ, который удостоверял личность держателя и впервые начал выдаваться Лигой Наций для беженцев без гражданства. Этот документ был разработан в 1922 году норвежцем Фритьофом Нансеном, комиссаром Лиги Наций по делам беженцев. В 1942 году этот паспорт признали правительства 52 государств, и он стал первым проездным документом для беженцев. Этот документ стал предпосылкой для проездного документа беженца, ратифицированного Конвенцией ООН о статусе беженцев 1951 года. Международный офис Нансена по вопросам беженцев получил в 1938 году Нобелевскую премию за усилия по распространению паспорта Нансена. (*Примеч. ред.*)

215

Белорусский вокзал (в 1870–1871 – Смоленский, в 1871–1912 и в 1917–1922 – Брестский, в 1912–1917 – Александровский, в 1922–1936 – Белорусско-Балтийский) – пассажирский терминал станции Москва-Пассажирская-Смоленская, один из девяти железнодорожных вокзалов Москвы. (*Примеч. ред.*)

Прокофьев. Дневник 1927 года.

217

«Он единственный человек в Персимфансе, не состоявший членом оркестра; должность его заключается в изготовлении программ, давании объяснений по радио во время концертов и, разумеется, проталкивании всяких дел Персимфанса сквозь правительство» (из дневника С. Прокофьева). (*Примеч. ред.*)

218

Владимир Держановский окончил Тифлисский кадетский корпус, учился в музыкальном училище Тифлисского отделения РМО, служил оркестрантом в оперетте и цирке. В 1900–1902 годах военный капельмейстер. В 1902–1903 годах учился в Московской консерватории по классу тромбона. В 1903–1906 годах организатор концертов в пользу московской организации РСДРП. В 1905 году участник Московского вооруженного восстания. В 1910–1913 годах заведующий каталожно-библиографическим отделом музыкального издательства П. И. Юргенсона. В 1917 году сотрудник музыкального отдела Наркомпроса. В 1922–1929 годах организатор и заведующий нотным отделом акционерного общества «Международная книга», один из организаторов Ассоциации современной музыки. В 1934–1935 годах организатор и редактор изданий «Советская оркестротека» Союза композиторов. С 1901 года музыкальный критик и рецензент газет и журналов «РМГ», «Русский листок», «Русские ведомости», большевистских газет «Новая жизнь», «Борьба» и др. В 1910–1916 годах издатель и редактор еженедельника «Музыка», один из редакторов журнала «К новым берегам» (1923), «Современная музыка» (1924, 1925, 1927–1929) и др. (*Примеч. ред.*)

219

«Метрополь» – так называемый второй Дом Советов. Таких Домов Советов в Москве было много, плюс в Кремле были оборудованы квартиры в двадцати зданиях. Знаменитые Дома Советов – это гостиницы «Националь», «Метрополь» и «Петергоф», дома графа Шереметева, князя Куракина, дома на Знаменке, Неглинной и на Пречистенском бульваре. Границы проживания большевистской верхушки в Москве совершенно совпадают с территорией опричных земель при Иване Грозном («Исторические хроники Николая Сванидзе»). (*Примеч. ред.*)

Из дневника С. Прокофьева. (*Примеч. ред.*)

221

Современное название – Пушкинская площадь – получила в 1937 году. (*Примеч. ред.*)

222

В 1921 году в Москве появились жилищные товарищества. Вот что писал о появлении таких организаций жителей журнал «Коммунальное хозяйство» за 1927 (1928) год: «С введением новой экономической политики начался период упорядочения жилищного дела. Интересы города диктовали необходимость немедленно остановить дальнейшее разрушение жилых строений… Первым основным мероприятием Моссовета было возложение забот о домовладениях на населяющих их жильцов, организованных в коллективы. Моссовет исходил из необходимости иметь в каждом доме особый орган, который заботился бы об исправном содержании строений, производил бы необходимый ремонт и был бы ответственным за все состояние домовладения… Был выброшен и начал проводиться в жизнь лозунг: «Забота о сохранении жилища есть дело его потребителя», что и послужило причиной создания жилищных товариществ». (*Примеч. ред.*)

223

Прокофьев. Дневник 1927 года.

Прокофьев. Дневник 1927 года.

225

Центральная комиссия по улучшению быта ученых при СНК РСФСР – исполнительный орган советской власти, задачей которого являлось создание рабочих условий для научно-технической и творческой интеллигенции России в условиях военного коммунизма. Была создана согласно постановлению СНК РСФСР от 6 декабря 1921 года «Об улучшении быта ученых». (*Примеч. ред.*)

Из дневника С. Прокофьева. (*Примеч. ред.*)

227

ЛПФ.

Taruskin R. Defining Russia Musically (*Тарускин Р.* Россия музыкальная).

229

ЛПФ.

230

Бейсик-инглиш – базовый английский, международный искусственный язык на основе английского языка, созданный в 1925 году британским лингвистом Чарльзом Огденом. Основное отличие от английского языка – сокращенный словарь (850 слов), английская грамматика осталась в основном без изменений. (*Примеч. ред.*)

231

Прокофьев. Дневник 1927 года; ЛПФ.

232

Октябрьский вокзал – до 1924 года назывался Николаевским, с 1923 по 1930 год в связи с переименованием Николаевской железной дороги в Октябрьскую стал именоваться Октябрьским, а в 1930 году был переименован в Московский. (*Примеч. ред.*)

233

В дневнике Прокофьев написал: «Мелькает Солнцево, у которого не останавливаемся; я стою у окна». Ностальгию вызвало название города Солнцево Курской области. Солнцовка, в которой он родился и вырос, находится на Украине (современное село Красное Красноармейского района Донецкой области). (*Примеч. ред.*)

Прокофьев. Дневник 1927 года.

235

Там же.

Прокофьев. Дневник 1927 года.

237

Крещатик в период с 14 мая 1923 до 13 июля 1937 года назывался улицей Вацлава Воровского. (*Примеч. ред.*)

Из дневника С. Прокофьева. (*Примеч. ред.*)

239

Расшифровка стенограммы интервью ЛП Филлипу Раме, 13 июля 1979 года, с. 4.

240

Там же.

241

Там же.

242

Там же.

243

Там же.

Второй серьезный пожар – первый был в 1873 году, через 64 года после открытия – произошел в Одесском оперном театре 15 марта 1925 года после оперы Джакомо Мейербера «Пророк» – из-за неосторожного обращения с огнем. Пожар повредил зал, уничтожил сцену, декорации, костюмы. Пострадали нотная библиотека и занавес, на котором художник Франц Лефлер изобразил сцену из «Руслана и Людмилы». Но уже спустя год в театре возобновились спектакли, сцена получила новое техническое оснащение, оборудована двумя железобетонными занавесами, которые при необходимости отсекают сцену от зрительного зала и служебных помещений. Новый декоративный занавес был выполнен по эскизам известного театрального художника Александра Головина. (*Примеч. ред.*)

Из дневника С. Прокофьева. (*Примеч. ред.*)

Из дневника С. Прокофьева. (*Примеч. ред.*)

247

Там же: «Утром заходила к нам Шура Сержинская, моя троюродная племянница… У нее сын комсомолец. Как бы отвечая на наше удивление, она сказала: «Ну что ж, когда раньше в гимназиях пичкали катехизисом, то это не значит, что дети становились от этого религиозными. Так и теперь: когда их пичкают безбожием, то это не значит, что они становятся антирелигиозными. Политграмота в теперешней школе – такая же скучная зубрежка, как катехизис в царских гимназиях. Зато, будучи комсомольцем, мой сын имеет шансы на лучшую жизненную дорогу». (*Примеч. ред.*)

Прокофьев. Дневник 1927 года.

249

Прокофьев. Дневник 1927 года; ЛПФ.

Из дневника С. Прокофьева. (*Примеч. ред.*)

Прокофьев. Дневник 1927 года. (*Примеч. ред.*)

252

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [23 апреля 1929 года].

Mann. Georgii Gorchakov and the story of an unknown Prokofiev biography. P. 11.

Mann. Georgii Gorchakov and the story of an unknown Prokofiev biography. P. 11

Ibid. P. 12.

Mann. Op. cit. P. 12.

Ibid.

258

Международная газета. Была основана в 1908 году Мэри Бейкер Эдди. Освещает международные новости и текущие события в Соединенных Штатах. (*Примеч. ред.*)

Прокофьев. Дневники 1907–1933. (*Примеч. ред.*)

Там же. (*Примеч. ред.*)

Прокофьев. Дневники 1907–1933.

262

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [20 сентября 1931 года].

263

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [6 октября 1931 года].

Morrison S. Op. cit.

265

Фильм был снят кинокомпанией «Советская Беларусь», располагавшейся в период с 1928 по 1939 год в арендованном здании бывшего театра «Кривое зеркало» на канале Грибоедова в Ленинграде. Название «Беларусь-фильм» киностудия получила в 1946 году. С 1996 года – Национальная киностудия «Беларусьфильм». (*Примеч. ред.*)

266

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [25 мая 1934 года].

267

РГАЛИ. Ф. 1929 [19 ноября 1934 года].

268

Прокофьев. Дневники 1907–1933 [5 марта 1929 года].

269

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [16 августа 1933 года].

«Новое французское обозрение» – французский литературный журнал, который пользовался огромным влиянием в период между мировыми войнами. Основан в 1908 году по инициативе Шарля Луи Филиппа группой творческой молодежи, в том числе Жаком Копо и Андре Жидом. (*Примеч. ред.*)

271

РГАЛИ. Ф. 1929 [4 января 1935 года].

Мироненко Е. С. Сергей Прокофьев и Молдова: творческие и биографические связи.

273

Расшифровка стенограммы интервью ЛП Филлипу Раме, 9 июля 1979 года. С. 3.

27 4

Расшифровка стенограммы интервью ЛП Филлипу Раме, 9 июля 1979 года. С. 4.

275

РГАЛИ. Ф. 1929 [18 апреля 1934 года].

Прокофьев был на Урале. «Сергей Сергеевич Прокофьев посетил Свердловск в марте 1935 года. Помимо концертов в оперном театре, клубе Уралмашзавода и клубе железнодорожников, Прокофьев выступил в зале консерватории, встретился с художественной интеллигенцией города в Доме литературы и искусств, вместе со свердловскими артистами и музыкантами принял участие в утреннике деткоров, организованном редакцией газеты «Всходы коммуны» в оперном театре. Официальную часть визита дополнила экскурсия на Уралмаш. «Большой современный композитор посетил большой социалистический завод: осмотрел его основные цехи и побеседовал с сотрудниками заводской газеты» (из книги «Композитор Сергей Прокофьев в столице Урала» Сергея Беляева, профессора Уральской государственной консерватории). (*Примеч. ред.*)

277

СПА [31 марта 1935 года].

СПА [31 марта 1935 года].

279

Мутных Владимир – бригадный комиссар, член ВКП(б) с 1918 года, начальник Центрального дома Красной армии, директор Государственного академического Большого театра, арестован 20.04.1937, расстрелян 27.11.1937, реабилитирован 15.08.1956. (*Примеч. ред.*)

280

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [25 июля 1935 года].

281

Там же.

282

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [11 августа 1935 года].

283

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [31 октября 1935 года].

284

Там же. [27 ноября 1935 года].

285

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [30 ноября и 1 декабря 1935 года].

СПА.

287

Там же.

Там же.

289

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [19 декабря 1935 года].

290

Там же [30 ноября и 1 декабря 1935 года].

ЛПФ.

292

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 4 [8 ноября 1935 года].

293

«Сумбур вместо музыки» – редакционная статья в газете «Правда» от 28 января 1936 года об опере Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». В статье опера Шостаковича подвергалась резкой критике за «антинародный» характер. От имени партии и народа композитор и его опера были осуждены за «левацкий сумбур» и «мейерхольдовщину в умноженном виде», за «сексуальный натурализм» и «мелкобуржуазные формалистические потуги». Статья была опубликована без подписи, что породило различные версии о ее авторстве: назывались имена и самого И. В. Сталина, и П. М. Керженцева, и сотрудника «Правды» Бориса Резникова. Однако, как теперь установлено по архивным данным, автором был Давид Заславский. (*Примеч. ред.*)

В передовой статье газеты «Правда» от 6 февраля 1936 года, в частности, говорилось: «Наши художники, мастера танца, мастера музыки безусловно могут в реалистических художественных образах показать современную жизнь советского народа, используя его творчество, песни, пляски, игры. Но для этого надо упорно работать, добросовестно изучать новый быт людей нашей страны, избегая в своих произведениях, постановках и грубого натурализма, и эстетствующего формализма. Музыка Д. Шостаковича под стать всему балету. В «Светлом ручье», правда, меньше фокусничанья, меньше странных и диких созвучий, чем в опере «Леди Макбет Мценского уезда». В балете музыка проще, но и она решительно ничего общего не имеет ни с колхозами, ни с Кубанью. Композитор так же наплевательски отнесся к народным песням Кубани, как авторы либретто и постановщики к народным танцам. Музыка поэтому бесхарактерна. Она бренчит и ничего не выражает. Из либретто мы узнаем, что она частично перенесена в колхозный балет из не удавшегося композитору «индустриального» балета «Болт». Ясно, что получается, когда одна и та же музыка должна выразить разные явления. В действительности она выражает только равнодушное отношение композитора к теме. Авторы балета – и постановщики и композитор – по-видимому, рассчитывают, что публика наша так нетребовательна, что она примет все, что ей состряпают проворные и бесцеремонные люди. В действительности нетребовательна лишь наша музыкальная и художественная критика. Она нередко захваливает произведения, которые этого не заслуживают». (*Примеч. ред.*)

295

РГАЛИ. Ф. 1929 [22 февраля 1936 года].

Там же.

297

РГАЛИ. Ф. 1929 [22 февраля 1936 года].

Там же.

299

Там же. [24 февраля 1936 года].

РГАЛИ. Ф. 1929 [1 марта 1936 года].

301

Там же.

302

Там же.

303

РГАЛИ. Ф. 1929 [1 марта 1936 года].

Там же.

305

Письмо от 11 сентября 1935 года, СП – Ольге Кодина; МХБ.

306

МХБ.

307

ЛПФ.

308

Первоначально, с 1936 по 1941 год, назывался Дом пионеров и октябрят. Его деятельность в этот период определялась главной воспитательной задачей, сформулированной следующим образом: «Это первая из лабораторий, которые создаются в советской стране для воспитания нового человека, культурного гражданина социалистической Родины…» (журнал «Вожатый», 1936 год). Направления работы в этот период: массовая политико-воспитательная работа; учебная работа; методическая деятельность в помощь пионерской организации, а также учебным и внешкольным учреждениям по организации кружковой работы. (*Примеч. ред.*)

309

Prokofiev O. Papers from the Attic: My Father, His Music, And I // Yale Literary Magazine 148:2 (September 1979): 21.

ЛПФ.

311

Там же.

312

Запись в дневнике Прокофьева от 25 мая 1933 года: «Вечером на концерте лауреатов Всесоюзного музыкального конкурса. Неожиданно очень интересно, есть таланты. В левой ложе, полузадернутой шторами, правительство. В зале шепчут, что также Сталин. Мы сидим во втором ряду, я не оглядываюсь. Пташка по окончании антракта взглянула на ложу и встретилась глазами со Сталиным, который как раз туда входил. Взгляд его настолько волевой, что она сейчас же отвернулась». (*Примеч. ред.*)

313

ЛПФ

314

Там же.

315

ЛПФ.

ЛПФ.

317

ЛПФ.

318

РГАЛИ. Ф. 1929 [7 августа 1932 года].

319

Там же.

320

Там же.

321

ЛПФ.

Там же.

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

Prokofiev O. Papers from the Attic: My Father, His Music, And I // Yale Literary Magazine, 148:2 (September 1979): 21.

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

326

Из доклада Керженцева Молотову: «Поддерживая всячески желание Прокофьева создать кантату, мы указали ему неприемлемость построения кантаты целиком на цитатах из Ленина, случайно собранных и между собой не связанных… Мы считаем, что такое обращение с ленинскими цитатами (особенно в условиях вокального исполнения) не может быть оправдано ни политически, ни художественно». Он решил не ограничиваться текстами Ленина и замахнулся на творчество самого Сталина. Однако хоровое исполнение сталинских речей было совсем непозволительно. (*Примеч. ред.*)

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

329

Артисты подвергли балет настоящей обструкции. По театру ходил злой парафраз из Шекспира: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». (*Примеч. ред.*)

330

Интервью ЛП – МХБ, 1–2 апреля 1985 года.

ЛПФ.

332

Интервью ЛП – МХБ, 20 декабря 1982 года.

333

РГАЛИ. Ф. 1929 [6 декабря 1936 года, неотосланное].

Там же.

335

Там же.

336

РГАЛИ. Ф. 1929 [6 декабря 1936 года, неотосланное].

Berezowsky. Duet with Nicky. P. 209.

Ibid. P. 211.

Ibid. P. 212.

Ibid. P. 210.

Berezowsky. Duet with Nicky. P. 213.

Ibid. P. 211.

343

С 1890-х ярко освещенный участок Бродвея, который проходит по территории Театрального квартала, стали называть «Великий Белый Путь». (*Примеч. ред.*)

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

Ibid.

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

Ibid.

348

РГАЛИ. Ф. 1929 [получено 11 августа 1937 года].

349

СПА [11 сентября 1937 года].

350

Борис Мороз эмигрировал в США в 1922 году. Был членом Коммунистической партии США. Кроме нескольких номинаций на «Оскар», известен тем, что был «двойным агентом» во времена Второй мировой войны – работал на советские и американские спецслужбы одновременно. В частности, состоял «на связи» у известного разведчика Василия Зарубина, которого в итоге и сдал американцам. Впоследствии написал книгу «Мои десять лет в контригре», на основе которой был снят фильм «Человек на веревочке». После отъезда в США у Бориса остались в Днепропетровске отец и брат. (*Примеч. ред.*)

351

Tin Pan Alley – «улица жестяных сковородок» (или «жестяных кастрюль») – собирательное название американской коммерческой музыкальной индустрии. Первоначально название относилось к 28-й улице на Манхэттене в Нью-Йорке, на которой с 1900 года были сосредоточены ведущие нотоиздательские фирмы, торговые и рекламные агентства, специализирующиеся на развлекательной музыке. По сохранившимся свидетельствам, на улице стоял разноголосый музыкальный шум – звуки многочисленных фортепиано, на которых проигрывались новинки поп-музыки. В настоящее время на тротуаре 28-й улицы установлена мемориальная доска. В 1903 году американский журналист М. Розенфельд сравнил 28-ю улицу с громадной кухней, где что-то торопливо готовят, побрякивая сковородками и кастрюлями. С тех пор это название употребляется как синоним коммерческой музыкальной «кухни». (*Примеч. ред.*)

Harrison P. How Hollywood Receives One with High Rank in World of Music // San Jose Evening News. 1938. 11 апреля. С. 7.

353

Ibid.

354

Открытка от 29 (?) января 1938 года, ЛП – Ольга Кодина; МХБ.

355

Там же.

Prokofiev O. Papers from the Attic: My Father, His Music, And I // Yale Literary Magazine, 148:2 (September 1979): 21.

357

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 2.

Там же.

359

Письмо от 4 марта 1938 года, СП – Ольга Кодина, МХБ.

360

Мамулян Рубен – ученик легендарного режиссера Евгения Вахтангова, поклонник творчества Марка Твена и Джека Лондона, армянин родом из Тбилиси, гражданин Америки, вошел в историю кино как инновационный режиссер. Из-за революционных событий он покинул Москву и уехал домой в Тифлис, но в 1918 году перебрался в Англию, где к тому времени жила его сестра, вышедшая замуж за англичанина. Волею случая Рубен Мамулян начал свою режиссерскую деятельность в Лондоне. Чуть позже работа Мамуляна привлекла внимание американского антрепренера Джорджа Истмэна. Он предложил Рубену переехать работать в Америку, ставить оперные спектакли. За три года, проведенные в Америке, Мамулян поставил отрывки из таких опер, как «Риголетто» Верди, «Севильский цирюльник» Россини, «Тангейзер» Вагнера, «Ромео и Джульетта» Гуно, «Пиковая дама» Чайковского, «Борис Годунов» Мусоргского, «Паяцы» Леонкавалло. Он осуществил постановку «Фауста» Гуно и «Кармен» Бизе. В конце 20-х годов XX века Рубена пригласили на Бродвей, и он переехал в Нью-Йорк. Когда началась эра звукового кино и нужны были профессионалы, которые бы научили «немых» актеров говорить на экране, студия Paramount Pictures предложила Мамуляну стать преподавателем, но он ответил встречным предложением – попробовать себя в качестве режиссера. Освоив кинопроизводство буквально за несколько недель, он сделал свой первый фильм «Аплодисменты» (1929), который поразил своим новаторским подходом к созданию кинокартинки: свобода движения камеры, монтаж звука и изображения. Неутомимый экспериментатор с врожденным вкусом и интеллектом, он оставил свой след в становлении кинопроизводства. Мамулян снял шестнадцать фильмов. Он одним из первых снял звуковой мюзикл, положив начало этому популярному в Америке жанру. Рубен Мамулян, великий киноэкспериментатор, сказал об оценке своего вклада в кинематограф: «Самый главный критик – это время». (*Примеч. ред.*)

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

Ibid.

Hodgson P. J. Lina Prokofiev and Christian Science [не опубликовано]; США.

МХБ.

365

Там же.

ЛПФ.

367

Осматривая Оперу, Гитлер поразил служителя прекрасным знанием планировки здания: изучив накануне все планы театра, он смог указать смотрителю, что на плане есть одно секретное помещение, входа в которое в действительности нет. Тот был просто потрясен осведомленностью фюрера! Проехав от Оперы по бульвару Капуцинок к церкви Мадлен, кортеж остановился, и, зайдя в церковь, Гитлер долго разглядывал огромную фреску над алтарем, изображающую императора Наполеона I. Потом, сфотографировавшись на высоких ступенях церкви, Гитлер отправился по Королевской улице на площадь Согласия. Как пишет в своих мемуарах Альберт Шпеер, «Гитлер поднялся с сиденья своего «мерседеса», и, пока над Парижем вставал рассвет, автомобили медленно кружили по площади Согласия, чтобы фюрер мог увидеть город, о котором он мечтал с детства!». Проехав по Елисейским Полям, кортеж Гитлера объехал вокруг Триумфальной арки, а затем направился к Трокадеро, откуда открывается самый потрясающий вид на Эйфелеву башню. Именно там, на эспланаде дворца Шайо, по иронии судьбы названной позднее Эспланадой прав человека, и был сделан этот легендарный снимок, обошедший весь мир: Гитлер на фоне Эйфелевой башни. Мало кто знает, что произнес Гитлер, когда узнал, что немецкие солдаты, водрузившие огромное знамя со свастикой на вершине Эйфелевой башни, поднимались туда пешком, а не на лифте. Гитлер сказал равнодушно: «Покорившему Францию незачем покорять еще и Эйфелеву башню». (*Примеч. ред.*)

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 1 [14 мая 1938 года].

369

Там же.

370

Сценарий к фильму «Бежин луг» был написан драматургом, бывшим чекистом Александром Георгиевичем Ржешевским. Фильм рассказывал о коллективизации сельского хозяйства на основе истории Павлика Морозова. Фильм «Бежин луг» был встречен критикой очень сурово. 17 марта 1937 года приказом по Главному управлению кинематографии работы по постановке фильма «Бежин луг» были приостановлены «по причине формализма и усложненности языка картины». По словам Эйзенштейна, до завершения двухлетних съемок ему не хватило одиннадцати дней. В апреле 1937 года в статье «Ошибки «Бежина луга» Эйзенштейн, по выражению Н. Зоркой, «просил извинения за то, что он Эйзенштейн». (*Примеч. ред.*)

371

Съемки центральной сцены фильма – Ледового побоища – из-за сжатых сроков проходили летом. Для этого во дворе «Мосфильма» на Потылихе выстроили декорацию. Асфальт посыпали мелом и солью и залили жидким стеклом. Сцены, в которых тевтонцы проваливались под лед, снимали в мосфильмовских павильонах, где были сооружены специальные бассейны, в которых плавали «льдины» из крашенной белой краской фанеры. (*Примеч. ред.*)

ЛПФ.

Там же.

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

Интерпретация сюжета оперы автором книги. (*Примеч. ред.*)

376

Из письма Мейерхольда председателю Совета народных комиссаров СССР В. Молотову: «Меня, 65-летнего, больного старика клали на пол лицом вниз и били резиновыми жгутами по пяткам и по спине. Когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам, причем по старым синякам и кровоподтекам, так что ноги превращались в кровавое месиво, боль была такая, что казалось, будто на красно-синие кровоподтеки лили кипяток. Я кричал и плакал от боли. Следователь все время твердил, угрожая: не будешь писать, будем опять бить, оставив нетронутыми голову и правую руку, – это чтобы мог подписывать протоколы, остальное превратим в кусок бесформенного, окровавленного тела. И я все подписывал». (*Примеч. ред.*)

377

Наследие СП.

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 1 [16 июля 1939 года].

379

РГАЛИ. Ф. 1929 [16 июля 1939 года].

Там же.

381

РГАЛИ. Ф. 1929 [16 июля 1939 года].

Там же.

383

Чемберджи В. XX век Лины Прокофьевой; СПА [19 июля 1939 года].

384

Чемберджи В. XX век Лины Прокофьевой; СПА [19 июля 1939 года].

385

СПА [1 августа 1939 года].

386

РГАЛИ. Ф. 1929 [20 августа 1939 года].

387

СПА [10 августа 1939 года].

388

Чемберджи В. XX век Лины Прокофьевой; СПА [20 августа 1939 года].

389

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 1.

Мендельсон-Прокофьева. Из воспоминаний.

391

Там же.

392

Там же.

393

Там же.

РГАЛИ. Ф. 1929 [16 июля 1939 года].

395

СПА [7 сентября 1939 года].

Там же.

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

ЛПФ.

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

ЛПФ.

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

ЛПФ.

403

Там же.

ЛПФ.

405

Там же.

ЛПФ.

407

РГАЛИ. Ф. 1929 [1 июня 1940 года].

Там же.

409

Там же.

410

РГАЛИ. Ф. 1929 [1 июня 1940 года].

411

Там же.

412

Там же.

413

РГАЛИ. Ф. 1929 [1 июня 1940 года].

Там же.

415

Там же.

РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 1.

417

Там же.

ЛПФ.

419

От Сергея Прокофьева-младшего – Саймону Моррисону.

Slava-moscow.ru/factory.htm.

ЛПФ.

422

Письмо от 9 июня 1942 года, ЛП – Союз композиторов.

423

ЛПФ.

Там же.

425

РГАЛИ. Ф. 1929 [9 мая 1942 года].

Там же.

427

РГАЛИ. Ф. 1929 [9 мая 1942 года].

Там же.

429

РГАЛИ. Ф. 1929 [9 мая 1942 года].

Там же.

431

РГАЛИ. Ф. 1929 [9 мая 1942 года].

Там же.

433

РГАЛИ. Ф. 1929 [9 мая 1942 года].

Там же.

435

Там же.

436

РГАЛИ. Ф. 1929 [9 мая 1942 года].

437

РГАЛИ. Ф. 1929 [3 ноября 1942 года].

ЛПФ.

439

Там же.

ЛПФ.

441

Пуап Ролан де ла – потомственный аристократ. В ВВС Франции с 15 августа 1939 года. После капитуляции Франции перебрался в Великобританию и присоединился к движению «Свободная Франция», сражаясь в небе над территорией Французской Западной Африки. В августе 1942 года отправился в СССР для вступления в эскадрилью «Нормандия». В составе авиаполка «Нормандия – Неман» старший лейтенант Ролан де ла Пуап совершил 125 боевых вылетов, одержав 18 воздушных побед. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания войны продолжил службу в ВВС Франции, демобилизовался в 1947 году. Умер в 2012 году на 93-м году жизни. (*Примеч. ред.*)

442

E-mail от 11 июля 2011 года, от Сергея Прокофьева-младшего – Саймону Моррисону.

443

ЛПФ.

ЛПФ.

445

Интервью ЛП – МХБ, 19 июля 1968 года.

ЛПФ.

447

Кузьмина Елена – популярная советская киноактриса. Лауреат Сталинских премий (1946, 1948, 1951). Народная артистка РСФСР. (*Примеч. ред.*)

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

449

Письмо от 30 мая 2009 года, Святослав Прокофьев – Саймону Моррисону.

Gaulle Ch. De. Mémoires. Paris: Editions Gallimard, 2000.

451

Атовмян Л. Воспоминания [машинописная рукопись]. Ч. 3. С. 24.

Атовмян Л. Воспоминания [машинописная рукопись]. Ч. 3. С. 24.

453

Там же.

454

Письмо от 4 марта 1963 года, Фредерик Рейнхардт – МХБ.

455

Газета знакомила советских людей с военными усилиями Британии. В газете публиковались сводки с фронтов, репортажи о героизме английских солдат, статьи об англо-русском военном и культурном сотрудничестве, заметки о награждении британцев советскими правительственными наградами, дайджесты свежих номеров английской прессы. Нередко известные английские писатели, например Джон Бойнтон Пристли, писали статьи специально для «Британского союзника». Редактировал издание пресс-атташе посольства Великобритании сэр Джон Лоуренс, будущий председатель ассоциации «Великобритания – СССР». (*Примеч. ред.*)

456

Проект докладной записки Агитпропа ЦК И. В. Сталину по вопросу о еженедельнике «Британский союзник». (*Примеч. ред.*)

457

Письмо от 10 октября 1964 года, Анна Холдкрофт – МХБ.

Там же.

459

Там же.

ЛПФ.

461

Из интервью Александры Афиногеновой, 30 августа 2011 года.

462

Из интервью Александры Афиногеновой, 30 августа 2011 года [личный архив А. Афиногеновой].

463

Письмо от 4 марта 1963 года, Фредерик Рейнхардт – МХБ.

СПН.

465

Там же.

СПН.

467

РГАЛИ. Ф. 1929 [12–19 августа 1947 года].

Там же.

469

РГАЛИ. Ф. 1929 [12–19 августа 1947 года].

Там же.

471

СПН [письмо от 8 марта 1949 года].

472

СПН [письмо от 7 июля 1948 года].

473

СПН [письмо от августа 1948 года].

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

Ibid.

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

477

E-mail от 22 июля 2011 года от Сергея Прокофьева-младшего Саймону Моррисону.

СПН.

Там же.

480

СПН [письмо от 20 апреля 1950 года].

481

СПН.

ЛПФ.

483

Российский государственный архив социально-политической истории 179—2-11; документ предоставил Леонид Максименков.

484

28 февраля 1954 года, письмо ЛП – Шостаковичу.

485

В 1930-х годах арестованные инженеры работали в ЦИАМ, а завтракали, ужинали и спали в тюрьме. (*Примеч. ред.*)

486

СПН [рукописная копия, с. 3–4], сокращенный вариант истории, приведенной в книге Валентины Чемберджи «XX век Лины Прокофьевой».

487

СПН [с. 4 рукописной копии].

Sakharov-center.ru/asfcd/pam/pam_carde223.html?id = 619.

489

Национальный парк «Югыд ва» вместе с примыкающим к нему на юге Печоро-Илычским государственным природным заповедником и их охранными зонами в 1994 году был включен в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. (*Примеч. ред.*)

Youtube.com/watch?v = NtnKdKFhjyA[].

491

Те, кто посылал заключенным письма, писали вместо адреса номер почтового ящика, потому что местоположение лагерей стало секретным и даже во внутренней переписке НКВД они эвфемистически именовались теперь «спецобъектами» или «подразделениями». (*Примеч. ред.*)

492

СПН.

493

Речь идет о Лидии Евсеевне Коган. «Сторожить нужно было очень внимательно – надлежало следить, чтобы в яму выливали только чистые помои, без мусора. Она говорила, что, конечно, такую работу может выполнять только человек с высшим институтским и университетским образованием (она окончила два вуза)». Из воспоминаний Е. А. Таратуты. (*Примеч. ред.*)

Черницкая, Кравец. Жертвы сталинских репрессий: о лагерной жизни Лины Ивановны Прокофьевой и собственной судьбе.

Черницкая, Кравец. Указ. соч.

Черницкая, Кравец. Указ. соч.

497

СПН [письмо от 19 декабря 1948 года].

Там же.

Черницкая, Кравец. Указ. соч.

500

Интинский лагерь имел свой небольшой театр, в котором работали Николай Константинович Печковский, знаменитый тенор, солист Мариинского театра, Нина Горская, жена артиста кино Бориса Чиркова. В разное время в лагере на положении заключенных находились: актер, сценарист и кинорежиссер Алексей Яковлевич Каплер, сценаристы Валерий Семенович Фрид и Юлий Теодорович Дунский, писательница Евгения Александровна Таратута, историк искусства, художественный критик Николай Николаевич Пунин (гражданский муж Анны Ахматовой). (*Примеч. ред.*)

501

СПН [письмо от 19 декабря 1948 года].

502

СПН [письмо от 19 декабря 1948 года].

503

Czilaucik.com/tag/Szmytka.

504

Интервью ЛП – МХБ, 12 ноября 1985 года.

505

Там же.

Morrison S. The People's Artist: Prokofiev's Soviet Years.

507

СПН [письмо от 19 декабря 1948 года].

508

«Украинские девушки ухитрялись откуда-то добывать строжайше запрещенные иголки, вытягивали нитки из старых кофт, трикотажного белья и без конца вышивали» (из воспоминаний Е. А. Таратуты). (*Примеч. ред.*)

509

СПН [письмо от 19 декабря 1948 года].

510

Там же.

511

Там же.

512

Из воспоминаний Е. А. Таратуты.

513

СПН [письмо от 19 декабря 1948 года].

514

Там же [31 октября 1949 года].

515

Из воспоминаний Е. А. Таратуты.

516

Там же.

517

СПН.

518

Там же [дневник Святослава Прокофьева, 24 февраля – 5 марта 1956 года].

519

Из воспоминаний Е. А. Таратуты.

520

«…Бывшая киевская балерина Тамара Владимировна Веракса после освобождения создала в Инте театр и работала там долгие годы вместе с мужем». *Гольдакер Э.* Деревянный чемодан: Воспоминания узницы немецких лагерей. (*Примеч. ред.*)

Черницкая, Кравец. Указ. соч.

Черницкая, Кравец. Указ. соч.

Memorial.krsk.ru/memuar/Pentyuhov2/1.htm.

СПН.

525

Из воспоминаний Е. А. Таратуты. (*Примеч. ред.*)

526

СПН [письмо от 13 октября 1953 года].

527

СПН.

528

По сообщению газеты «Комсомольская правда» № 55 (8535) от 6 марта 1953 года, Сталин скончался 5 марта в 9 часов 50 минут вечера. (*Примеч. ред.*)

529

СПН.

530

18 марта 1946 года V сессия Верховного Совета СССР приняла Закон о преобразовании Совета народных комиссаров СССР в Совет министров СССР, а народных комиссариатов – в министерства. НКВД СССР преобразовывается в Министерство внутренних дел СССР (МВД СССР). (*Примеч. ред.*)

531

Л. П. Берия был арестован по обвинению в шпионаже и заговоре с целью захвата власти 26 июня 1953 года. (*Примеч. ред.*)

532

СПН [ходатайство без даты, отказ от 8 мая 1953 года].

533

Вероятно, речь идет о Франкфурт Лие Соломоновне, библиографе, библиотековеде. В январе 1951 года была арестована «как участница контрреволюционной правотроцкистской организации». Наказание отбывала в Особом лагере МВД (Коми АССР). После освобождения в июле 1954 года вернулася в Ленинград. В 1955 году переехала в Москву. Работала главным библиографом в Государственной публичной исторической библиотеке (1955–1965). (*Примеч. ред.*)

534

СПН [письмо от 30 августа 1954 года].

535

Там же.

Там же.

537

СПН [дневник Святослава Прокофьева, 4 октября 1954 года].

538

Там же.

539

Теплушка – поезд с четырьмя вагонами. Первый вагон с зарешеченными окнами для заключенных, остальные вагоны без внутренних перегородок, наподобие вагонов в электричках. (*Примеч. ред.*)

Чемберджи В. XX век Лины Прокофьевой.

541

СПН [дневник Святослава Прокофьева, 24 февраля – 5 марта 1956 года].

542

Там же.

543

Там же.

544

СПН [дневник Святослава Прокофьева, 24 февраля – 5 марта 1956 года].

545

Там же [дневник Святослава Прокофьева, 5 марта 1956 года].

546

СПН [письмо от 28 мая 1955 года].

547

СПН [письмо от 18 мая 1956 года].

Там же.

549

Там же.

550

СПН.

551

Там же [дневник Святослава Прокофьева, 22 мая 1956 года].

552

Там же [дневник Святослава Прокофьева, 13 июня 1956 года].

553

Там же [дневник Святослава Прокофьева, 30 июня 1956 года].

554

Прокофьев. О моих родителях: беседа сына композитора с музыковедом Натальей Савкиной.

555

РГАЛИ. Ф. 2048. Оп. 1.

556

Прокофьев. О моих родителях: беседа сына композитора с музыковедом Натальей Савкиной.

557

РГАЛИ. Ф. 1929 [22 января 1958 года].

Там же.

559

Программа Фулбрайта – программа образовательных грантов, основанная в 1946 году сенатором США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом и финансируемая Госдепартаментом, с целью укрепления культурно-академических связей между гражданами США и других стран. (*Примеч. ред.*)

560

Письмо от 6 ноября 1962 года, МХБ – Анне Холдкрофт.

561

Письмо от 6 ноября 1962 года, МХБ – Анне Холдкрофт.

562

Там же.

563

Максименков Л. Увековечение Прокофьева.

564

Из воспоминаний участника строительства А. В. Крохина: «Нередко приходилось мне бывать на трассе канала. Техники первое время практически не было, огромная масса заключенных была занята на земляных работах, которые велись вручную – лопатами и тачкой. Грунт вывозили за кромку канала, наверх. В некоторых местах грунт грузили на конные грабарки. Этот тяжелейший и изнурительный труд десятков тысяч людей заставил разработать и применять множество небольших механизмов, которые поднимали тачки с ложа канала на его бровку. До сих пор стоит перед моими глазами жуткая картина: продувающий до костей студеный ветер бросает в усталые серые лица колючие иголки. Из-за грунтовых вод людям приходится работать по колено в раскисшей грязи. Немногие выдерживали этот каторжный труд. Умерших хоронили без гробов, в общих ямах. Так что канал Москва-Волга, как и Беломорканал, построен на костях. Лишь спустя два года на строительстве появились первые ковшовые экскаваторы Ковровского завода, который тоже входил в систему ГУЛАГа». (*Примеч. ред.*)

565

«Наш дом построил сталинский генерал Смородинов, по преданиям, кагэбэшник. Он поставил помещичью усадьбу: два крыла, потолки четыре метра, овальный зал для танцев, широкая белая лестница на второй этаж. Недалеко от дома в избушке жил денщик. Говорят, был также пруд, в котором разводили рыбу. Генералы КГБ вопреки всей галиматье, которую вдалбливали другим, отлично разбирались в комфорте. В 1951 году Смородинов умер. Его жена половину дома продала Бабкину – прекрасному человеку, художнику-макетчику, а вторую – министру, кажется угольной промышленности, Мельникову. А Мельников в начале 1960-х продал свою часть Олегу Прокофьеву, сыну Сергея Сергеевича… Дом Олега Прокофьева продавала его мать Лина Ивановна… И вот она мне позвонила: «Я слышала, вы ищете дом. Приезжайте». Когда я вошел в овальный зал, увидел широкую лестницу на второй этаж, то подумал: «Господи, неужели я могу всем этим владеть?!» Лина Ивановна просила тридцать тысяч рублей. Фантастическая по тем временам сумма. Я с протянутой рукой обратился в Художественный фонд, к друзьям, наскреб десять тысяч и сказал: покупаю. Никаких юристов мы не нанимали, расписок не писали – все расчеты шли под честное слово. Я помню, мы пошли класть деньги в сберкассу: у Лины Ивановны спросили год рождения. Она была возмущена: как можно задавать такие бестактные вопросы?! Ей было немало лет, и она была светская дама. Я отошел в сторону, чтобы не слышать год ее рождения» (из воспоминаний Д. Д. Жилинского, народного художника России. (*Примеч. ред.*)

566

В 1953 году Чкаловскую улицу переименовали в улицу Чкалова, а в 1994 году вернули название Земляной Вал. (*Примеч. ред.*)

Чемберджи В. Указ. соч.

Там же.

569

ЛПФ.

Там же.

571

Письмо от 21 апреля 1977 года, ЛП – МХБ.

HAI Celebrates «Peter and the Wolf» // HAI News. 1986. Spring.

СПН.

СПН.